

1997

З

Октябрь

Октябрь

З 1997

ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

3

1997

МАРТ

Общественный совет: Л. БАТКИН, Ю. БУРТИН, В. БЫКОВ,
Б. ВАСИЛЬЕВ, А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, И. ВОЛГИН, А. ГЕЛЬМАН,
Д. ГРАНИН, Ю. КАРЯКИН, Р. КИРЕЕВ, Д. КУГУЛЬТИНОВ,
А. КУРЧАТКИН, Ю. МОРИЦ, Р. САГДЕЕВ, Л. САРАСКИНА,
Вад. СОКОЛОВ, Л. ФИЛАТОВ, И. ФИЛОНЕНКО, Ю. ЧЕРНИ-
ЧЕНКО, Р. ЩЕДРИН.

В Н О М Е Р Е:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Алексей ВАРЛАМОВ. Затонувший ковчег. Роман	3
Светлана МАКСИМОВА. Лишь крылья полотняные... Стихи	61
Нонна МОРДЮКОВА. Записки актрисы	63
Вадим ДОЛЖАНСКИЙ. Небо падает в песок. Стихи	77
Игорь КЛЕХ. Крокодилы не видят снов. Берлинская повесть ..	80
Бенедикт САРНОВ. Перестаньте удивляться! Невыдуманные истории	98
Сергей АНТОНОВ. Костыль Татьяныч. Рассказ.	130

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Л. В. СКВОРЦОВ. Толерантность: иллюзия или средство спасения?	138
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Юнна МОРИЦ. Быть поэтессой в России	156
--	-----

Евгений ПЕРЕМЫШЛЕВ. Леденцы. Тема и вариации	161
Записки литературного человека	
Вячеслав КУРИЦЫН. Нефикции	170
В стиле реплики	
Двойка, шестерка, тус	173
Этюды о медленном чтении	
Вадим ПЕРЕЛЬМУТЕР. Лавры безыменности	175
Панорама	
Дмитрий БАК. Новые воспоминания о будущем (В. Пронин. Рассказы; Г. Сосновский. За красной стеной). Евг. ПЕРЕМЫШЛЕВ. Шесть параграфов о славе и судьбе (Игорь Северянин. Сочинения в пяти томах). Дмитрий БАВИЛЬСКИЙ. Бархатный сезон (Сергей Костырко. Шлягеры прошлого лета). Ян ШЕНКМАН. Митьки никого не хотят победить (Владимир Шинкарев. Максим и Федор. Папуас из Гондураса. Домашний еж. Митьки). Егор СТРЕШНЕВ. Золото Маккены (Теренс Маккена. Поиск первоначального Древа познаний; Теренс Маккена. Истые галлюцинации...)	179
В несколько строк	
Рубрику ведет Б. ФИЛЕВСКИЙ	189

Распространением журнала «Октябрь» в зарубежных странах занимаются государственная внешнеторговая фирма «Наука-экспорт» и акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах.

Адреса фирм-агентов «Науки-экспорт» вы можете узнать по факсу: (095) 334-74-79, 334-71-40,

по телефону: (095) 334-76-10, 334-70-49.

Адреса фирм-агентов А/О «Международная книга» —

по факсу: (095) 238-46-34,

по телефону: (095) 238-49-67,

по телексу: 411160.

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

Редакционная коллегия: **И. Н. БАРМЕТОВА** (заместитель главного редактора),

Н. К. ЛОШКАРЕВА (заместитель главного редактора),

И. К. НАЗАРОВА (отв. секретарь).

Редакция: **А. Н. АНДРЕЕВ** (проза), **И. А. БРЯНСКАЯ** (публицистика),

А. В. ВОЗДВИЖЕНСКАЯ (критика), **И. Ю. КОВАЛЕВА** (проза).

Технический редактор **Т. С. Трошина.**

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».

Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Сдано в набор 30.01.97. Подписано к печати 21.02.97. Формат 70x108%.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.

Тираж 10 300 экз. Заказ № 1084. Цена 14 500 руб.

Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России и ряда стран СНГ 1794 экз.

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.

Телефоны: главный редактор — 214-62-05, заместители гл. редактора — 214-63-64, 214-69-37, ответственный секретарь — 214-34-44, отдел прозы — 214-51-68, отдел поэзии — 214-69-37, отдел критики — 214-71-34, отдел публицистики — 214-60-24.

Телефон для справок: 214-31-23.

Типография издательства «Пресса». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

© «Октябрь». 1997. Электронная версия журнала в: Русский клуб <http://russia.agama.com>.

При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Алексей ВАРЛАМОВ

З а т о н у в ш и й К о в ч е г

РОМАН

ПРОЛОГ

БУХАРА

В начале восемнадцатого века на строительстве Петербурга, где среди порабощенных Петром крестьян трудились тайные и явные противники никонианской веры, произошел побег. Несколько семей, тяготившихся невозможностью свободно следовать своим обрядам, устремились на волю. За беглецами была тотчас же учреждена погоня, но, теряя немощных духом и телом, самые крепкие из них сумели уйти от преследования. Однако страх быть настигнутыми гнал раскольников все дальше и дальше на восток. Приближалась зима, местность сделалась безымянной и глухой, и между бежавшими возникло разногласие. Одни хотели идти дальше на восход солнца, другим казалось достаточным остановиться здесь и не подвергать себя опасности завязнуть в болотах или сгинуть в непролазной тайге. В устье реки Пустой они облюбовали небольшую поляну, вырыли землянки и стали жить. Место было наречено Бухарой, что никакого отношения к азиатскому городу не имело, произносилось с ударением на втором слове и обозначало сенокос в лесу.

Первые годы, проведенные бухарянами в лесной пустоши, были невероятно тяжелыми. Их преследовали неурожаи, и вместо хлеба они ели сосновую и березовую кору. Многие умерли, иные, не вынеся тягот, ушли в обжитые места, но неустанными трудами и молитвами община выстояла. Со временем ее насельники завели скотину и огороды, срубили избы, амбары и бани, поставили часовню, стали ткать одежду и изготавливать обувь, немудреную мебель и хитрый крестьянский инструмент. Мало-помалу отвоеванное у тайги пространство превратилось в обыкновенную деревню, на первый взгляд ничем не отличавшуюся от сотен других, разбросанных по долинам рек, всхолмиям, равнинам, берегам больших и малых озер русской земли. Но сходство это было кажущимся — с самого начала история Бухары пошла по своему пути.

Оторванные от мира, чуть больше сотни человек жили в тайге, ни с кем не знали, никому не подчинялись и всех избегали, вступая в сношение с соседями только по крайней нужде, чтобы купить соли, пороха или воска. Вместе с этими товарами, как отдаленное эхо суетного мира, приходили в починок известия о смене царствующих блудниц в антихристовом Петербурге, о новых войнах империи, эпидемиях чумы и междуусобных смутах, но это была совершенно другая история. Деревня жила так, как будто осталась одна на свете, а весь мир за ее чертой сделался добычей Зверя.

Убежденные в своей избранности основатели скита завещали детям не покидать спасительное место, а если слуги Антихриста разыщут их или же голод погонит в иные края, запереться и сжечь себя в очистительном огне, но не предаваться в руки гонителям и не принимать от них никаких даров. Завет этот на-

следовался от поколения к поколению из года в год и из десятилетия в десятилетие, но нужда прибегнуть к нему не возникала: занятое расширением своего пространства светское государство устало или же не видело больше смысла воевать не на живот, а насмерть с церковными диссидентами, и вскоре гонения властей ослабли. Удобренная земля стала давать больше урожая, и голод Бухаре отныне не угрожал.

Однако в эти относительно благополучные времена в устройстве жизни таежных отшельников обнаружился изъян. Дело это касалось таинства брака, а точнее, его отсутствия. Священников своих в скиту не было, ибо последние из тех, кто остался верен истинной церкви, земной путь окончили. По той причине из всех спасительных таинств бухаряне совершали только те два, что были доступны мирянам, — крещение и покаяние, а свадеб не играли, почитая девство превыше брака и полагая воздержание обязательным для всех.

Мужчины и женщины жили в Бухаре отдельно, и наставники-большаки строго следили за тем, чтобы это правило неукоснительно всеми соблюдалось. Покуда бухаряне боролись за выживание, ни сил, ни мыслей на плотские страсти у них не оставалось, и они хранили телесную чистоту без особого труда. Не заботила их также мысль о потомстве, ибо они были убеждены, что живут в те последние времена, о которых сказал Спаситель в своем пророчестве о судьбах мира: *горе же несправданным и доящим в те дни*.

Но по мере того как жизнь налаживалась, а конец мира отодвигался в неопределенное будущее, человеческое естество стало брать верх. Между насельниками Бухары завелись обычные для мужчин и женщин отношения, кои, не будучи освященными таинством брака, считались блудом. Как ни препятствовали этому блуду убеленные сединой старцы и старицы, как ни пытались развести молодежь по разным углам, победить природу они были не в силах. Этот блуд преследовался одними и тщательно скрывался другими, оступившимся и пойманным на месте преступления грозили самые суровые кары. Часто молодые женщины уходили рожать в лес и из страха вынуждены были либо отказываться от своих детей, либо, случалось, убивать младенцев. Но долго так продолжаться не могло. Наиболее прозорливые из большаков это понимали и искали выход из заколдованного круга: жить без брака далее было опасно, ибо вынужденное девство вело к прямому разврату, таинство же брака было невозможно, так как не было и не могло быть священников.

Дело осложнялось еще и тем, что в Бухаре сосуществовали люди мирские — жилковые и скитские — иноки. Несмотря на общую приверженность одному завету, каждые из них имели свои интересы. Первые готовы были разрешить тем из единоверцев, кто не мог вместить подвиг девства, венчаться у попов-еретиков за неимением своих собственных или же предлагали венчать самим, расширив число совершаемых таинств. Более последовательные чернецы брак отрицали начистую, настаивали на хотя бы внешне соблюдаемом девстве и говорили, что, чем жить с венчанной в антихристовой церкви женою, лучше сожительствовать с пятью блудницами, а потом приносить покаяние. Две точки зрения схлестнулись в Бухаре, угрожая разорвать общину изнутри, но здравый смысл возобладал, и после отчаянных споров был выработан компромисс.

Когда наступало время, молодым разрешалось по благословению родителей сходитьсь и заводить детей. На этот срок они отлучались от часовни и общей молитвы и обязаны были сорок дней поститься и класть по тысяче земных поклонов, а после совершения обряда очищения разводились на чистое житие. Однако удовлетвориться таким решением могли не все: одним отлучение от общины и молитвы, даже временное, представлялось страшным лишением, и пугала сама мысль о смерти в этот период, другие, даже и заимев детей, не в силах были жить целомудренно. Вопрос остался до конца нерешенным, и его нерешенность грозила подорвать здание скитской жизни.

А между тем, как ни была оторвана Бухара от мира, как ни уклонялись ее жители от переписи населения и податей, спрятаться совсем они не могли. И если в относительно либеральные для раскола времена матушки Екатерины, ее нелюбимого сына и возлюбленного внука правительство снисходительно смот-

рело на всех многочисленных и разнообразных российских инаковерующих, то напуганный распространявшимися по государству заморскими и отечественными ересями Николай Павлович взглянул на дело совершенно иначе.

Решительный Государь принял шерстить сектантскую Русь, что весьма причудливо сказалось на судьбе ему не ведомой Бухары. Когда у правительства наконец дошли руки до самых отдаленных уголков империи, в деревню был снаряжен и отправлен молодой и энергичный священник, имевший целью наставить темное население на путь официальной веры. Среди первейших перед ним стояла задача убедить отщепенцев венчаться в церкви по общепринятому в государстве чину, не творить блуда и жить обычной христианской жизнью.

Иерей столкнулся с отчаянным и дерзостным сопротивлением старцев, запретивших своим чадам идти к еретическому попу под страхом вечного отлучения от общины, а также отказа поминать усопших и крестить младенцев. Ослушаться наставников никто не решился, и, несмотря на все посулы и явные выгоды, обитатели Бухары продолжали собираться в молельне и совершать службы на свой манер, веруя в то, что Господь их за это не оставит и правда восторжествует.

Постепенно пришлый попик с горя и бедности — поскольку, не имея прихода, не имел заработка — запил, тем самым окончательно уронив и себя, и свою конфессию в глазах трезвых и работающих бухарян. Однако он полюбил ловить в Пустой жирных харюзочков и сижков, уезжать никуда не собиравшись, и местное население в конце концов к нему привыкло и никакого вреда не чинило. О его миссии в Петербурге позабыли, и он больше никого не трогал и ни к чему не призывал, смиренно дожидаясь своего часа.

Шло время. Россия проигрывала и выигрывала войны, подавляла внутренние и внешние бунты, вершила реформы, говорила по-французски, увлекалась мистикой и масонством, Европой и собственной стариной, строила железные дороги, поражала весь мир богатством и расточительностью; старозаветные рогожские купцы переняли протестантский дух и сделали миллионерами, меценатствовали и кутили, и только в самых глухих таежных заимках затянулся бунташный век.

Бухаряне по-прежнему жили так, словно лишь им одним, не разорвавшим священный завет с истинным Богом, будет уготовано на небесах спасение. На этом завете воспитывались десятки и сотни из них, с этой испуганной верой они отказывались от всякой радости земной жизни и преодолевали муки плоти.

Но все же какие-то веяния проникали и в эти глухие места. Сказывалась ли почти двухвековая усталость, или же обречены были попытки изменить человеческую природу, но в каждом новом поколении, хоть и вскармливало оно с младенчества в страхе Божьем, были те, кто искал своего пути и, казалось, только ждал случая, чтобы открыто выступить если не против самих обычаев старины, то по крайней мере за более гибкое к ним отношение. Это инакомыслие старцами жестоко подавлялось, но снова возникало и постоянно держало общину в напряжении.

Однажды в скиту появился необычный человек. Он говорил на понятном бухарянам языке о приближающихся временах Страшного Суда, одобрял их стремление к девству и чистоте и проповедовал, что единственный путь спасения состоит в убелении, то есть отсечении греховных уд — орудий, коими диавол соблазняет душу.

Моложаво выглядевший для своих преклонных лет гость увлекательно расписывал старцам преимущества подобного выбора, указывая на то, что в этом случае всякие соблазны у нестойких членов общины покушаться на чистоту вероисповедания будут исключены и непорочная жизнь и беспрекословное послушание безо всяких усилий сделаются общим правилом. Помимо этого, он намекал на возможность личного бессмертия и вознаграждения не только в *той*, но уже и в *этой* жизни, ибо, по его убеждению и опыту, именно наличие у человека греховных уд является источником смерти. Таковыми убеленными, витиевато объяснял мудрец, были прародители наши до грехопадения, а появившиеся впоследствии у Адама уды явились воплощением древа греха, рав-

но как груди Евы — символом запретного плода. Первым же оскопившимся и искупившим человеческие грехи был сам Господь Иисус Христос, свидетельством коего события является праздник Обрезанья Господня.

Скитские старцы выслушали скептического эмиссара весьма внимательно и вежливо, но все же столь смелое решение мучившего не одно десятилетие Бухару вопроса отклонили, сославшись на то, что их завет с Богом подобной меры не предусматривает. Раздосадованный визитер отряхнул прах с ног своих и напроорочил Бухаре скорые скорби.

В 1905-м, в год очередной российской смуты, когда государевым подданным была дарована Конституция и прекратилось гонение на инакомыслящих и инаковерующих, старцам в Бухаре почудилось в этом ослаблении что-то неладное. И они не ошиблись. Вскоре подоспела столыпинская реформа, в окрестностях Бухары появились трудолюбивые переселенцы и стали быстро осваивать новые земли. Следуя их примеру, наиболее молодые и предприимчивые из жилавых бухарян, тяготившиеся строгостью отеческой веры и суровостью ее дисциплины, решили выйти из общины и зажить самостоятельно. Старцы предали вероотступников анафеме, посулив самые жестокие наказания и в этой, и в той жизни, но остановить страстное желание владеть землей и волей и жить своим умом не мог уже никто. В течение нескольких лет несокрушимая обитель раскололась на тех, кто ушел, и тех, кто остался, и затаилась в ожидании беды, ибо сказано в Писании: «Ежели царство какое разделится надвое, то не устоит».

Жила в деревне травница по имени Евстолия, к которой все ходили за помощью, когда случалось захворать человеку или скотине. Слава ее была так велика, что даже крестьяне из соседних «поганых» деревень шли к ней на поклон и, несмотря на неудовольствие старцев, получали помощь. Перечить Евстолии никто не смел, точно признавая за ней право жить по особым, ей одной ведомым законам.

Никакой мзды лекарка не брала, не было у нее врагов, но однажды летним утром накануне Ильи-Пророка она ушла в лес за травами и не вернулась. Искали ее всей деревней больше недели, обшарили всю тайгу на много километров вокруг, но не нашли и стали числить женщину без вести пропавшей.

Вскоре начались война, за ней революция, пожары, грабежи, дележ земли, возвратились с фронта солдаты, и никто не называл их дезертирами, потому что понимали: нельзя мужику в окопе усидеть, когда в родной деревне землю делят и, не дай Бог, не поспеешь.

Много тогда вокруг Бухары крови пролилось. Горели овины, крестьянские избы, редкие в здешних местах барские усадьбы и частые деревянные церкви. Потом нагрянули продотряды, стали отбирать и без того скудные запасы хлеба и убивать тех, кто хлеб прятал или отдавать не хотел.

Одному Богу ведомо, сколько земных поклонов положили стар и млад в деревне, чтобы отвести новую беду. Но все равно надежды их на то, что падение проклятого дома Романовых и веры никонианской приведет Русь к благочестию, не оправдались. Все страшнее вокруг делалось, на смену вольным поселениям крестьян, охотников и рыбаков распозалась по тайге сеть лагерей. Сбывалось то, что давно было предсказано, и уверенная в скором конце истории Бухара решила запереться и погибнуть в огне, но не открывать врата поганым язычникам, как завещали ей предки.

И действительно, братишки из города вскоре нагрянули в соседний с Бухарой хутор Замох.

На том хуторе жил кузнец, человек высокий, кряжистый и весьма в своем ремесле искусный. Когда в Бухаре случалась у кого из мужиков нужда подковать лошадь, починить инструмент, охотничье ружье или изготовить капкан на зверя, то шли они в Замох, и изделиям тем не было сносу. Кроме этой обычной для кузнеца работы, замохский коваль и киты для икон изготовлял, и посуду металлическую, и железные изукрашенные лари-ковчег, но более всего известен он был тем, что замечательно умел смирать жеребцов. Оттого в деревне его прозывали коновалом, а место, где он жил, — коноваловым стожем. Как и

положено холостильщику, он отличался свирепым нравом и был горяч в делах мирских, но к отеческой вере, напротив, равнодушен. Одним из первых коновал вышел из скита, взял жену из чужой деревни, обвенчался с нею по никонианскому обряду и зажил на свой лад, окончательно расплевавшись с заветами отцов. Такого откровенного разрыва с древней верой и ее обычаями в скиту прежде не было, и наставники хотели запретить всем иметь с отступником дело, но поскольку другого мастера во всей округе не было, то все равно крестьяне шли к нему.

В деньгах коновал не нуждался, жил, как хотел, курил трубку и пил вино, но потом с мужиком случилось что-то странное. Он отправил от себя жену, принес покаяние перед старцами и стал необыкновенно набожен. Хотя жил по-прежнему на заимке, много денег жертвовал на моленную, изукрасил ее своими чудесными изделиями, в молитве был усерден, поклонов отбивал по три сотни в день, постился строго и житием своим мало уступал даже самым ревностным старцам. Звали его вернуться в Бухару, но он уклонился и пребывал в одиночестве, ни с кем не знаясь и даже избегая своих соплеменников. Известно было также, что где-то в лесу была у него часовенка, где он подолгу простаивал на коленях, раздевшись до пояса и зимой, в лютую стужу, и летом, претерпевая укусы комаров. Однако за святого его никто не почитал и видели в его усердии что-то иное в соответствии с известным присловием: «Умудряет Бог слепца, а черт кузнеца».

Но именно этот странный человек спас Бухару от разорения. Когда бандиты ворвались в Замох, не ожидая, по обыкновению, встретить никакого сопротивления, то напоролись на засаду. Этого оказалось достаточно, чтобы внести в ряды наступавших растерянность. Услышав выстрелы, пугливые сборщики хлеба вообразили, что им противостоят по меньшей мере человек десять, и ретировались за подмогой. Только после того как позвали на помощь балтийских матросов, коновала схватили, перед смертью измучили и бросили в овин вместе с арестованным в ту же ночь православным священником — уже совсем стареньким и, по обыкновению, пьяненьким. Им двоим выпало скоротать последнюю перед казнью ночь.

И вот тогда холостильщик упал перед хмельным батюшкой на колени и покаялся в душегубстве. Поначалу священник, разумевший, будто бы его товарищ по несчастью сокрушается о том, что застрелил не меньше десятка нехристей-краснофлотцев, похвалил его за христианскую кротость и легко отпустил этот грех, который и грехом-то считал по одному лишь пастырскому долгу, ибо в душе стрелка одобрял и неудовольствие его вызвали растерянность и бездействие прочих мужиков.

— Не то, не то,— прошептал коновал, облизывая в кровь разбитые губы.— Этих-то прикончить, что оводов. Другой на мне грех. Покаяться перед старцами хотел, а теперь перед тобой споведоваться придется,— добавил он печально.

— На все воля Божья,— смиренно произнес батюшка, помаленьку трезвея, перед тем как приступить к исполнению непосредственных обязанностей.

— Страшно мне, что все равно никто правды не узнает. В могилу со мной уйдет.

— А ты за правду не страшись. Ей деваться некуда — она, как вода, щелочку всюду найдет.

Коновал несколько удивленно взглянул на философствующего и как будто ничуть не напуганного предстоящей казнью попа.

— Это я Евстолю убил,— сказал он тихо.— В капкан она мой попала. Нogu ей изуродовало совсем, крови много потеряла, но жива еще была. Молила пощадить ее и обещала никому не рассказывать, что я всему виной. Да только разве такое скроешь? Взял я грех на душу, подумал, чем калекой ей быть, лучше смерть принять. И мне ответ перед людьми не держать.

Даже поவிдавший на своем веку немало и немало принявший самых разных исповедей иерей долго молчал, подбирая слова, но язык его прилип к гор-тани и слов нужных не находилось. Так и промолчали они до самого утра, пока

в глухой утренний час не услышали стук заступа и не увидели двоих перепачканных землей мужиков из Бухары, всю ночь рывших подкоп.

— Ты, батюшка, иди,— сказал коновал глухо.— А я останусь. И людям скажи, как все было. А вы,— поворотился он к освободившим его соплеменникам,— коли не желаете погибели моей душе, подожгите сараюшку.

Мужики попятились, но пленник жестко повторил:

— Подожгите, так она велела.

— Где ж закопал-то ты убиенную? — спросил поп на прощание.

— В ковчег положил. А где — сказывать она зарекла. Когда время придет, сама даст знак.

Весьма трезвомыслящий батюшка только покачал головой и, ничего не сказав, перекрестил несчастного дряхлой щепотью. А страшная исповедь коновала, как и пожелал он, дошла до Бухары, где уже готовы были спастись в огне от Антихриста все ее насельники.

Вместо этого огонь вспыхнул в Замохе.

В тот же день потрясенные пожаром или получившие иной приказ пролетарии снялись и растворились в тайге так же внезапно, как и появились, не дойдя до Бухары десяти километров и ничем ее не потревожив. Обреченная на погибель деревня на неопределенное время осталась жива.

В том, что отсрочка будет недолгой, не сомневался никто. Убийство Евстолии потрясло Бухару не меньше, чем все злодеяния новой власти. Сколько стояла деревня, сколько земного счастья и радости было принесено здесь в угоду дедовским обычаям, никогда не омрачалась эта земля насильственным лишением жизни. Теперь следовало ожидать чего-то еще более ужасного, и все это казалось расплатой за разрыв с заветом, который наподобие древних иудеев они заключили со своим истинным Богом.

Однако прошла безмолвная темная зима, и ничьих следов, кроме звериных, не было на снегу вокруг деревни. Прошли весна, лето, осень и настала новая зима — совершился, как обычно, круговорот воды, света и тепла. Похоже, что в обезумевшем мире о Бухаре забыли, и мало-помалу она снова вернулась к прежней размеренной жизни с послушанием, постоянным циклом служб, молитв, трудов и скупых радостей. По-прежнему отлучались от моленной те, кто был нечист перед Богом, и возглавлявший общину благословенный старец крестил младенцев только после того, как молодые родители прекращали однодневную жизнь.

Все вернулось на круги своя, но с той поры возникло у бухарян представление, будто бы именно принявшая мученическую кончину Евстолия отвела от них беду и спасла от разорения. Травница стала местночтимой святой, которой возносили молитвы, посвящали ночные бдения и умерщвление плоти. И надежду дожить до того дня, когда Евстолия даст знак и в глухом лесу отыщется место, где было совершено злодеяние и лежали святые косточки, они не теряли и в том, чтобы перенести их на древнее кладбище к отеческим мшистым крестам, видели смысл своего существования. Однако никаких знаков не было и могила им не открывалась.

Десять лет спустя недалеко от деревни появились вооруженные люди, пригнавшие с собой, как скотину, несколько сотен арестантов. Обнаружив в лесной глуши давно позабытую и вычеркнутую из всех списков деревню, пришедшие сперва растерялись и что делать с ее обитателями, не знали. Хотели было разогнать, но начальник лагеря — человек практичный и неглупый, которому достались в подчинение ослабевшие переселенцы из степной части России и ни к чему не пригодные буржуазные спецы, а план по лесозаготовкам выполнять все равно было надо — живо смекнул, какую выгоду можно извлечь из Бухары. У него хватило ума закрыть глаза на религиозные предрассудки трудолюбивых и непьющих абorigенов, а за это послабление привлечь их к работе в лесу.

Идея себя оправдала: бухаряне ударно трудились и помогали делать план по лесозаготовкам не хуже, чем передовой леспромхоз. Да и сама окруженная

частоколом деревня, откуда рано уходили и поздно возвращались дисциплинированные люди, чем-то неуловимо напоминала зону и общего пейзажа северной земли не нарушала.

В последующие времена, когда извели весь строевой лес и лагеря стали закрывать, от большой громады гулаговского, а затем итээловского хозяйства остался поселок вольнонаемных, который имени собственного не удостоился, а прозывался по номеру лесного квартала — «Сорок второй». Располагался этот «Сорок второй» на том самом месте, где стоял когда-то сожженный хутор Замох, и единственной нитью, связывающей его с миром, была старая узкоколейка, по которой несколько раз в неделю ездил рабочий поезд, исхлестанный наступающими на насыпь ветками ольхи, осины и березы. Ни ели, ни сосны на местах вырубок больше не поднимались — тайга, как и вся нация, самое лучшее потеряла: лишь в редких местах сохранились чудом участки корабельного леса да наросли новые хвойные деревья. И, кроме деревни со странным азиатским названием, происхождения которого никто не помнил, и леспромхозовского номерного пункта, вобравшего в себя потомков спецпереселенцев, освободившихся заключенных, бичей, бомжей и прочий интерсоциал людей, живущих, как на кочевье, на десятки километров оскопленной тайги не было больше ни единого людского поселения.

Постепенно между этими двумя мирами завязалась странная, от постороннего глаза сокрытая борьба за выживание, подобная борьбе лесных деревьев. Вероятно, Бухару ждала участь многих сгинувших в наш век поселений, обитатели ее рассеялись бы, и «Сорок второй» играючи поглотил бы ее, развратил и приучил к безбожию, пьянству и озорству. Уже кое-кто из мужиков стал поглядывать на сторону, завелся среди охотников табачок, пошел среди некоторых женок блуд, не было прежней строгости в соблюдении обрядовой, столь важной стороны скитского уклада. Наезжавшие из больших городов ученые и неученые проходимцы мало-помалу принялись разворовывать Бухару, увозя с собой иконы и книги. Жизнь медленно брала свое, подтачивая древний остров водою нового времени.

Однако Бухаре была уготована иная судьба.

На исходе знойного, сухого лета, когда по всей Руси горели леса и торфяные болота, в скит пришел никому не ведомый человек. По старой памяти его приняли и дали кров. Но напрасно любопытные насельники расспрашивали своего гостя: он был немногословен и, кроме того, что родился в верховьях Енисея и звали его Василием, ничего больше о себе не рассказал. Однако поразил всех пришелец своей необыкновенной осведомленностью об истории скита и тех трагических событиях, что полвека тому назад здесь разыгрались.

В Бухаре загадочный гость прижился, вместе с мужиками плотничал и рыбачил, к нему привыкли и приняли как своего. С годами постепенно обнаружилось его редкостное и давно позабытое усердие в вере и в верности обычаям старины. Вскоре он принял постриг с именем Вассиана, и авторитет его сделался таким большим, что по смерти старого наставника, человека доброго, но безвольного, Вассиан возглавил общину.

Многим это пришлось не по душе. Среди обитателей деревни случился новый раскол, и раскол этот был очень жестким, и неизвестно, к чему мог привести, если бы на сторону нового старца не встал скитский келарь и не убедил большинство из братии поддержать его, ибо в нем одном видел надежду на спасение Бухары от распада.

Сделавшись наставником, Вассиан повел себя весьма решительно, вернув те давно прошедшие времена, когда малейшее отступление от веры строго каралось, и всякое сношение обители с внешним миром пресек. Несогласные с переменами ушли, и о дальнейшей судьбе их ничего известно не было, а сама Бухара заперлась и никого в себя больше не впускала.

В «Сорок втором» все эти изменения живо обсуждались, особенно среди старух, но как на самом деле жила деревня и что творилось за ее высоким забором, отныне не знал никто. Говорили про таинственных соседей разное, однако какую-то силу они внушали и право на особую жизнь за ними признавали,

равно как и питали тайную уверенность, что им дано ведать нечто такое, чего не ведают никто иной.

Разговоры эти особенно усилились после того, как над тайгою вдруг стали зажигаться таинственные огни, раздавался грохот и свистящие линии света пронзали ночную тьму. Это не могло быть ни сполохами, ни зарницами и рождало в душах пугливых посельчан чувство тревоги и незащитности. Маленький поселок жался к деревне и точно искал у нее опору, сознавая ущербность и неполноценность, краткий срок своего нелепого и обременительного существования и вечность Бухары, не утратившей веры в истину и жившей так, точно все эти годы были ожиданием и подготовкой к весьма значительным событиям, которым предстояло на этой земле и в эти сроки развернуться.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ

Глава I. Бог не выдаст — свинья не съест

Появление на свет каждого человека таинственно и непостижимо, как и его судьба. Ни вины, ни заслуги нашей в том нет, но еще до своего рождения все дети делятся на желанных и нежеланных, на жданных и нежданных, и это как родимое пятно, которое остается на всю жизнь. Сорокасемилетняя нормировщица из «Сорок второго» Шура Цыганова забеременела в ту пору, когда думала, что случиться такого с ней уже не может. Вне себя от гнева она побила пьяницу-мужа, но в больницу за сто с лишним верст от дома и хозяйства не поехала, решив, что избавится от непрошеной беременности народными средствами. Ходила через день в жарко натопленную баню, прыгала с полутораметрового мучного ларя, но вытравить плод ей не удалось. Дряблый Шурин живот после двадцатилетнего простоя снова округлился, поселковые женщины начали искоса на нее поглядывать и за спиной шептаться, а потом приступили к сконфуженной Шуре с расспросами. Та от их пересудов отмахивалась, звала бабололками и пустобрехами, на виду у всего мира метала сено, все еще надеясь на выкидыш, но неразумную природу не перехитрила: в положенный срок измученное чрево Цыганихи исторгло двойню — мальчика и девочку.

Мальчик умер наутро, девочка же оказалась живучей, крикливой, и доведенная до очаяния женщина бросила ее на ночь к свинье, что бывало в тех местах не редкостью и в многодетных семьях большим грехом не считалось. Свинья, однако, младенца не тронула, всю ночь грела и наутро не захотела отдавать бесчувственной родительнице. Так в хлеву началась жизнь еще одной цыгановской девочки, которую назвали в честь свиньи Машкой.

Детей у Шуры было четверо, и все девочки. Из «Сорок второго» они уехали, устроившись кто хуже, кто лучше в городе, съезжались только в особых случаях и при этом не упускали возможности в глаза побахвалиться друг перед другом, а за глаза позлословить. Признаться им в том, что на старости лет у нее родилась дочка, Шуре казалось невыносимо стыдным. Она как могла оттягивала этот момент и не писала о прибавлении в семействе, так что впервые последышек предстал перед сестрами только тогда, когда их пожилая матушка зарезала Машку и дочки приехали за мясом. Большого восторга у родни дите не вызвало. Младшую сестру, появившуюся на свет по недоразумению, единодушно держали за дурочку, из которой ничего путного не выйдет, и судьбу ей предсказывали не слишком счастливую — куковать до скончания века в поселке. Если повезет, выйдет замуж не за горького пьяницу, а за умеренно пьющего, народит детей, рано поблекнет и к пятидесяти годам будет выглядеть старухой, как выглядела в этом возрасте их собственная мать.

От такой судьбы они бежали в город, надеясь сыскать там лучшую долю, и в самые тяжкие минуты городских мытарств эти картины их подхлестывали и заставляли цепляться и держаться на плаву. Но слабенькую, едва уцелевшую

сестренку они считали на подобные испытания не способной. Была она даже по деревенским меркам чересчур застенчива и кротка и тем напоминала отца, молчаливого и доброго человека, который, кажется, сам не успел понять, как он, родившийся в деревне под Старым Осолом и в семилетнем возрасте с семьей высланный на север, привыкший к степному приволью и сильно тосковавший в лесном краю, был взят в мужа первой леспромхозовской красавицей и навсегда остался в этом постылом месте.

Теперь, глядя на морщинистую, беззубую Цыганиху, кто бы поверил, что в девках Шура была хороша необыкновенно. Много из-за нее крови на танцах и посиделках было пролито и гораздо больше пролилось бы, когда бы кровь эта не потекла обильно на войне с немцем и вслед за тем не настало немилосердное к бабьей доле послевоенное время. Выбирать не приходилось, и так почти всю работу в лесу делали женщины, и пошла Шура за нищего, за голь перекатную, на кого прежде и не взглянула бы.

Семейная жизнь у молодых не заладилась. Говорили, что Шура погуливает и неясно, чьих детей растит бедолага скотник. От этих ли слухов или оттого, что так и не увидел он больше своей вольной степи, с годами Шурин мужик превратился в бессловесную рабочую скотину, запил, но даже в пьянстве буен не был и ничего, кроме откровенного презрения, в доме не встречал. Только младшая дочь его жалела и утешала. Он, как мог, отвечал ей, но по причине того, что трезв был нечасто, эта любовь была скорее бременем. Однако других радостей ей и вовсе не перепало. Единственная из детей была она в отцовскую породу и тем раздражала Шуру неслышанно, напоминая о прожитой с нелюбимым человеком жизни.

Маша о душевных переживаниях матери вряд ли догадывалась, и жаловаться на свою долю в голову ей не приходило. Она помогала старикам по хозяйству, летом собирала в лесу ягоды и грибы и ездила вместе с Шурой продавать их на далекую железнодорожную станцию Чужгу, где проходили за сутки один пассажирский поезд дальнего следования и два местных, именуемых «тещами». Шура скоро торговалась с пассажирами и радовалась, когда ведро клюквы или брусники удавалось продать за трешник, а то и за целых пять рублей. Машка испуганно и тоскливо глядела на дрожащий, готовый сорваться с места и умчаться состав. Но Шура точно знала, что на старших девок надежды мало и младшую она никуда не отпустит.

Так что скорее всего вышло бы все, как предсказывали гадалки-сестры, но в то лето, когда девочке исполнилось четырнадцать лет, с нею произошел удивительный случай.

В самом начале августа, в день Ильи Пророка, когда уже с утра большая часть поселка, включая и женскую его половину, была по случаю праздника недееспособна, над леспромхозом разыгралась страшная гроза. Она нагрянула с юга и небывалым ветром и ливнем обрушилась на небольшое таежное поселение. Буря повалила не одну сотню деревьев в лесу, и только благодаря сильному дождю не начался лесной пожар. Сорвало и на десятки метров отбросило крыши домов и овинов, разметало стога и повалило ограды. Молнии били так часто и с такой яростью, что не успевал отгрянуть гром после одной, как вспыхивала другая, и в домах даже с отключенными пробками мигали лампочки. Плакали дети, набожные старухи, единственные, кто, кроме младенцев, был трезв, молились перед образами или прятались в погреба, зажигали сретенские свечи громницы, которые особо берегли для таких случаев. Ни черта не боявшиеся леспромхозовские мужики покуривали сигарки и пьяно качали головами, старики в перерывах между раскатами грома толковали о том, что прежде таких напастей не было, а началось все после того, как в тайге построили секретный пусковой объект.

Гроза продолжалась больше часа и не утихала. Казалось, кто-то с воздуха давал команду бомбить несчастный поселок. Оборвалась телефонная связь, отключилась подстанция, в окнах дребезжали стекла. Потом наконец молнии ослабели, но мощный ливень продолжал обмывать землю и неубранное сено,

вздулись лесные ручейки, и поднялась вода в речке, грозя снести лавы. Только через три с лишним часа туча иссякла и над землей поднялся и закурился дымок. Залаяли собаки, закукарекали петухи, народ вывалил на улицу, и заиграла гармошка. Праздник разгорелся с новой силой, готовясь к тому, чтобы перейти от веселья к следующей стадии — мордобоем со скорым примирением. Все пошло своим чередом, и только в цыганском доме не было покоя.

Шура ждала Машку, которую с утра услала на мшину за морошкой.

— Ну, я ей дам, ну, я ей дам, негоднице! — бормотала она, вздрагивая и торопливо крестясь при каждом ударе молнии. — Пусть только появится! Мать места не находит, а она шляется где-то! И все я одна, все одна!

Последнее полностью соответствовало действительности, ибо Алексей Цыганов с утра по случаю праздника набрался так, что никакие неблагоприятные воздыхания не могли привести его в чувство. Впрочем, волновалась старуха больше для порядка: в глубине души она была уверена в том, что с Машкой ничего серьезного стрястись не может.

Но вот кончилась гроза, прогнали стадо коров, и Шура поняла: как ни крути, что-то случилось, надо звать людей. Цыганиха металась от дома к дому, тщетно пытаясь найти хоть одного трезвого, а в спину ей злобно шептали грамотные по части небесной канцелярии бабки:

— Услала девку в праздник на мшину — жди беды.

Шура от них отмахивалась, как от оводов, а перед глазами у нее вставала свинья Машка и укоризненно качала головой. Жалобно бился и стонал под лавкой степняк Алеша, бессмысленно крутя головой, и, как малое дите, мамку звал:

— Маша, Машенька...

К вечеру на двор прибежали соседские ребятишки. Шура вышла на крыльцо не чуя ног. Счастливые от того, что первыми могут сообщить поразительную новость, дети наперебой радостно закричали:

— Тетя Шура, тетя Шура, в твою Машку молния попала! Илья Петрович ее нашел!

Старуха охнула и без чувств сползла на землю. Очнувшись, она увидела здорового мужика, которому впору было одному на медведя ходить. То был директор местной школы Илья Петрович, и Шура не раз имела с ним неприятные разговоры, когда не пускала малолетнюю работницу на уроки из-за накопившихся домашних дел. Но теперь лицо у Ильи Петровича было задумчивым и необыкновенно нежным. На руках у него лежала девочка.

Шура пристально на него глядела и боялась пошевелинуться.

— Вот,— выдохнул именинник и бережно опустил Машу возле крыльца.— Надо показать ее врачу.

— Морошка где? — подозрительно спросила Шура и поджала губы.

Глава II. Представление у межевой сосны

Отвезти Машу в медпункт или вызвать врача оказалось невозможным, поскольку узкоколейка во многих местах была повреждена, а линии связи и электропередач нарушены. Но ни в какой помощи девочка не нуждалась. Хотя от красавицы сосны, под которой пряталась от грозы Маша, остался один обугленный ствол и мох вокруг не рос еще очень долго, а земля почему-то выглядела как будто вскопанной, отроковица была цела и невредима. Директор школы, чувствуя свою ответственность за происшедшее и радуясь возможности продемонстрировать ученикам редкое физическое явление, весьма популярно объяснил, что заряд был, вероятно, не слишком сильным и сразу ушел в землю, и лишний раз напомнил ребятишкам, что, если их застигнет гроза, ни в коем случае нельзя становиться под одинокие высокие деревья. Выжженный мох вокруг сгоревшего дерева вряд ли говорил в пользу директорской гипотезы, но спорить с ним никто не стал. Илью Петровича в «Сорок втором» уважали, и авторитет его сомнению не подлежал.

Однако с той поры иные особо чувствительные старухи стали улавливать в последней Шуриной дочке какую-то избранность. На что была она избрана, кем и для какой цели — все это было и странно, и неясно, во всяком случае, никаких людей, отмеченных святостью, в ее роду не было, а о благочестии родителей и вовсе говорить не приходилось. Но в отличие от просвещенного директора им хорошо было известно, что просто так молния в человека не попадает, и независимо от того, погибнет он или нет, сие есть знак свыше.

Пока вспоминали старину, пока судили да рядили, что это могло бы значить, пока невзначай останавливали Машу на улице женщины и спрашивали, не было ли ей какого-либо видения, на что Маша даже как-то виновато говорила, что не помнит ничего, заболел Илья Петрович.

Болезнь его была необычной. У него поднялась температура, день ото дня больному делалось хуже, и поселковая фельдшерница, кроме аспирина, много лекарств не зная, понятия не имела, как его лечить. Директор лежал в жару, бредил, и слухи о болезни ходили самые разнообразные. Но чаще всего припоминали его авторитетные объяснения по поводу заряда и вообще то обстоятельство, что учитель был человеком неверующим, более того, учил неверию детей и нечистыми руками посмел коснуться отроковицы и усомниться в чуде. Разумеется, большинство в это не слишком верило, но фактом оставалось то, что Илья Петрович на глазах у всего поселка угасал.

Полмесяца спустя в самый праздник Преображения, особо почитаемый в наших северных землях, в «Сорок второй» прибежали пастухи и сказали, что из Бухары вышел крестный ход и направился к поверженному дереву. Новость эта облетела и всполошила поселок, и в первую очередь его женскую половину. Побросав домашние дела, старушки, молодухи и женщины средних лет отправились на мшину. Следом за ними потянулись мужики, прихватив закуску и водку, ибо праздник на то и праздник, чтобы пить не просто так, а по достойному поводу. Численность поселковых была не меньше, чем скитских, так что у сгоревшей сосны сошлось больше сотни человек и мшина издали напоминала народное гулянье в предвкушении занятого зрелища. А поглазеть было на что: первый раз за долгие годы заточения таинственная Бухара, о которой столько было разговоров и слухов и так мало достоверно известного, вышла за ограду и явила себя миру.

Роковое место встречи находилось на полпути между Бухарой и «Сорок вторым» и прозывалось «Большим мхом». Когда-то здесь стоял лес, но теперь от него осталась лишь заболоченная вырубка, пересеченная полусгнившими лежневками. На них в изобилии росла лесная ягода, начиная с морошки и заканчивая клюквой. Это было самое близкое к жилью ягодное уголье, и во избежание недоразумений оно было поделено на две половины: леспромхозовскую и скитскую. Граница между ними проходила как раз через то место, где возвышалась до последнего августа чудом уцелевшая от топора красавица сосна.

Бухаряне шли торжественно и неспешно. Только к полудню процессия с хоругвями, иконами, крестом вышла из леса и стала спускаться с гряды. Впереди шествовали старец Вассиан и иные белобородые красивые старики, за ними мужчины помоложе, подростки мужского полу, следом старухи, женщины средних лет, молодичицы в белых платках и нарядных одеждах, дети, и все они стройно и истово пели. Иные из леспромхозовских женок заохали, стали кланяться и падать на колени, осуждая тех, кто выказывать свои чувства прилюдно стеснялся или же чувств таких не испытывал. Но большинство, что делать и как вести себя, не знало и попросту выбрало местечко в некотором отдалении.

У сосны крестный ход остановился. Бухаряне встали полукругом, отдельно женщины, отдельно мужчины, и начали служить благодарственный молебен своей мученице за чудесное избавление отроковицы Марии. Служили долго и обстоятельно. Народ утомился и начал здесь же праздновать на свой лад, кое-кто из мужичков отошел в сторонку и неспешно закурил, пошла по рукам бутылка, слышались матерные переборы, на охальников шикали, но без успе-

ха — среди зрителей началась перебранка, молодежь расшумелась, и мирские парни начали жадно разглядывать скитских дев, а леспромхозовские девицы глупо хихикать и строить глазки всем подряд.

Бухаряне, однако, не обращали на эти шуточки внимания и не делали никаких попыток отогнать нечестивцев. Постепенно большая часть пришедших потеряла интерес и к сосне, и к молящимся, но к тому моменту, когда наиболее легкомысленные готовы были повернуть к дому и продолжать пьянствовать по избам, началось самое удивительное.

Белобородый старец взял лопату и принялся копать. По толпе пронесся ропот, затем стало тихо, и тишина эта показалась странной при таком стечении народа — слышна была только лопата. Копал Вассиан недолго. Старца сменили мужчины помоложе, не прошло и получаса, как из скудной земли извлекли нечто, завернутое в промасленную холщовую ткань. Когда ткань развернули, то оказалось, что под нею скрывается довольно большой продолговатый ящик. Он напоминал по форме гроб и было чудесно изукрашен по сторонам изображениями святых. Ковчег открыли, бухаряне как по команде попадали ниц, и поверх их поверженных спин приблизившиеся зрители увидели человеческие останки. Одна из конечностей была зажата капканом.

Мигом исчезли бутылки и стаканы, стихли шуточки и затушены были все сигареты. Теперь уже и верующие, и неверующие, потомки раскольников и переселенцев, коммунисты и передовики производства — весь «Сорок второй», пораженный, стоял и молчал. Старец облобызал мощи и бережно закрыл ковчег. После новых томительных песнопений, во время которых никто не двинулся с места, крестный ход потянулся длинной вереницей на древнее кладбище. Прочий же народ в безмолвии разошелся по домам, и в этот день пили в поселке меньше обычного. Не было ни пьяных драк, ни скандалов, коими, как правило, заканчивались все большие и малые революционные и церковные празднества.

Машу Цыганову и ее непутевую мамашу со всех сторон обступили сведущие старухи:

— Богом твоя девка отмечена. Уберегла ее Евстольюшка, смиловалась и взяла под свой покров. Отдай девку в скит. Отмолит грехи твои.

— Ну вот еще! — фыркнула Шура, но под сердцем у нее недобро засосало, и перемешались в голове странное позднее зачатие, свинья Машка, дитя не тронувшая, молния эта. Все же по-крестьянски расчетливая Цыганиха заколебалась, что будет выгоднее: лишние килограммы грибов и ягод или же душевное спасение? И выбор остановила на мирском, рассудив, что о душе можно будет позаботиться позднее.

Однако Машина жизнь переменилась, к ней ходили теперь всякий раз, когда случалась большая или маленькая беда, и она почувствовала себя в родном поселке непривычно и не знала, что отвечать просившим о помощи людям. А так как церкви в «Сорок втором» не было и некому было разъяснить темным бабкам их суеверие, строго по-пастырски отчитать и наложить епитимью, за дело взялся давний и заклятый оппонент Бухары, уже много лет в одиночку с ней воюющий, — директор леспромхозовской школы Илья Петрович. Тот самый, кому выпало быть свидетелем чуда и который в день обретения мощей неожиданно почувствовал себя совершенно здоровым.

Глава III. Святители и просветители

Илья Петрович был, вероятно, единственным на весь «Сорок второй» человеком, приехавшим в поселок добровольно. Выпускник московского пединститута, он сам выбрал отдаленную школу, где имелась вакансия учителя физики. По приезду оказалось, что не заняты также вакансии других учителей-предметников и директора. Молодому педагогу предложили временно сделаться местным Ломоносовым и целиком возглавить обучение в школе. Илья Петрович взвалил эту ношу и уже семь лет ее на себе волок. К той поре, когда произошла история с Машей Цыгановой, директору было чуть больше тридцати,

но выглядел он старше своих лет, быть может, потому что одиноко и нелюди-мо жил на казенной квартире при школе. Широкоплечий, рослый, но как-то неладно скроенный, он внешне напоминал скульптуру, которую попытался высечь из цельной каменной глыбы незадачливый мастер. Тесал, тесал, да, так и не доделав или отчаявшись обработать неподатливый материал, бросил как есть.

Директор вел жизнь, совершенно недоступную пониманию поселъчан. Он не пил водку, не курил и не ругался матом, но зато выписывал массу журналов и газет, о которых в «Сорок втором» не слышали, а когда ездил в район, то привозил оттуда всякий раз несметное количество книг. Известно было также — хотя Илья Петрович факт этот не афишировал и даже как будто немножко стеснялся, но в маленьком поселке попробуй что-нибудь скрой — что время от времени отсылал он в редакции московских и ленинградских журналов объемные бандероли и некоторое время спустя получал в ответ тоненькие письма, надолго погружавшие его в печаль.

Родители его побаивались, дети обожали. Несмотря на грозную внешность, они чувствовали в нем необыкновенную доброту. К тому же знал он так много интересного и так здорово умел об этом рассказывать, что самые отпетые лентяи и хулиганы на его уроках смиренно сидели, слушая поразительные истории о великих открытиях, далеких землях, полетах в космос, роботах, компьютерах, освоении Севера и прочих достижениях постаревшего человечества. На каникулы он уходил с учениками в лыжные, пешие и водные походы по тайге и порожистым рекам. Он возил детей на экскурсии в большие и малые города, показывал им музеи и выставки и старался сделать все, чтобы его воспитанники по причине отдаленности их малой родины не чувствовали себя брошенными или в чем-то ущемленными. Одно время Ильей Петровичем интересовались местные власти и предлагали поменять Богом забытое поселение на работу в роно или даже в райкоме партии, намекая на то, что при его данных он мог бы сделать карьеру партийного работника. Но директор все посулы отклонил и продолжал заниматься тем, что считал главным делом жизни.

Полезьа от него в «Сорок втором» была огромная, и не только потому, что он учил детишек. В эпоху массовой радио- и телефикации Илья Петрович был единственным человеком на сотни километров вокруг, умевшим чинить бытовую технику. Потерять его жители страшно боялись и, чтобы понадежнее привязать молодого да к тому же непьющего мужчину, не раз пробовали женить, но Илья Петрович не поддавался. На танцы он не ходил, в кино не бывал, дружбу почти ни с кем не водил, а когда его спрашивали, собирается ли он обзаводиться семьей, шутливо отвечал, что невеста его еще не подросла.

И по своей загадочности, и по влиянию на умы поселъчан он вполне успешно конкурировал с бухарянами. Но, поскольку двум медведям в одной берлоге не ужиться, Илья Петрович вскоре по приезде в «Сорок второй» объявил диссидентам беспощадную войну. Поначалу сама мысль, что в его просвещенное время существуют не просто люди, подверженные религиозным предрассудкам, но настоящие фанатики, не признающие электричества, медицины, брезгающие пить и есть из той же посуды, что и все смертные, его удивила и позабавила. Но, когда узнал, что несколько десятков детишек, вместо того чтобы слушать про Джордано Бруно, Галилея, Коперника, Ломоносова и Эйнштейна, проводят дни и ночи в тупых молитвах, Илья Петрович почувствовал себя лично задетым. Он поклялся, что не уедет из «Сорок второго» до тех пор, пока хоть один ребенок в Бухаре останется неграмотным.

Однако все его попытки с наскоку взять сектантскую цитадель и доказать упрямам, что Бога нет, а их Бога нет вдвойне, оказались безрезультатными. Из Бухары Илью Петровича, невзирая на его директорский авторитет, вытолкали взащей, пригрозив спустить собак, если он хоть раз еще приблизится к ограде скита. Он ушел, сопровождаемый взглядами двух людей — приземистого, тощего мужичка-келаря и высокого, худощавого старца. Эти две пары глаз, особенно Вассановы, впоследствии долго преследовали Илью Петровича. Взгляд келаря ничего, кроме ненависти, не выражал, но глаза старца поразили

директора каким-то нездешним, невиданным одиночеством. Выражение это, впрочем, промелькнуло только на мгновение, Вассиан отвернулся, и Илье Петровичу пришлось несолоно хлебавши идти домой.

Потерпев неудачу добиться своего добром, педагог призвал на помощь начальство. Но, к его удивлению и возмущению, в том месте, где, казалось бы, по долгу службы давно должны были принять соответствующие меры, к его действиям отнеслись неодобрительно.

Председатель поссовета — хохол-западенец из бывших бендеровцев, застрявший в этих краях после отсидки и избранный на высокую должность благодаря тому обстоятельству, что никого менее пьющего подыскать не смогли, — прикрыл дверь и сказал буквально следующее:

— Илья Петровичу, та не чипайте вы их.

— Это еще почему?

— Воны дуже добри працивныкы.

— Значит, вам всего дороже план ваш?! — воскликнул Илья Петрович так, что слышно было на всем этаже. — А какой ценой вы этого добиваетесь, вы подумали?

— Бачыте, Илья Петровичу, — ответил председатель осторожно. — Вы людына нова и трошки не розумієтеся. Мы тут живемо, як на острови. Кругом дыбри ат бездорижжя, телефон обризаты як пыты даты. Багато наших жителів колышны заклучонны. Колы щось станеться, мы з вами перши до них побижимо. Бухара це наш оплот, и сварытыся з нею мы не можемо. Та й старець там, повим вам, дуже цикава людына. Не пудло бы було вам з ным познайомытыся.

— Это еще зачем? — обиженно сказал самолюбивый педагог. — Да я ему руки не подам.

— Ну це вже як вы захочете, хоч щодо Вассияна, вин разумный и нас з вами за пояс заткне.

— Что ж у него тогда дети в школу не ходят, если он такой умный?

— А нащо им, по совисти сказаты, школа? Чому треба, вин их и так навчить.

— Да как вы так можете рассуждать?

— Илья Петровичу, Илья Петровичу, — вздохнул председатель, наливая ему и себе по стопочке. — Молоди вы и життя не знаете.

— Я не пью, — встрял директор.

— Так я й кажу, що не знаете. Давайте так ся договоримо: воны наших детей не чипають, а вы их не чипайте.

— С каких это пор дети стали на наших и ненаших делиться?

— Ну вот что, товарищ директор, — сказал председатель, переходя на чистейшую российскую мову, — вы эту демагогию оставьте. Мы вас очень ценим, но, если не нравятся наши порядки, задерживать вас никто не станет.

Были у бухарян и другие защитники. Порой из Москвы или Ленинграда приезжали экспедиции с боролатыми мужами и совсем молоденькими девочками, пытались купить книги и иконы, записать песни, предания или молитвы этих реликтовых людей. Им предлагали большие деньги, давили на честолобие, но все точно так же было тщетно. Бухара наглухо закрывала двери, старец отказывался даже встречаться с учеными. Экспедиции уезжали ни с чем, а на следующий год опять приезжали. Иногда случались накладки, и в поселке сталкивались сразу две поисковые группы. Они долго препирались, кто из них имеет право на обследование Бухары, потрясали бумагами и междуниверситетскими договорами, но поскольку скит находился на стыке двух районов, то споры оканчивались так же безрезультатно, как и сами экспедиции.

Илью Петровича этот интерес раздражал. Чудилось ему, что это лишь укрепляет тщеславных бухарян в их исключительности и избранности, и подмывало его попенять всем кандидатам и докторам наук, фольклористам, лингвистам, этнографам, историкам, религиоведам и музыковедам, что о старине они думают, а жизнь людей, которые годами от обыкновенной культуры отрезаны и не виноваты в том, что родились не в Москве, не в Ленинграде и даже не в

Тамбове, никого не заботит. Жалуются на то, что леспромхозовские парни к студенткам пристают, чуть ли не охраны себе требуют, а чтобы лекцию прочитать — не допросишься. У них одно на уме — Бухара, все ходят да восхищаются, как это сохранились, как пережили, как пропали, но ничего, кроме научного эгоизма, директор в этом не видел и всякий раз возражал против того, чтобы экспедиции селились в пустующей летом школе — наиболее приспособленном для этого месте.

Ученая братия неприязни выпускника московского института не понимала, жаловалась на него в поссовет, но попытки переубедить директора ни к чему не приводили. Только однажды разговорился Илья Петрович с помятым лысоватым мужичком-социологом, занимавшимся проблемами закрытых групп, и то потому, что социологию за современную науку признавал, находя в ней практическую пользу и желая посоветоваться со знающим человеком, как бы ключик к сектантам подобрать и хотя бы детишек оттуда вывести.

— А стоит ли? — спросил коротышка социолог, снисходительно подняв глаза на директора.

— То есть как это? — опешил Илья Петрович.

— Что вы им, молодой человек, взамен предложите? Вы нахватались по верхам в институте своем и думаете, что научить их чему-то можете?

— Я на это по-другому смотрю, — отрывисто сказал директор.

— А позвольте спросить: вот сколько лет вы здесь уже живете, а что о них знаете?

— Какое это имеет значение?

— Эх, молодой человек, молодой человек! Как же, не зная броду, в эту воду лезть? Думаете, там все так просто? Здешняя община особенная. Нигде, ни в России, ни в мире, ничего похожего на Бухару нет и не было. Они ведь не старообрядцы, как некоторые считают.

— А кто же тогда? — удивился директор.

— Не знаю. Но у староверов наших при всем их эсхатологизме своя богатейшая и, увы, кажется, подошедшая к концу история была. А здесь как будто истории или, лучше сказать, эволюции не было вообще. Точно кто-то остановил время, чтобы сберечь все, как есть, затолкнул их в эту Бухару и не выпускает. Как заповедано им было, так они и живут — с жесткой дисциплиной, боязнью послушаться наставника, подчинением, страхом.

— А местная власть их поддерживает, — с горечью отозвался Илья Петрович.

— Ну это-то как раз понятно, — усмехнулся коротышка, — они же близнецы-братья. Тоталитарная власть.

Илья Петрович опасливо покосился на своего собеседника, но тот, не обращая внимания на его взгляд, увлеченно продолжил:

— Вы взгляните на эту проблему с другой стороны. Там живут за оградой, как за колючей проволокой, молодые мужчины и женщины. Постоянная молитва, посты, послушание, чихнуть и то можно лишь с благословения. А в двух шагах — какие-никакие, а танцы, кино, телевидение. Разумеется, для них это все от дьявола. Но думаете, нет там никого, кому не хочется этого попробовать? И не дай Бог оступишься. В яму посадят, сгноят заживо, чтоб другим неповадно было. А только ведь одним страхом тоже не удержишь. Да, видно, умны у них старцы и секреты какие-то знают, раз до сих пор всех держат. Они потому и ученых не шибко пускают — не доверяют. Хотя мы не меньше, чем они, в сохранности Бухары заинтересованы.

— Да на что она вам? — спросил вконец сбитый с толку директор.

— Вы, милый юноша, всей ценности Бухары не представляете, — нравоучительно изрек его ученый собеседник. — Это вам кажется, что вы тут живете и никто про вас не слышал, а спросите любого ученого мало-мальски серьезного, произнесите только слово это «Бухара», у всех глаза заблестят. По одной деревне этой можно десятки диссертаций защитить, книг написать, фильмов снять. А еще прибавьте, сколько книг там, икон редчайших, утвари нетро-

нутой, и все не разграблено, цело. Ведь там, за оградой, заповедник. А помрет старец — и не будет Бухары.

— И слава Богу! — вырвалось у директора.

— По молодости и по неразумению глаголите сие. Страшнее всего потери необратимые. Вы-то как раз и могли бы ключик этот найти и отомкнуть. Ведь что-то здесь не так.

— Ну уж нет, я этими тайнами голову себе забивать не стану.

— Жаль, — заключил ученый, — ибо рано или поздно этим займется какой-нибудь мошенник.

И как в воду глядел. Некоторое время спустя в Бухаре объявился пришелец. Кто он был таков и откуда взялся, никто точно не знал, но внешность он имел довольно своеобразную. Лицо у него было гладковыбритое, припухловатое, розового цвета и не по годам молодое, а угрюмый и достающий до самой сердцевины взгляд необычных выпуклых глаз никак с этой детскостью не вязался. Говорили, будто бы пришелец — образованный книжник, который много лет провел в печорских и енисейских скитах, изучая старые книги. Будто бы бросил он в Ленинграде квартиру, работу и перешел в ту единственную веру, в коей в одной заключено спасение. С тех пор он часто приезжал в скит и жил здесь по несколько месяцев, после чего на неопределенное время исчезал.

Илья Петрович отнесся к этим слухам недоверчиво. В то, что современный образованный человек может всерьез относиться к сектантским бредням, он не верил. Неожиданный случай полностью подтвердил его предположения. Однажды он случайно столкнулся с неопитом в лесу и застал его курящим трубку. Очевидно, рассудил Илья Петрович, книжник рассчитывал проникнуться доверием старцев, обмануть их и завладеть наследством Бухары.

Директора богатство скита интересовало мало, он лишь почувствовал что-то вроде брезгливости и никакого значения этой встрече не придал. Мелькнула у него мысль сообщить сектантам, кого они пригрели, но, будучи человеком истинно интеллигентным, доносить, какими бы благородными причинами это ни было вызвано, Илья Петрович считал ниже своего достоинства. Напротив, он как-то даже успокоился. Некий таинственный ореол, клубившийся вокруг Бухары, в его глазах окончательно рассеялся. Про себя директор подумал, что, может быть, социолог насчет их строгости преувеличивает и все они там тайком покуривают, распутничают и пьют водку. Педагог перешел от преждевременных наступательных действий к глухой осаде, решив, что очаг этой заразы ограничен, хотя на уроках, рассказывая детям про замечательные достижения человечества, напирал на то, что они были совершены безо всякой Божьей помощи, будь то Иисус или Иисус.

С годами его просветительский пыл угас. Илья Петрович нашел для себя утешение в охоте, завел собаку, купил ружье и вместе с конформистом-председателем ходил в лес, сделавшись вскоре замечательным специалистом по добычанию крупной и мелкой дичи. Именно охоту на глухарей, тетеревов, рябчиков, в изобилии обитавших на вырубках и гнездившихся в бывших лагерных бараках и на вышках, ставил он превыше всего и проводил немало прелестных часов в ночном или утреннем лесу ранней весной или осенью, когда природа так чудесна и, сколько бы ни было на душе печальных или досадных мыслей, все они гаснут или вовсе уходят прочь. Эта страсть окончательно примирила его с существованием Бухары, разбавив кипучую натуру директора более спокойным и созерцательным отношением к жизни. Было только одно неприятное последствие у этого увлечения. А именно то, что до той поры трезвенник Илья Петрович пристрастился пить водку. Впрочем, немного и когда наутро ему не надо было идти в школу.

Что же касается бухарян, то они действительно жили тихо, справляли свои службы в особой моленной избе и никого до себя не допускали. Несколько раз с иными из них сталкивались охотники в лесу. Они толковали с председателем об охоте, как толкуют мужики, просто и спокойно. Видно было, как уважает хитрый хохол своих собеседников, даже немножко заискивает перед ними. Ни-

когда он не курил и не выражался при них матом, а держался так, будто его вызвали к высокому начальству. Сектанты принимали эти знаки внимания как нечто само собой разумеющееся, расстояние блюли, и, казалось, никто и никогда из мирских людей не перейдет границу, отделяющую Бухару от прочего мира.

Но настал тот злополучный день Ильи-Пророка, когда шальная молния угодила в Машу Цыганову, неожиданно-негаданно всплыла древняя и весьма сомнительная история о несчастной Евстолии, и из, казалось, навеки затухшего вулкана хлынула лава.

Глава IV. Ночной дозор

Всякой мистики Илья Петрович чурался. Он увлекался фотографией, радиосеансами с Австралией, разглядывал в телескоп звездное небо, обожал братьев Стругацких, Станислава Лема и Кира Булычева и скорее поверил бы в то, что на лесной поляне приземлился НЛО, нежели действительно были найдены останки попавшей в капкан семьдесят лет назад женщины. Директор был убежден, что рано или поздно странному явлению будет найдено рациональное истолкование, мало ли было в истории случаев, когда вмешательством сверхъестественных сил объяснялись вполне естественные, хотя и кажущиеся таинственными вещи. То, что не искали иных объяснений, верили в чудо и молились на расщепленную сосну сектанты, его не слишком удивляло, но перемена в обитателях «Сорок второго», их трепет и даже какое-то пугливое отношение к случившемуся директора поразили.

Казалось, не было ни радио, ни телевидения, ни спутников — весь двадцатый век рухнул в небытие, отступил со всеми своими чудесами перед напором одного-единственного и не такого уж в конце концов сверхъестественного происшествия. Илья Петрович заходил в дома к здравомыслящим людям, кому чинил эти самые телевизоры и чьих детей учил в школе, взывал к их рассудку, он повторял везде и всюду, что сон разума порождает чудовищ. Но там, где его еще вчера так любили и он был самым желанным гостем, на него смотрели с неприязнью и осуждением оттого, что он жив и здоров и самим фактом своего существования противоречит чуду, не понимая того, что чудесным выздоровлением именно Евстолии обязан.

Илью Петровича эта чушь только злила. Горечь пробуждал в учителе людской род и заставлял убежденного рационалиста усомниться в самом прогрессе и поступательном движении вперед человеческой цивилизации: какой уж там прогресс, если люди остались такими же, что и во времена Галилея, Яна Гуса или Джордано Бруно, и суть их — стадное безумство! Достаточно помешаться одному, как сходят с ума все вокруг. Но его печалью были не взрослые — самым страшным было то, что в темные сказки заставляли уверовать детей. Директор с ужасом думал, что произойдет первого сентября и хватит ли у него сил учеников переубедить, да и просто пустят ли их родители в школу, или же образование теперь объявят навсегда запретным. Ради учеников Илья Петрович был готов стать жертвой толпы, но остановить религиозное насилие над детьми.

Существовало еще одно никому не ведомое и ревниво оберегаемое от чужих глаз обстоятельство, подталкивающее директора пойти на крайние меры. Коснись эта история любого из его учеников, Илья Петрович вел бы себя точно так же. Никогда никаких любимцев или нелюбимцев у него не было, но все же к Маше Цыгановой он испытывал особые чувства. Он запомнил ее с того дня, когда семилетней девочкой в застиранном, линялом платье она переступила порог школы и ее образ отозвался в нем прежде не ведомой нежностью. Бывший студент-отличник больше уже не тосковал по друзьям, посиделкам в общежитии, театрам, по большим городам и той жизни, к которой привык в молодые годы. Все самое сокровенное сосредоточилось теперь для него в окруженной черемухой деревянной школе с большими светлыми окнами. Именно случайной Шуриной дочке, сами того не ведая, обязаны были жители поселка

тем, что Илья Петрович, отработав три года по распределению, так здесь и остался.

Когда она приходила в класс, ему казалось, что он рассказывает только для нее. Когда ее не было, он скучал и сердился, шел ругаться с ее сквалыжной мамашей и чем больше ее узнавал, тем меньше мог понять, как в глухом краю и у таких родителей могла появиться эта удивительная девочка. Он чувствовал себя ее единственным покровителем и защитником и теперь решился на совершенно отчаянный, безумный поступок, грозивший ему самыми ужасными последствиями, лишь бы избавить свою возлюбленную ученицу от неожиданно-негаданно свалившегося на нее непомерного груза прижизненной святости.

В сумерках местность выглядела довольно мрачно. Погода была ненастная, уже начали расцветать желтыми и красными красками лиственные леса, потянулась мокрая паутина, и пейзаж этот навевал грустные мысли. Илья Петрович задумчиво прошелся взад-вперед по болоту, оглядел недавние раскопки и пожалел, что в тот день в «Сорок втором» его не оказалось — быть может, ему удалось бы увидеть нечто такое, чего не разглядел никто.

Вот здесь его ослепило молнией и он нашел под расщепленным деревом девочку, подбежал к ней, стал делать искусственное дыхание и был счастлив, когда она пришла в себя. Эти воспоминания были ему так дороги, что и теперь он не мог оправиться от волнения и, точно наяву, видел ее просветленное лицо, разметавшиеся по траве волосы, нежные плечи и уже начавшую оформляться грудь.

Выглянула некстати луна, идти было чуть больше часа, но ни страха, ни дрожи директор не ощущал. Он хорошо знал эту тропу и шел в темноте довольно легко, лишь изредка посвечивая фонариком. Наконец миновал последний подъем и в рощице на берегу увидел горевший огонек. Директор приблизился, впрочем, теперь чуть с меньшей долей уверенности, но никакие огоньки остановить его не могли. Кладбище было просторным — на нем стояли мощные, коренастые, как боровики, кресты, а смутивший его огонек освещал могилу Евстолии. Там теплилась лампадка.

Илья Петрович достал лопату и приготовился копать. Он собирался взять одну из косточек и отослать в Москву, в лабораторию своего института, чтобы там установили точный возраст и дату захоронения останков.

Над головой летали бесшумные птицы, ухала сова, луна мертвенным светом озаряла кладбище. Илья Петрович испуганно озирался по сторонам. Он боялся не призраков, но живых людей. Однако никого не было на кладбище в этот неурочный час. Он начал копать быстрее. Вот-вот лопата должна была ткнуться в гроб, как вдруг ему почудилось, что хрустнул сучок и послышались шаги. Илья Петрович вздрогнул и обернулся: из темноты на него смотрели выпуклые глаза.

Директор приготовился к самому худшему, но вместо криков, возмущения и ярости услышал спокойный, благожелательный голос:

— Что, Илья Петрович, решили мощи на анализ отправить? Не утруждайте себя понапрасну — это те самые.

Обладателя этого не отличавшегося никакими приметами местного голоса Илья Петрович узнал сразу же и в первый момент испытал невероятное облегчение от того, что на месте преступления его застали не сектанты, а их обманщик. Во всяком случае, можно было надеяться, что прямо здесь и сейчас убивать его за святотатство никто не станет.

— Я так и знал, что вы сюда придете,— сказал самозванец с удовлетворением.

— Что вам угодно? — спросил наконец опомнившийся директор, резкостью прикрывая свое смущение.

— Я слышал о вас много хорошего и имею намерение побеседовать и убедить вас от некоторых ошибок,— мягко ответил самозванец.— Такой директор, как вы,— большая удача для здешней школы. Хотя сомневаюсь в том, что здешняя школа — большая удача для вас.

Он не спеша достал трубку, набил ее пахучим табаком и с наслаждением затянулся.

— Признаться, больше всего страдаю от невозможности покурить. Я, Илья Петрович, знаю, что вы меня циником считаете. Но обстоятельства так сложились, что в этой глуши на тысячу верст вокруг мы с вами — два единственных интеллигентных человека, не изменивших своему призванию. Отчего бы нам не побеседовать на интересную тему? Однако прежде я предлагаю вам закопать могилку и не тревожить прах мертвецов. Не ровен час кто узнает, скандала же не оберешься.

Педагог стиснул зубы.

— Я приветствую ваше желание дойти до самой сути. Ведь действительно странная история. Вы уже составили для себя какое-нибудь предварительное объяснение?

— Нет,— процедил Илья Петрович.

— А ученикам что говорить станете?

— Вам какое дело?

— Да, незавидное у вас положение. Станете утверждать, что просто случайность,— кто поверит? А может быть, все-таки признаете, что произошло чудо?

Илью Петровича передернуло, но чересчур нагловатый тон этого человека, точно намекавшего на некие скрытые обстоятельства, не позволял ему просто уйти.

— Я давно за вами наблюдаю и признаюсь, любопытный вы человек. Весьма любопытный. Только сами себя плохо знаете. Это ведь на поверхности так: молодой педагог, энтузиаст сам выбрал такую долю — после института едет в глушь, учит детишек и от всяких соблазнительных предложений отказывается. А если поглубже копнуть, тут же драма оскорбленного самолюбия. Не взяли вас в аспирантуру, вы и обиделись, захотели всему миру доказать, что из себя представляете, прославиться и оседлать белого коня. Вы небось еще и пишете что-нибудь тайком, в журналы посылаете, вам отказывают, вы на литконсультантов злитесь и себя гением мните.

От возмущения и неожиданности, но более всего недоумевая, откуда этому человеку могут быть известны подробности его биографии, молодой автор раскрыл рот и не знал, что возразить.

— А годы-то идут. Звезда ваша припозднилась и не восходит. Уж столько лет директорствуете. Надоело, поди, но опять же самолюбие не дает никак признаться, что сгоряча не за свой гуж взялись, и оглобли поворотить. Сверстники ваши тем временем диссертации защищают, устроились в местах почтенных, иные и за границу ездят. А вы задачу себе поставили — бедных умом сектантов одолеть. На что вам темные старики? Чем помешали?

— Вам этого не понять.

— Охотно верю. Но задумайтесь над одной вещью: ни государи-императоры, ни советская власть со всеми ее ЧК-ГПУ-НКВД-КГБ Бухару не взяла. Где ж вам-то тягаться? Умные люди говорили: оставьте их в покое.

— Да кто вы такой, чтобы мне советы давать? — спросил директор в бешенстве.

— Я оказываю старцу Вассиану некоторые услуги,— уклончиво ответил самозванец.— И вот что хочу вам сказать. Вашему вымороченному поселку сорок лет, и рано или поздно его закроют, а Бухара останется. Не вы первый с нею боролись, и не вы первый сломаете на ней голову. В скиту считают, что отроковица принадлежит им, так смиритесь с этим и не препятствуйте тому, что должно свершиться.

— Вот оно что? — пробормотал директор, с трудом сдерживая ярость при одном только упоминании Маши.— Девочка им потребовалась, и ради этого они целый спектакль устроили! Вы думаете, не понимаю я, зачем ваш старец все это затеял?

— Ну и зачем же?

— Затем, что ему нужны чудеса, чтобы держать в повиновении свою секту,— раздельно и в то же время как-то придушенно произнес директор.

— А вы не так уж и просты, как кажетесь,— пробормотал самозванец.

— Так вот передайте там, что девочку они никогда не получают. Я, если надо будет, до Москвы дойду.

— Вы что же, всерьез думаете, что со скопидомкой-матерью и отцом-алкоголиком ей лучше?

— Не вечно она с ними будет. Девочка умная, кончит школу — учиться поедет. Я ее в институт сам готовить стану.

— В том, что сами, я не сомневаюсь,— усмехнулся самозванец.— Но представьте себе, что отроковица избрана для совершенно иных, нежели вы наметили, целей.

— Каких еще целей? Что вы мелете?

— Если бы, Илья Петрович, мы могли знать цели Провидения,— назидательно заметил пришелец,— наша жизнь приобрела бы совсем иной вид.

— Я в Провидение не верю,— надменно сказал директор.

— А вот это напрасно. Подобное легкомыслие может иметь самые печальные последствия.

— Но вы-то ведь тоже не верите? — спросил Илья Петрович, в упор глядя на курильщика.

— Здесь вы ошибаетесь. Я верю, хотя и на свой манер,— возразил тот спокойно.— А не угодно ли вам будет, милый мой сочинитель, послушать одну историю?

— Не угодно! — отрезал директор.

— Илья Петрович,— проворковал самозванец проникновенным голосом,— я бы не стал задерживать ваше внимание, если бы эта история не пролила отчасти свет на то, что здесь произошло.

— Бросьте юлить! Если что-то знаете, скажите прямо.

— Прямо этого, Илья Петрович, не скажешь.

Директор приготовился было уйти, как вдруг представил казенную квартиру, лист бумаги с неоконченным романом о межзвездных путешествиях, сеанс с сиднейским радиолобителем, которому, как ни бейся, не объяснишь ничего из того, что происходит на далеком северном континенте, и ему сделалось тоскливо.

— Ну что ж, давайте,— вздохнул он,— выкладывайте вашу историю.

Самозванец усмехнулся и набил трубку новой порцией табака.

Глава V. Десница

«В одном отдаленном российском городе не так давно жил да был майор по фамилии Мудрак. Работал он начальником местной милиции и ничем особенным не отличался, но было у него странное и даже старомодное свойство. Он был необыкновенным атеистом. Причем атеистом на совесть, каких к той ленивой поре уже нигде и не осталось. Еще пацаном, ни черта не боясь, залезал Мудрак на церковные купола и, рискуя свернуть шею, рубил кресты. Сколько он этих крестов посшибал — одному Богу ведомо. Деревенские старухи ему пророчили:

— Паралич тебя, сатану, разобьет! С ума сойдешь! Покайся, ирод!

Но только смеялся над ними Мудрак.

Всю войну майор прошел без единой царапины, ни одна бандитская пуля, ни хулиганский нож его не задел. Великой храбрости был человек, и трепетали, заслышав его имя, урки. Он же их не боялся, в самое логово лез и всегда выходил победителем.

Но пуще вора, убийц и бандюг ненавидел майор верующих в Бога и никак не мог уразуметь: откуда в правильном обществе они могут взяться и почему не исчезают?

Хотя в его обязанности это не входило, везде, где Мудрак служил, он искоренял религию самым безбожным образом. Опечатывал церковные двери, аре-

стовывал заговорщиков, материл попов и монахов, выслеживал квартиры и частные дома, где собирались на моления баптисты, адвентисты и старообрядцы-беспоповцы, и нагонял на людей столько страха, что жаловаться на него боялись.

Вот и в городке, куда его под старость назначили, майор закрыл единственную уцелевшую церковь, прогнал священника и все думал, что бы ему еще полезное во славу атеизма сделать. Однако как будто все было сделано — Бога в городе больше не было. Иногда даже скучно ему становилось при виде такой картины, хотелось подраться с Невидимым Противником и доказать Ему свою силу. Но все люди вечерами сидели у телевизоров, вели себя благопристойно и тихо, так что подумывал начальник, как бы попроситься в другое место, где его замечательный талант пригодится. Потом в следующее — так он целый план составил, как всю Русь обезбожить. Однако и проекты, и записки, которые Мудрак посылал в высокие инстанции и учреждения, оставались безответными.

Но однажды его помощник доложил, что в клубе на окраине тайно собираются сектанты. Обрадованный Мудрак тотчас же поднял по тревоге оперативников. Зрительный зал был закрыт, за дверью слышалось характерное пение, и клуб решили брать штурмом. Люди разбились на две группы и с двух сторон стали по лестнице подниматься наверх, чтобы через кулисы попасть сразу на сцену и захватить сектантов с поличным.

И тут произошла непредвиденная вещь: когда обхват был почти завершен, впереди мелькнул силуэт замешкавшегося оперативника. В азарте майор решил, что кто-то из окруженных пытается выбраться, и выстрелил. С той стороны тоже не разобрались и вдарили по своим. Началась отчаянная перестрелка. По счастью, никто не пострадал. Только майора ранило в правую руку.

Но, самое-то главное, оказалось, что пострадал Мудрак зря, потому что в клубе были никакие не сектанты, а актеры заводской самодеятельности, ставившие к Пасхе пьесу с антирелигиозным сюжетом.

Такой вот произошел нелепый случай, который постарались побыстрее замять, и объявили случившееся учебной операцией по обезвреживанию вражеского десанта.

Но тем дело не кончилось. На следующий день у Мудрака поднялась температура и пошло нагноение. Сперва он на это внимания не обратил, думал, обойдется, как всегда в его жизни обходилось, но получилось иначе. Рука опухла до локтя, почернела, и, когда майор попал в больницу, было уже поздно: десницу пришлось ампутировать.

Много ходило по городу после этого разных слухов и толков, и иные увидели в том знак свыше и решили, что терпение Господне истощилось и так Создатель покарал нечестивца.

Майора и досада, и зло брали: как на улицу ни выйдешь, все на его пустой рукав оборачиваются, шепчутся, одни головы опускают, другие в глаза нагло смотрят. Сам он в ходячий экспонат религиозной пропаганды превратился — хоть в другое место беги. Но не такой человек был Мудрак, чтобы перед кем-нибудь отступать.

А тем временем скандальная история дошла до столицы, где давно уже высокие начальники, утомленные не соответствующей историческому моменту майоровой прытью, думали, как бы его на пенсию отправить. Тут и возможность подоспела: без правой руки какой он боец?

Как ни доказывал Мудрак, что он и левой не хуже стреляет, как ни умолял принять во внимание его боевые заслуги — все было тщетно, вышла начальнику отставка.

Мудрак сперва сильно горевал, но потом решил, что, может быть, все к лучшему, никаких других обязанностей у него не будет и он сможет безраздельно отдаваться любимому делу.

Для начала он решил написать антирелигиозную книжку. Он давно собирался такую книгу написать, да все было некогда. И вот в первый свой нерабочий день Мудрак сел за стол. Но, во-первых, писать — не стрелять, это ему и

правой рукой делать было трудно, а во-вторых, он не знал, что писать. Прежде ему казалось, только начни он, как слова сами собой польются, а тут вдруг выясняется, что ничего у него не получается. Написал только: «Бога нет». А дальше как отрезало.

Майор сильно расстроился, но рассудил так: если сочинять в день хотя бы по одному предложению, то за год книжку не книжку, а брошюрку он напишет. И решил отметить дебют бутылкой кагора, ибо ни водки, ни коньяков он не любил, предпочитая всему на свете сладкие вина и из них больше всего — кагор.

Он налил себе рюмку, другую, стало ему тепло и хорошо, Мудрак захмелел и не заметил, как уснул, а проснулся оттого, что послышался подозрительный шум, и он увидел в комнате мужичка. На вид невзрачного, хиленького, в помятом пиджачишке и куцых брючках.

— Ты кто-о? — спросил Мудрак.

Мужичонка ему отвечает:

— Я твой ангел.

— Какой еще ангел? Что ты мелешь?

— Новый ангел, — сказал мужичок. — Меня в самых трудных случаях посылают. У тебя раньше был очень неопытный ангел. Он совсем с делом не справлялся. Тело твое берег, а душу едва не упустил. Но теперь все будет хорошо.

— Да ты что, — обиделся Мудрак, — издеваться сюда пришел, ханыга чертов! Ты хоть знаешь, кто я такой?

— Знаю, — ответил ангел. — Ты очень несчастный, я бы даже сказал, невезучий человек.

— Ишь ты! — усмехнулся Мудрак, который до последнего случая невезучим никак себя не считал. — А чем докажешь, что ты ангел?

Мужичонка повернулся, и майор увидел у него за спиной небольшие мятые крылья.

— Подумаешь! — сказал он презрительно. — Ты мне чудо настоящее покажи — тогда поверю.

— Я могу показать тебе чудо, но дело совсем не в этом.

— Нет, хочу чуда! — потребовал Мудрак.

— Ну что же, будь по-твоему, — сказал ангел, не сильно удивляясь, — все вы, люди, хотите чуда, но ни одно из них на пользу вам еще ни разу не пошло.

И исчез.

Мудрак усмехнулся и лег спать. А наутро он проснулся со странным ощущением, что за ночь что-то произошло. Он сперва не понял, что именно. Все было как будто на своих местах. Та же недопитая бутылка кагора, тот же листок бумаги с одним-единственным предложением. Мудрак сел к столу, чтобы описать, как в хмельном состоянии люди поддаются религиозным видениям, и, следовательно, Бог и все Его силы есть не что иное, как пьяный бред. Но вдруг почувствовал, что ему что-то мешает. Он в недоумении опустил глаза и pokrылся холодным потом: ампутированная кисть снова была на месте.

Он дотронулся до нее, кисть не пропала. Мудрак испуганно ею пошевелил — кисть сидела на месте как влитая. Рука как рука — точно такая же, как и была раньше, с крепкими пальцами, с толстой кожей, в которую вьелся и уже не отмывался порох, с желтыми от никотина ногтями. Майор сделал усилие, чтобы проснуться, но это был не сон или сон такой глубокий, как вся наша жизнь, и проснуться можно было, только умерев.

Мудрак стал рассуждать логически: могли ли его, допустим, ночью тайно вывезти в больницу, сделать операцию и привезти домой? Или могло ли ему, наоборот, присниться все, что произошло в клубе, и он по-прежнему здравствующий майор? Но почему в таком случае он не на службе? Или же это теперь продолжается сон и надо все-таки проснуться? Однако ни одно из этих объяснений его не удовлетворяло, и поскольку всяких тайн и загадок он не любил, то решил не забивать голову напрасными сомнениями и снова взялся за перо.

На сей раз дело пошло гораздо удачнее. Мудрак писал, предложения лете-ли одно за другим, он работал с таким энтузиазмом, что из дома вышел только однажды купить хлеба и вина и не обратил внимания на пораженные взгляды соседей. А потом и вовсе без еды стал обходиться, питаюсь одной лишь атеи-стической мыслью.

А между тем по городу поползли слухи о таинственном исцелении майора, и слухи эти наделали переполох еще больший, чем его ранение. Теперь в воле небес уже не сомневался никто, хотя, как ее истолковать, не знали. Собирался у его подъезда народ, трепетали старухи, стояли женщины с детьми.

Мудрак ничего этого не замечал — он дрался со Своим Противником, пока не разбил Его наголо, и наконец после долгого затворничества отправился в местное издательство.

Но, как только он вышел на улицу, его обступило не меньше сотни людей. Они ползали на коленях, целовали края его одежды, просили благословения. Сперва он не понимал, в чем дело, но, когда народ попадал ниц, Мудрак первый раз в жизни испугался.

Ни под вражескими пулями, ни безоружный перед бандитской финкой, ни на куполе церкви, срубая крест, он ничего не боялся, а теперь со страхом глядел на толпу и, что делать, не знал. Он кричал, пинал людей ногами, ругался, но и побои, и крики люди сносили как величайшую милость и принимали с благодарностью.

— Так, батюшка, так! По грехам нашим и следует нам! Крепче бей, роди-мый! Деток бей! Забыли Бога мы, согрешили, но послал нам Отец блаженно-го во искупление греха. Рукой, батюшка, бей, десницей исцеленной!

Он задирает руку, а люди висли на нем, старались дотронуться и поцеловать ее. Майор закричал страшным голосом и бросился обратно в квартиру.

К вечеру к его дому стекся почти весь город. И верующие, и неверующие, мужчины, женщины, дети, образованные и необразованные — все побросали телевизоры и пришли под окна майоровой квартиры.

Тогда же с черного хода пробрались бывшие коллеги майора и их соседи в штатском. Мудраку велели признаться в том, что он совершил акт повышенной идеологической диверсии, и открыть, кто его на это толкнул, кто исполнил и кто за этим стоит. Майор пытался объяснить, что ничего дурного не замышлял, а, напротив, хотел послужить и на пенсии родимой власти. Он махал листочка-ми со своими проповедями, но приезжие грубо его оборвали и вторично потребо-вали немедленно во всем сознаться.

Под окнами гудела толпа. Стягивались усиленные наряды милиции, в ме-гафон начальственные чины обращались к собравшимся и велели расходиться. Но, позабыв о страхе, люди стояли насмерть и в обиду чудоносца не давали.

— Иди и сделай что-нибудь! — приказали майору и выпихнули его на бал-кон.

Толпа замолкла и благоговейно взирала: сейчас должно было свершиться то чудо, что бывает один раз в тысячелетие. Сотни пар глаз смотрели на него снизу, но спиной Мудрак чувствовал, что на него направлены несколько писто-летов.

И вдруг он услышал тихий голос:

— Перекрестись, чадо, и вороги твои сгинут.

Лицо майора вдруг исказила судорога.

— Ах, это ты, сучий ангел! — воскликнул он в ненависти.

И на глазах у изумленного люда несостоявшийся апостол схватил левой рукой здоровенный тесак, которым кромсал капусту, поднял его над головой и со всего маху рубанул по деснице.

Кисть отлетела, толпа ахнула и расступилась, а майор, потрясая искале-ченной рукой, злобно, обращаясь в никуда, крикнул:

— На, подавись своим чудом!

Всем сразу стало скучно: Люди вспомнили об обычных заботах и разо-шлись, толкуя о фокусах, о филиппинских хилерах и о том, что никакой десни-цы и не было. Хитроумный безбожник специально придумал всю эту историю,

и последние старушки, еще хранившие в душе надежду на возрождение храма, поплелись к телевизору.

Только Мудраку почудилось, что где-то недалеко тяжело вздохнул мужичонка в помятом пиджачке. Вздохнул и отлетел».

Рассвело, и стало неудобно и зябко, как бывает осенним утром. Кричали птицы, трава и кусты были подернуты мокрой паутиной. В такие утра хорошо идет в сети рыба, а поселковые бабы наперегонки отправляются собирать рыжики и с фонарем шарят под невысокими елками или идут гурьбой на болото за клюквой. Илья Петрович и его докучливый собеседник стояли посреди Большого Мха, и уродливая возвышалась в десяти шагах от них расщепленная сосна как напоминание о недавнем происшествии.

— Если своим рассказом вы на меня намекали,— сказал Илья Петрович, зевнув,— то разрушение памятников архитектуры я осуждаю и культурно-историческое значение христианства на определенном этапе развития человечества при...

— А хотите я вам расскажу, как было на самом деле? — перебил его самозванец.

— Что именно?

— С девочкой. Вы увидели ее под деревом. Она лежала без сознания. Вы подбежали к ней, расстегнули платье, стали делать искусственное дыхание — все это вы умеете, я не сомневаюсь несколько. Потом она задышала, но в себя сразу не пришла. И тогда вы, директор, заслуженный учитель, коммунар, кто вы там еще, не знаю, вы ее... Нет, не изнасиловали, но...

— Замолчите!

— Вы без женщины-то как живете, Илья Петрович? Природу перехитрить хотите? Вы бы, чем романы ваши писать и против старцев козни строить, завели бы себе какую-нибудь любовницу — толстую, глупую, которая от всех бы ваших бредней вас излечила.

— Если вы не заткнетесь наконец, я вас застрелю! — схватился за ружье побелевший от ярости директор.

— Я ведь там был, Илья Петрович,— тихо произнес его обидчик.— Вот тут, на этом месте, где мы с вами сейчас беседуем, стоял. Видел, как вы девочку нашли, как раздели ее, как глядели жадно, как поцеловали и долго после этого платье не могли застегнуть. Сперва не хотели, а потом не получалось — руки у вас дрожали. Или скажете, что не дрожали? Да так дрожали, что заболели вы от расстройства нервов и столько переполоху своей болезнью надедали.

Илья Петрович обмяк, ружье у него опустилось, и он стал похож на ученика, застигнутого во время постыдного поступка.

— Уезжайте отсюда. Ношу вы на себя непомерную взвалили, вот и маетесь. Не получится из вас подвижника. Один раз греха избежали — другой не устоите. Вы в Бога-то хотите верить, хотите нет — это ваше дело. Только в лукавом не сомневайтесь. Искусшает он вас. Преподобный Аввакум, когда соблазняла его женская нагота, персты в огонь вложил и держал так до тех пор, пока не отпустила похоть. Но вам-то к чему со святыми равняться?

— Нет,— сказал директор, выпрямляясь.— Я лучше, как Аввакум,— в огонь.

— Вы что же это, серьезно?

— Да.

— А если серьезно, то скажу вам так.— Левая бровь самозванца дернулась, облик его переменялся, и от словоохотливого добродушного толстячка ничего не осталось.— Уж бить змею, так бей поскорее до смерти. Сказано в писании: «Аще рука твоя или нога твоя соблазняет тя, отсецы ю и верзи от себя, а аще око твое соблазняет тя, изми е и верзи от себя». По сему и в прочем следует поступать. Разумеете ли, что я говорю?

— Нет.

Самозванец наклонился к Илье Петровичу и шепотом прямо в ухо сказал ему:

— Что соблазняет, то и отсеки.

Директор поглядел на него в полной растерянности.

— Да-да, именно то, что вы подумали.

К его лицу опять вернулось прежнее насмешливое выражение, прищелц поступал трубкой по стволу, вытряхнул табак и стал тщательно жевать смолу.

— Жалко мне вас. Замучают ведь здесь.

— Кто же это замучает?

— Этого добра на Руси всегда хватало. Боюсь, что масштабами поселка так просто все не закончится. Во всяком случае, я предпочитаю отсюда подобру-поздорову уехать.

«Ну и слава Богу»,— подумал Илья Петрович, но мысль была вялая.

Ему вдруг стало все равно, чьи кости и по какому праву лежат на древнем погосте и что будет с Машей Цыгановой, точно рассыпалось все его очарованное нежное чувство, смятое грубым вторжением. Захотелось выпить водки, согреться, забыться и уснуть.

— Что ж, милый мой директор, прощайте. Кто знает, может, когда-нибудь мы еще и свидимся.

— Вряд ли.

— От сумы и от тюрьмы не зарекайтесь. А, кстати, знаете, кто сказ про майора сочинил?

— Кто?

— Здешний старец Вассиан.

По дороге к дому директору встретился Алексей Цыганов. «Вот с ним-то и выпью»,— подумал он, но Машин отец был трезв, смотрел ласково, и Илья Петрович подумал, что самый гиблый пропойца «Сорок второго» — добрейший, в сущности, человек.

— Вы куда идете, Алексей Иванович? — спросил директор удивленно: доселе видеть Шуриного мужика не пьяным ему не случалось ни разу.

— К мощам направляюсь.

Илья Петрович растерянно воззрился на него.

— Зачем?

— Поклониться. И вы бы сходили. Глядишь, полегчало б. А то больно нехорошо выглядите.

Глава VI. Падение директора

В течение следующей недели на скитском кладбище перебивал весь поселок. Сектанты этому не препятствовали, и в «Сорок втором» уже достоверно говорили о творимых возле мощей чудесах. Кто-то исцелился от застарелой хвори, к кому-то вернулся муж, стала больше молока давать корова, бойчее топтать курочек петух, заклевала веселее и пошла в сети рыба. Мир сделался похожим на картины народного умельца Ефима Честнякова. Все это можно было бы отнести на счет богатой народной фантазии, но один факт сомнения не вызывал: в «Сорок втором» не пили, не сквернословили на улице и в ларьке, не было пьяных драк и скандалов. Это был другой поселок и другая жизнь. Жители ходили чистые и нарядно одетые, вечерами играла давно позабытая гармошка и слышались песни, за которыми безуспешно охотились в иные времена фольклористы. Дети не пропускали занятий, делали все уроки и получали «пятерки». При этом никто не задавал Илье Петровичу коварных вопросов, не смотрел на него волком. Его даже жалели за то, что он, единственный, не уверовал в прославление местной святой. В Бухару снова, как в былые времена, потянулись профессиональные паломники, странники и калики перехожие, оказалось, не вымершие, а все это время прятавшиеся в недрах каторжной Руси. За ними понаехали ученая братия, журналисты, философы и вездесущие правдоискатели-диссиденты, узревшие в случившемся политический протест. Деревня прогремела по всей стране. Передача о бухарском чуде прозвучала по

западным радиостанциям, о ней узнали и весьма заинтересовались в Ватикане. Ожидали реакции и московской патриархии. Однако получили совсем другое.

Вскоре в поселок прибыли молчаливые, брезгливые люди, которые вели себя, однако, так уверенно, точно для них-то никакой ни загадки, ни тайны не было. Эти люди приехали бы и раньше, не дав подпольной Руси насладиться так редко случавшимися теперь чудесами, но они имели неосторожность поверить, по обыкновению, лгущим вражьи́м голосам и облазили всю среднеазиатскую Бухару, пока выяснили, в чем дело.

Калики переходящие и диссиденты тотчас же смылись, зато приезжие опросили свидетелей, сопоставили факты и, приняв во внимание, что земля под сосною оказалась вскопана, что никак не могло быть связано с молнией, установили, что кости кто-то подкинул. Подозревали самих сектантов, но крупнейшие религиоведы, вызванные на место происшествия и рвавшие на себе волосы оттого, что не смогли лично присутствовать на редкой церемонии, сходу эту версию отменили. Позабыв о распрях, питерцы и москвичи в один голос заявили, что сектанты слишком серьезно относятся к подобным вещам и выдать чужие кости за мощи своей святой не способны.

Тем не менее приезжие выразили намерение побеседовать с самим старцем. Вассиан держался уверенно и спокойно, но, когда старший из группы попытался его запугать, между наставником и начальником состоялся довольно долгий разговор. Подробностей этого разговора никто не знал, но из кельи высокий гость вышел скоро и буркнул своим товарищам, что у старца есть бумага, нечто вроде охранной грамоты. Какая грамота, откуда у старца она могла взяться и кто ее дал, областной чин не объяснил, но выглядел необыкновенно раздраженным.

Таким образом, решили, что сделал это явно кто-то посторонний, введя непонятно зачем самих староверов в заблуждение, и при том осуществил подмену без труда, благо необрушенных людских останков по здешним лесам, вырубкам и болотам валяется немало. А капкана никакого не было и быть не могло, хотя бы потому, что в таких местах охотники капканы не ставят. Не было в самом деле и никакой молнии, а напридумал все непонятно зачем чудак директор, на которого и свалили вину. Илью Петровича даже попытались убедить приезжие, чтобы он прилюдно сознался: мол, молния ему пригрезилась, или придумал он ее, перепутав действительность с литературным творчеством.

Однако директор оказался до странности упрям и продолжал настаивать на том, что молния была, он видел ее своими глазами и нашел девочку прямо возле дерева. Люди в штатском были очень недовольны, директору пригрозили разобраться с его радиосеансами с заграницей и пообещали, что скоро он очень сильно пожалеет о своем упрямстве. Но Илья Петрович стоял на своем: молния была, чем окончательно закрепил за собой репутацию человека чудакватого, помешанного на почве научно-фантастической графомании.

Мнение народное, как это ему вообще свойственно, за один день переменялось — теперь смеялись над бабками и над собой, что во всю эту чушь поверили. Словом, все благополучно и даже как-то вдовольно разрешилось к общему удовольствию и облегчению, поскольку жить в постоянном духовном напряжении и воздержании от привычных удовольствий большинству поселчан было в тягость.

Дорожка к скитскому кладбищу с неугасимой лампадкой со стороны «Сорок второго» снова заросла. Поселок погрузился в обычную жизнь с пьянством, глухим развратом, телевидением, игрою в карты и лото, сплетнями, пересудами. Только Илья Петрович, который, казалось бы, больше всех должен был радоваться тому, что вот все и выяснилось, правда восторжествовала и религиозники посрамлены, напротив, выглядел озабоченным и хмурым, как никогда.

Те несколько месяцев, что жил «Сорок второй» иной жизнью, когда все его обитатели ощущали свою причастность к некоему чуду, к святости и этой

святости старались соответствовать, и последовавшее возвращение к обычному состоянию вещей поразили его так, как ничто в жизни не поражало. Энтузиазм Ильи Петровича враз износился, как туфли из искусственной кожи. Директор забросил телескоп, ничего не ответил обеспокоенным австралийским радиолобителям, перестал читать братьев Стругацких и писать сам. Он разочаровался и во вселили человеческого разума, и в педагогической деятельности, а самое главное — в окружающей его действительности.

Илья Петрович никогда в симпатиях к инакомыслию замечен не был, но то, что его пытались подвергнуть насилию и склонить к лжесвидетельству, оказалось последней каплей, переполнившей чашу его кротости. Долгие годы он закрывал глаза на особые очереди в поселковом магазине, на ложь и цинизм власть имущих, на бесправное положение жителей «Сорок второго», многие из которых мечтали отсюда уехать, но сделать этого не могли. Все сделалось ему отвратительно — принудительное спаивание, закабаление людей, унижение. И что ждало его учеников дальше? Промышленные города, заводы, общежития, разврат? Сколько из них вышли в люди, а сколько сидели или сидят по тюрьмам? Сколькими он, директор, мог гордиться?

Дурные были мысли, лукавые. Но грызли они Илью Петровича, лишали покоя и сна и дополняли его годами копившуюся усталость от барачных, от гула ветра, от паровозных свистков, визжания бензопил, белых летних ночей и мутных зимних дней. Усталость от этого леса, болот и комарья, от летней духоты, осенней распутицы, метелей и снегов. От жизни, где все человеческое подавляется, стоит на унижении и несправии и оканчивается похоронами на болотном погосте.

В ту осень не хотелось ему ходить на охоту, собирать клюкву и грибы — не хотелось ничего из того, что он так любил. Надоело читать и писать романы, отсылать их в редакции и получать оскорбительно-вежливые или поощрительно-грубоватые отказы. Надоело ходить в школу и учить детей тому, что никогда в жизни никому из них не пригодится.

Все чаще тянуло директора к одной отраде мыслящего интеллигента и бездумного пролетария, свободного художника и колхозного тракториста — к бутылке. Сперва смущался, когда брал в магазине, потом привык, и в поселке скоро привыкли к тому, что за несколько месяцев словно подменили директора. Хотя чему было удивляться — мало ли спивалось мужиков, а ему, одинокому, что оставалось? Но страннее и даже как-то оскорбительнее всего было то, что пил Илья Петрович не с начальством и не с путевыми мужиками, а с самым последним человеком, которого и за мужика-то не считали, — с подкаблучником Алешкой Цыгановым, и ему тоску изливало.

Алешка слушал внимательно, точно ученик на уроке. Узнав об увлечении Ильи Петровича, он выпросил несколько романов и запоем их прочитал. Наивная душа, он плохо разбирался в особенностях жанра и воспринимал буквально придуманные порывистым автором чудеса про космических пиратов и агентов служб галактической безопасности, про разные блайзеры, гравилеты и прочие штучки и был уверен наверняка, что ученые все это уже давно выдумали и все существует в природе, но знать этого не следует, как не следует, например, никому ничего знать про Огибаловский космодром. Илье Петровичу и досадно, и лестно было слушать его восторженные похвалы. Перед ним был человек, простосердечно веровавший и в мощи, и в космические полеты, никчемный, забитый малый. Но подумалось ему, что на этом душевном пьянчужке все в мире и держится, только тот не ведает.

А потом Алешка по пьяни признался, что все их разговоры наутро на бумагу записывает и отправляет в Чужгу, а за это пообещали ему по десять рублей в месяц начислять. Илья Петрович опешил сперва от такого признания и прогнать хотел простодушного Иуду. Но столько чистоты было в глазах у Алеши, что лишь рассмеялся директор и подумал: и хорошо, пусть услышит его еще кто-то — и злее прежнего, точно напоказ, костерил власть.

Стал Илья Петрович приходить на урок с похмелья, потом похмелившись, а вскоре и вовсе частенько манкировать обязанностями. Уволить его хотели, да кем заменишь? Но потом вызвал председатель и велел язык укоротить.

— З Цыгановым-то я поговорю,— сказал он серьезно.— А ось ты б, Петровычу, краще б не лопоню.

— Отсюда не пошлют.

— Послаты не пошлют, а из школы вылетиш.

— И кем замените?

— То-то й воно, що никым. На себе тоби наплюваты — про других подумай.

— От правды все равно не отступлю.

— Йой, Илля, погано ты скинчиш.

Так ушел Илья Петрович из школы. Иногда бывало встрепенется, стряхнет с себя наваждение, устыдится, а потом снова сорвется пуще прежнего и уходит в запой.

Да и пить совсем худо стало. Как раз в ту пору в далекой Москве затеяли безнадёжное дело — пьянство на Руси искоренять. Для «Сорок второго», где магазины никогда изобилием не баловали, но хоть этой одной-единственной недостаки не было, времена наступили отчаянные. Илья Петрович с забулдыгами поселковыми в очереди стоял, ругался. Тут уж никто и не считал, что ты директор, напротив, самая последняя пьянь презирала и отпихивала. Разве что иногда бабка какая-нибудь сжалится да скажет:

— Не ходи уж ты сам, Петрович, я тебе принесу.

Бабке этой кланяться в ноги приходилось, благодарить униженно. Самому противно, а куда денешься. Чего не сделаешь, чтобы забыться и забыть, кто он и что с ним, а только выйти на крылечко и смотреть на черное таежное небо, где то сияние северное вспыхнет, то непонятные вещи начнут твориться, что смущали так поначалу посельчан, пока не свалили на запуски ракет метеорологические кошмары последних лет.

— Россия, Россия, выморочный поселок, зоны, сектанты, военный космодром, мощи, чудеса, жульничество, святой старец, гэбисты, дурачок-стукач и спившийся интеллигент посреди всего — вот ты какая, Россия моя,— бормотал Илья Петрович.— А, Алеша? Ты запомнишь? Ты им передашь, не ошибешься?

А ведь какие были цели, какие планы, какие мечты! Сколько силы было, сколько злости, желания доказать, что не зверь человек, что только облик его искажен и надобно очистить его и идеал показать. Не запугивать, не адскими муками грозить и не райскими уладами приманивать, а красоту жизни раскрыть, красоту мира, тела, души человеческой — красоту всего, чего сектанты чурались и подавляли в себе. Но какая уж тут красота, если в здешнем краю не то что жить — умирать страшно. Если обречены все, как родились, и проклятие висит на всю жизнь. Только вот с тем, что Маша Цыганова пропадет и погибнет, никак не мог согласиться Илья Петрович.

Почему, думал он, любовь его затаенную, нежность назвал проходимец похотью, что преступного в ней было? Только теперь пьяный и опустившийся понимал Илья Петрович, что напрасно он ждал, когда подрастет эта девочка, которую для себя лелеял. Напрасно на других женщин не смотрел и до сих пор проходил, стыдно сказать, нецелованным.

Чистым хотел с нею, чистой, жизнь связать. А ныне какой из него жених? Укатали сивку крутые горки, не дождался своего часа. Только бабки жалеют и талоны по старой памяти несут. Он за талон готов и телевизор починить, и плитку, и дрова наколоть, и воды нанести, хотя раньше все с удовольствием за так делал. Теперь же нет — без бутылки не подступись. Да и на вид ему уж за сорок. Но все равно, что бы с ним ни было, счастья он Маше Цыгановой желал. Ведь не в семнадцать лет в скит идти грехи замаливать и себя живьем хоронить. Должна же быть где-то жизнь настоящая, детишки, муж любимый, дом, достаток. Не может быть так, чтобы вся страна номерным поселком навсегда осталась и не нашлось в ней места для этой девочки. Не удалось спасти всех — пусть хоть одну душу спасет. Но смотреть на нее, подросткую, прекрасную в ранней юности, и думать о том, что кому-то другому эта юность доста-

нется и неизвестно еще, оценит ли тот, другой, красоту ее, горько было директору.

Пил Илья Петрович тяжело, угарно, так что даже собутыльник его ломался и пощадил просил. Алешка жаловался на Шурку, на загубленную жизнь, плакал и размазывал пьяные слезы по щекам, а потом засыпал. Но Илью Петровича сон не брал — напротив, навалилась на него пьяного бессонница, и, глядя на ружье, на стене висевшее, не раз размышлял бывший директор, что ружье на то оно и ружье, чтобы в этой драме выстрелить и разом прекратить все мучения. И, быть может, в черноте дула и таится та истина, что он безуспешно искал. Все равно проку от его жизни ни для кого больше нет и уже не будет.

Глава VII. Метельные сны

Цыганиха лежала тихая и кроткая, точно чем-то напуганная. Она болела несколько месяцев, измучилась и пожелтела, но ехать в больницу на операцию не согласилась. В избу снова зачастили Божьи люди, не прекратившие сношение с Бухарой, и стали уговаривать старуху отослать дочку в скит:

— Не осмелится девка тебя послушаться! Отмолит грехи твои, Бог даст, проживешь еще десяток лет.

Шура угрозы бабок воспринимала всерьез, плакала, боялась и переживала, но отвечала, что девочка здесь ни при чем и за чужие грехи отвечать не должна. Маша этих разговоров не слыхала. Она ухаживала за почти неподвижной матерью и постоянно ловила на себе ее виноватый взгляд.

— Ты не волнуйся, Шура,— пробормотал Алеша в минуту редкого протрезвления.— Я за ей приглядывать стану и пить брошу. Замуж за хорошего человека отдам. Ты помирай спокойно, Шур.

Старуха покачала головой и, прежде чем испустить предсмертный вздох, обвела комнату уже отстраненным взглядом, наткнулась на растерянного мужа, пропившего в доме все, что можно было пропить, и сказала:

— Тебя я с собой возьму.

Он послушно кивнул. На похоронах был трезвый и страшный, а через неделю застрелился из ружья Ильи Петровича в директорском доме во время очередной попойки неразлучных друзей. Труп обнаружили не сразу — причем пока не дотронулись до хладного стукача, нельзя было догадаться, какое из двух бездыханных тел, лежавших в комнате, живое, а какое мертвое.

Переполоху в поселке было не меньше, чем во времена открытия Евстолевых мощей. Приезжала милиция, Илью Петровича допрашивали и два дня спустя после Алешиных похорон увезли под конвоем в райцентр. Там ему предъявили обвинение в преднамеренном убийстве, отягощенном алкогольным опьянением. В качестве предполагаемого мотива выдвинули месть гражданину Цыганову за то, что убитый был помощником органов государственной безопасности.

Илья Петрович ничего не отрицал. Он был готов понести наказание по всей строгости закона и хотел даже отказаться от услуг адвоката, нимало не верившего в его виновность. Адвокат этот, совсем молодой человек, закончивший Ленинградский университет и направленный в далекий район по распределению, чем-то похожий на самого Илью Петровича десятилетней давности, молодой, энергичный, решительный, уже глотнувший хмельной столичной гласности, убеждал своего подзащитного не сдаваться. Очевидно, утверждал он, что Цыганов покончил с собой в состоянии сильного алкогольного опьянения и под влиянием слов жены и если бы дело рассматривалось в обычном московском или ленинградском суде, где хотя бы внешне соблюдается законность, то ни один судья его к рассмотрению не принял бы. Он говорил, что в Питере люди выходят на улицу, борются за свои права и только здесь, в глухомани, преждем медведь — прокурор.

Илья Петрович лишь грустно кивал головой. Ему было абсолютно все равно, что его ждет. Он подписал то, что подсунили ему на следствии, и со всем согласился. Директор был осужден и вопреки протесту молодого защитника

отправлен отбывать наказание. В поселке никто не верил, что Илья Петрович убийца, но не сомневались, что оттуда он уже никогда не вернется. Когда как по команде начали ломаться осиротевшие телевизоры, где как раз в ту пору начался показ милых народному сердцу долгоиграющих фильмов, чинить технику было некому.

Потерявшая разом сразу всех заступников Маша жила одна. Все ее одноклассники, окончив школу, уехали кто в города, кто в райцентр учиться или искать работу. Ночами, оставаясь в пустой избе, она чувствовала, что мать где-то рядом, и боялась, что она придет за ней и возьмет так же, как взяла отца. За окном дул ветер, старый, давно не отремонтированный дом трясся и скрипел, и страшно было не то что на двор выйти, а просто сдвинуться с места.

Но она делала все так, будто родители не умерли, а куда-то уехали, и поддерживала дом в порядке. Весной засадила огород картошкой, летом ходила в лес и заготовляла ягоды, а потом ездила продавать их на станцию. Теперь пассажиры заглядывались не столько на товар, сколько на саму продавщицу и звали ее с собой в большие города, которые казались ей несуществующими. Постепенно в поселке привыкли к тому, что она одна, хотя и удивлялись, что никто из сестер не звал ее к себе. Много было среди старух говорено о бесстыжих цыгановских девках, бросивших младшую, хотя этот скорый деревенский суд был по-своему слишком пристрастен.

Настала зима с ее поздними, нехотя и ненадолго разгоняющими ночную мглу рассветами и стремительно наступающими сумерками. Однажды вечером Маша шла через то самое поле, где поразила ее молния и до сих пор чернела обугленная сосна, как вдруг началась метель. Дорогу быстро замело. Девушка выбилась из сил и села на снег передохнуть. Руки и ноги отяжелели, но холода она не чувствовала, только очень клонило в сон. Вдруг кто-то ее толкнул. Маша вздрогнула и увидела Шуру. Мать глядела сердито и знаками велела вставать. Девушка с трудом открыла глаза. Метель кончилась, саму ее занесло снегом, а над головой высыпали страшные и близкие звезды. Было невыносимо холодно, вставать и идти никуда не хотелось, и сама мысль о том, что придется стряхивать с себя снег и блаженное оцепенение, ее ужаснула. Она снова закрыла глаза — точно так же, как делала иногда по утрам, когда Цыганиха ее поднимала и заставляла идти в хлев.

— Вставай, кому говорю! — повторила мать. — Вставай и уезжай к Катке.

— Нужна я ей! — пробормотала Маша, отводя глаза и вспоминая самую хитрую и настырную из своих сестер, устроившуюся на зависть другим в Ленинграде продавщицей и с чувством искреннего превосходства рассказывавшую о городской квартире и шикарной столичной жизни.

— Не поможет — прокляну! — сказала Шура разгневанно.

Маша разлепила глаза, завывала, кое-как выбралась из сугроба и поползла. Лаяли на деревне собаки, и мерцали через снег и ветер огоньки, никому нужды не было выходить в этот поздний час из дому.

Однако ж случилось так, что по занесенному снегом полю, где не было видно ни зги, шел припоздальный путник. Он шел, с трудом волоча ноги и выбиваясь из сил, казалось, сам не веря тому, что может идти вот так, не сопровождаемый слева и справа конвоем. Одному Богу было ведомо, откуда он взялся, — никто не ждал его ни здесь, ни в каком другом месте. Он умер, перестал существовать для всех людей, которые его знали, и для себя самого, и теперь ему странно было, что, оказывается, жизнь еще не кончилась. Что-то осталось в ней невыполненным и нашептало ему не откладывать путь, не дожидаться утра, а идти и идти через ночь, чтобы в огромном поле, где не было ни дорог, ни путей, найти уснувшую ученицу, на лице которой уже не таяли снежинки.

Он принес ее домой, раздел и стал растирать спиртом, и когда открылось ему обнаженное тело уже совсем взрослой девушки, когда коснулись ее огрубевшие ладони, то в глазах у него помутилось. Казалось, не удержится истоско-

вавшийся в неволе человек, воспользуется беспомощностью своей жертвы. Но смирил себя директор и укрыл девушку шубой, положил на печку, а сам выбежал на улицу. Звезды, как сумасшедшие, горели на небе и неярко вспыхивали чередующиеся малиновые, зеленые и голубые полосы далеких всполохов. До самого утра Илья Петрович бродил по двору в одной легкой рубашке, растирая лицо снегом и унимая дрожь в теле и тоску в душе.

Глава VIII. Прощание с «Сорок вторым»

В поселке все были убеждены, что Илья Петрович бежал из заключения, и ожидали, что как только стихнет метель, за ним тотчас же приедет милиция. Покуда же выходить на улицу опасались: кто знает, что на уме у уголовника, даже если он и был совсем недавно уважаемым человеком. Однако назавтра директор явился в поссовет и показал председателю чистый паспорт.

Бывший бендеровец, не понаслышке знавший, что такое справедливость и несправедливость, репрессии, реабилитация и прочие драматические понятия века, достал из шкафа непочатую бутылку и стал жадно расспрашивать друга-охотника, почему его освободили. Директор пить не стал. Он коротко лишь сказал, что его адвокат написал жалобу в перестроечный журнал «Огонек», дело было отправлено на следствие, в результате его освободили. Больше он ничего не добавил, потому что спешил домой.

Он не отходил от больной ни на шаг. Вся деревня с недоумением взирала на восставшего из мертвых трезвого директора и ожидала того, что последует. Маша лежала в огне, звала Шуру, ничего не ела, исхудала и с трудом узнавала окружающих. Скорый деревенский вердикт был таков: не жиличка. В поселке снова вспомнили про Евстолию и про Машину святость и снова стали говорить о том, что если девочка не выживет, то начнутся в «Сорок втором» беды.

Стояли под окнами избы Божьи старухи, стучали клюкой в окна и подговаривали мужиков, чтобы те забрали отроковицу и отвели умирать или жить в Бухару. Но Илья Петрович снова сделался страшен и тверд, как в молодости, и никого в дом не допускал. Когда на улице стало слишком шумно, он вышел на крыльцо с ружьем, и вид у недавнего арестанта был настолько решительный, что старухи пугливо отступили.

Она очнулась и не сразу поняла, где находится. За столом, положив голову на руки, спал глыбистый коротко остриженный мужик. Маше сделалось неловко. Она боялась пошевелиться, но он спал чутко и повернул голову.

— Как ты себя чувствуешь?

— Хорошо.

— Послушай, Маша,— произнес он не терпящим возражений директорским голосом.— Оставаться дальше одной тебе невозможно. Я предлагаю тебе жить вместе.

Бедная девушка побледнела.

— Маша,— сказал он торопливо и жалобно, и всю спесь с него как рукой сняло,— тебе здесь все равно никого не найти. Я брошу пить. Собственно, я уже давно не пью. Если хочешь, мы отсюда уедем.

Она испуганно натянула на себя одеяло до кончиков ног и подбородка.

Илья Петрович сжал голову руками и посмотрел на нее отчаянными и полными ужаса глазами.

— Обещаю тебе, что если ты найдешь кого-нибудь себе по сердцу, то я не стану препятствовать твоему счастью,— добавил он хрипло.

— Я в Ленинград поеду, к сестре, к сестре,— сказала она, запинаясь.

— В Ленинград? Как в Ленинград? — вскрикнул директор.— Зачем?

— Мне мама велела.

— Мама?

Эта нелепая фантазия резанула и разом отрезвила его.

— Неужели я так жалок, что не заслуживаю даже правды? — сказал Илья Петрович с горечью. — Я же учил тебя когда-то, что ложь унижает человека.

И подумал, что опять сегодня напьется и будет пить до тех пор, пока не издохнет.

Три дня спустя Маша уехала, и с того момента в поселковой жизни что-то нарушилось. Поселок опустел, точно на одной девушке и держался. Лица у всех поскущели, весну встретили безрадостно, а в самом начале лета до жителей «Сорок второго» дошли известия о том, что пускать по узкоколейке поезда у обедневшей области денег нет, так что к зиме поселок закроют.

После отъезда своей возлюбленной ученицы Илья Петрович затосковал пуще прежнего, но пить снова не начал. Он словно вышел из оцепенения и, как встарь, бродил по лесам, правда, без ружья, поскольку убивать никакую живность ему не хотелось. Времени было много, и мысли текли свободно и легко, но свобода эта Илью Петровича тяготила. Он возобновил было радиосеансы с Австралией, чем весьма порадовал своих неведомых абонентов, пронаблюдал несколько запусков с Огibalова, но самое главное, что делал Илья Петрович все это время, — читал газеты. Он не читал их много месяцев и теперь с удивлением узнавал о том, как далеко зашли перемены, благодаря которым он был досрочно освобожден.

Видно, не на шутку там, в Москве, за правду взялись — то-то председатель сперва ходил шальной и встревоженный, а потом шепотом сказал, что того гляди скоро и Бендеру реабилитируют. В области, впрочем, выжидали, выступать против никто не осмеливался, но своих «архангельских мужиков» побаивались, и районная да областная газеты сильно отличались от центральных. Под недоверчивыми и настороженными взглядами людей шла борьба за новую жизнь, и в другое время Илья Петрович безучастным к ней не остался бы. Как он, пострадавший за правду, этой перестройки ждал! Как жаждала еще совсем недавно его душа обновления и очищения всей страны и ее великой, но искаженной бюрократами идеи человеческого равенства и братства! Но теперь не радость и не восторг, не желание все бросить и мчаться в Москву или устроить манифестацию в «Сорок втором» вызывали у него эти известия. Совсем о другом думал бедный директор.

Вот пройдет еще одна смена власти, уйдут одни, и придут другие, нет ничего твердого и основательного в этом мире — ложью окажется то, что считалось долгое время правдой, истлеет и повергнется непоколебимое. Рухнула, исчерпав себя, как «Сорок второй», советская система, сломалась, как и он сломался, на смену придет что-то новое и снова рухнет. Как по порочному кругу, движется много лет история большой страны, переползающей из одной лжи в другую. Но здесь, в лесной глуши, есть деревня, которой дела нет до того, что творится в непрочном и фальшивом мире.

Сколько веков прошло — ничего не переменилось в Бухаре. Непоколебима и тверда стоит деревня заветная: нет в ней убийства и воровства, нет богатых и бедных, счастливых и несчастливых — все одинаково равны перед Богом Иисусом своим.

И мнилось тогда Илье Петровичу, что-то было общее между ним и старцем Вассианом: об одном и том же пеклись они, о душах людских, — как убереечь их от зла и спасти, только старец-то, похоже, больше преуспел. И до озноба хотелось директору Бухару увидеть, а главное, с самим Вассианом потолковать. Поднимался он на холм и видел дымки над крышами, слышал, как колокол звонит, и чудилось ему — пение молитвенное слышал. Но видел он и ограду скитскую, видел послушание, нет там свободы, больно на лагерь все похоже. А только кому она нужна, свобода эта, — свобода пить или не пить, убивать или не убивать. Знает старец, как обуздать звериную человеческую натуру, как душу спасти. Постиг Илья Петрович в долгих бессонных раздумьях, что своей волей и разумом больше жить ему непотребно. Не в Бога он уверовал, но душа его послушания возжаждала — самого темного и нелепого, но чтобы не ведать больше сомнения, найти наставника и внимать тому беспрекословно. Скажет: в

пропасть прыгни — прыгнуть, руку себе отруби — отрубить. Сперва чудно казалось, как это он, современный человек, вчера еще одному идолу поклонявшийся, теперь к другому перевернется, а потом и с этой мыслью свыкся. Есть же люди, которым судьбой предназначено служить, а выбирать дано лишь самого могущественного господина, и если слово темного старца сильнее всех телевизоров и спутников оказалось, значит, этому слову и пойдет служить Илья Петрович.

Он шел по той самой дорожке, по которой однажды с лопатой пробирался к старому кладбищу, и теперь, прежде чем к скиту подойти, приблизился к Евстолевой могилке, где горела неугасимая лампада. Что-то шевельнулось в его душе, захотелось встать на колени и помолиться, пока никто не видит. Он знал, что это его духовное поражение, что в этот миг сжигал и предавал он все, чему поклонялся, а новой веры так и не обрел, но ослаб Илья Петрович и нуждался в духовной поддержке, какую не могли ему дать ни охота, ни журнал «Огонек».

Директор перешел по лавам через Пустую и постучался в скитские ворота, откуда в самом начале педагогической деятельности с позором и угрозами его изгнали. Ему отворил келарь. Он был, наверное, в два раза ниже директора ростом, но директор этого превосходства не ощутил: стоявший в воротах угрюмый эконоом казался похожим на перевозчика душ Харона.

— Чего тебе? — спросил он, ощупывая директора маленькими острыми глазами.

— Мне бы Вассиана повидать, — сказал Илья Петрович робко.

— На что он тебе?

— Нужно очень поговорить.

— Некогда старцу с тобой празднословить.

— В скиту я хочу жить! — бухнул Илья Петрович отчаянно, только бы не закрывалась эта дверь.

— Обожди.

Ворота захлопнулись, и директор остался под мокрым снегом. Он стоял так больше часа, терпеливо ждал и знал, что его намеренно унижают и торжествуют свою победу те, с кем он так безрассудно и упорно когда-то воевал. Но он все равно стоял и ждал и был готов стоять целую вечность, только бы пустили его туда, где он будет избавлен от тяжелой обязанности самому думать и решать.

Воротца распахнулись, и келарь произнес:

— Велено тебе передать, что принять тебя покуда не могут.

— А когда же? — растерянно спросил Илья Петрович, и сделалось ему еще страшнее, чем в тот день, когда Маша сказала, что в Ленинград уезжает.

— Когда приведешь в скит отроковицу, — молвил Харон. — И запомни: она должна быть чиста.

Высоко в небе зажглись огни — сперва показалось, что всполохи, но, приглядевшись, увидел распадающийся след ракеты, и, хоть знал, что ракета — творение рук человеческих, стало Илье Петровичу жутковато и подумалось совсем некстати: несправедное это дело — человеку на небо лезть.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ТЕМНЫЕ ЛЮДИ

Глава I. Проклятый дом

В Ленинграде в дальней части Грибоедовского канала стоял ничем не примечательный четырехэтажный доходный дом с колодцем-двором. Был он построен незадолго до Крымской кампании, и населяли его многосемейные чиновники, отставные артиллерийские офицеры, студенты, неудавшиеся литераторы

и барышни-курсистки; в нем устраивались первые коммуны, и начитавшиеся прогрессивных романов молодые люди пытались изменить человеческую природу путем искоренения пагубной страсти к наживе и частной собственности. Помнил дом освобождения крестьян и убийство благословенного государя Александра Николаевича, помнил последние спокойные и безмятежные десятилетия дряхлой империи, когда, казалось, ничто не сможет поколебать ее величия и только кучка убогих заговорщиков вынашивала сумасбродные планы.

Дом и окрестность были всегда убранными и чистыми — дворники его холили и лелеяли, громадные, бородатые, с медными бляхами, трезвые или пьяные, они прилежно выполняли свою работу. Они любили порядок и потому терпеть не могли студентов и революционеров, и докладывали о всех подозрительных жильцах полицейскому приставу, спасая тем самым империю от преждевременного развала. Но империя и своих полицейских, и доносчиков-дворников презирала. Она жила беспечно, как будто ей была отведена еще тысяча лет, а между тем под сонной поверхностью величаво несомой воды, под сенью ее успехов, тысяч километров железных дорог, мостов через сибирские реки и полумирового владычества таилась своя причудливая и напряженная жизнь, быть может, лучше всех покушений и революционной пропаганды свидетельствующая о непрочности государственного фундамента.

То была тайная жизнь *темных*, как их именовали на Руси, людей.

Незадолго до наступления великой смуты в доме на Обводном канале поселились сектанты-скопцы. Были они весьма скрытны, допускали в свои ряды неопитов не сразу и не сразу объявляли об истинных целях общины, а лишь тогда, когда убеждались, что человек в достаточной мере им предан и от них зависит. Среди этих скопцов были люди разные: знатные и простолюдины, образованные и неграмотные, были не только мужчины, но и женщины, которых тоже на свой манер оскопляли, и все они теряли различие и становились равными, когда вступали в секту, связанные чем-то более важным, чем богатство или бедность, знатность или незнатность. Где-то в недрах этого дома происходила операция, которую обыкновенному человеку без ужаса и представить было невозможно и на которую тем не менее добровольно соглашались здоровые и крепкие мужчины, отсекая не только уды, но и собственную жизнь от прочего христианского и нехристианского люда.

«Белые голуби» были фантастически богаты: иного смысла, чем копить деньги и отдавать их в общину, у них не было. Ни подкуп, ни обман, ни шантаж — ничто не могло источить их стойкую натуру. Те деньги, которыми они располагали, были нужны им для того, чтобы раздавать взятки и расширять секту, ибо бытовало среди них убеждение, что когда число «убеленных» достигнет 144 тысяч, то наступит тысячелетнее царство верховного скопца императора Петра Третьего. А до той поры они собирались на радения и устраивали неистовые пляски и песнопения. Иногда на их радениях творились и вовсе жуткие вещи вроде причащения живым телом скопческой богородицы, когда у обнаженной девственницы отсекали левую грудь, резали на мелкие кусочки и вместе с кровью раздавали братии.

Скопцов преследовала полиция, с ними боролась церковь, их изгоняли в одном месте, но они появлялись в другом. Этим они были близки заговорщикам-революционерам, и подобно бобрам с двух сторон и те и другие много лет подтачивали древо российской государственности, пока наконец не завалили его.

Однако, рухнув, древо самих же скопцов и придавило.

Вслед за белыми офицерами, дворянами, священниками и монахами новая власть взялась и за «белых голубей» и извела эту породу на корню, напирая главным образом на их капиталистическую сущность. Несколько лет спустя после октябрьского переворота начались шумные процессы над сектантами, они были сосланы, как и при царе-батюшке, с глаз долой в Сибирь, а дом наполнила новая публика: красные командиры и красные профессора, инженеры, партийные работники среднего звена, газетчики и энергичные совслужащие. Все они были чем-то неумовимо друг на друга похожи, как будто тоже принад-

лежали к одной тайной секте, и все задержались в доме недолго. Один за другим они сгнули в чистках тридцатых годов, и всех провожал в последний путь к зарешеченному «воронку» переживший все перемены курса и изгибы генеральной линии старый, дореволюционный дворник. Он привык служить той власти, что стояла на дворе, и по-прежнему терпеть не мог смутьянов, умников, болтунов и революционеров.

Прошли годы пятилеток, героических перелетов через Северный полюс и шахматных турниров, страна присоединяла к себе новые земли и покрывалась сетью каналов и железных дорог. Снова воевала и побеждала, не задумываясь о той цене, которую за эту победу платит, и нужно ли ей иметь столько неблагодарных сателлитов. Опустел измороженный блокадой петербургский дом, и четыре года войны были единственными, когда некому было чистить улицу и ее заметал зимой снег.

Но вот кончилась война, старый дворник вернулся на Грибоедовский канал и снова взял в руки метлу. А в доме поселились крестьяне из соседних областей, приехавшие восстанавливать полуразрушенный Ленинград и наполнять его взамен тех, кто был принесен в жертву кровавой легенде о мужественном городе-герое. В новых жильцах не было петербургской культуры, они повсюду сорили, лузгали семечки, и дом стал напоминать деревню, где слышалась ярославская, вологодская и архангельская речь. Здесь оставляли открытыми двери, старухи присматривали за детьми, звали друг друга в гости и с тоской вспоминали огороды, скотину и приволье деревенской жизни, скоро позабыв выгнавшие их из колхозов голод и нужду. И только старик дворник ни с кем не знался. По-прежнему каждый день с раннего утра он чистил двор и прилежащую к нему улицу, держался надменно и неприступно, так что все в доме его чуть-чуть побаивались.

Дворник был вдовцом. Жена его в блокаду померла, и он жил вдвоем с тринадцатилетней дочерью. Она была необыкновенно хороша, со всеми приветлива и всегда весела, радовала окружающих, и во дворе говорили о том, как повезло старику, что у него такая дочурка. Полагали, что именно из любви к ней он не приводит в дом мачеху. Больше всего девочка любила лазить по чердакам, играть там в куклы и смотреть на крыши старых домов. На эти чердаки редко кто поднимался, и она пропадала там с утра до вечера, ничего не боясь и спускаясь только поесть.

Во двор редко заходили чужие люди. Но однажды мимо дома проезжала машина, в которой сидел на заднем сиденье хорошо одетый молодой человек. Он обладал довольно приятной наружностью, хотя в глазах его было что-то незойливое. Случайно взгляд его упал на девочку, раскачивавшуюся на качелях. Ветер раздувал ее волосы и легкое платьице, открывая крепкие загорелые ноги и исцарапанные коленки. Незнакомец велел шоферу остановиться и стал пристально разглядывать девочку. Почувствовав его неподвижный взгляд, она легко соскочила с качелей и вбежала в подъезд. Молодой человек последовал за нею.

Никто не видел его и никто не слышал придушенного крика, раздавшегося на чердаке. Однако случилось так, что хранивший там инструмент дворник в тот час поднялся за новой метлой. Он пришел в тот момент, когда его полураздетая дочь в беспомощности лежала на детском одеяльце с раскиданными вокруг куклами, а белесый мужчина торопливо приводил себя в порядок. Одним прыжком дворник повалил его на землю. Насильник не сопротивлялся — он уговаривал старика взять у него деньги или же отвести его в милицию, но дворник не собирался делать ни того, ни другого.

Жуткий, леденящий крик услышали, кажется, все жильцы и бросились наверх. Полуодетый молодой человек лежал без чувств в луже крови. Вызвали «Скорую помощь» и милицию, но в самый разгар расправы, когда милиция с трудом удерживала людей от того, чтобы они закончили скорый самосуд, во двор вошел обеспокоенный шофер. Он тихо что-то сказал милиционерам, и ли-

ца у тех переменялись. Молодого человека погрузили в «Скорую помощь», а дворника усадили в «воронок».

Обитатели дома жадно обсуждали, что произошло. Ожидали, что дворника выпустят, однако он больше не вернулся. Возмущенные жильцы собирали подписи и пробовали протестовать, но, когда петиция попала в районный суд, им велели немедленно обо всем забыть.

Так остался без дворника дом, и в последующие годы кто только не убирал улицу и двор — ленивые студенты, ищущие смысла жизни и бросившие нормальную работу интеллигенты, непризнанные художники и признанные поэты. Они работали все недолго — увольнялись сами, или их увольняло начальство. Летом двор был грязен, зимой скользко. Жильцы проклинали пьющих чистильщиков и ходили жаловаться в жэк. Но все было напрасно — секрет прошлого был навсегда утрачен. Эти люди стремились не к порядку, а к тому, чтобы этот порядок развалить, начав с дома и закончив страной. И так продолжалось до тех пор, пока в дворницкой не поселилась крепкая горластая баба, приехавшая с Севера. Высот прежней династии она не достигла, но все же поддерживала двор в более или менее сносном состоянии.

В этот дом и пришла однажды ближе к вечеру светленькая невысокая девушка с большими растерянными глазами, и сидевшие на лавке памятливые старушки вздрогнули: приезжая была необыкновенно похожа на жертву насильника, без вести пропавшую в одном из детских домов.

Глава II. Голодные дни

В телогрейке, повязанная платком Катерина рубила лед здоровенным ломом, к которому был внизу припаян топор. Лицо у нее было усталое и злое. Она совсем не походила на нарядную, довольную дамочку, приезжавшую летом на похороны и бахвалившуюся шикарнейшей жизнью и должностью продавщицы Гостиного двора.

— Что приехала-то? — буркнула она, не переставая широко взмахивать руками, и лицо ее сделалось еще более хмурым.

— Мне мама велела.

— Когда это она успела?

— Когда... умирала, — запнулась Маша. Она не хотела ничего рассказывать про вечер в метельном поле, да и к тому же здесь, в огромном городе, где домов было больше, чем деревьев в лесу, это казалось невозможным.

— Стало быть, она думала, что я тебе вместо матери стану? Нет уж, у меня своих забот полон рот. Нашли крайнюю! Вечно она на меня все сваливала: Катька, пойди туда, Катька, сделай то, — вот где вы все у меня сидите!

Лом яростно крошил лед, лед раскалывался на мелкие куски и, как осколки злого зеркала из андерсеновской сказки, летел в глаза и лица прохожих.

— Я пойду тогда? — сказала Маша покладисто.

Она так устала за сегодняшний день, что больше всего ей хотелось присесть на лавке и заснуть сном, который зачем-то прервала покойница.

— Куда ты пойдешь? — закричала сестра еще злее, и на лице у нее выступили красные пятна.

Они поднялись на четвертый этаж и оказались в заставленном коробками, ящиками и колясками коридоре. Комната Катерины была третья слева. В углу стояла кровать, рядом с ней тахта, на которой лежал небритый толстогубый мужик и курил, стряхивая пепел в консервную банку. Пахло молоком, детской мочой, перегаром, и после пустынной, просторной и чистой избы комната показалась Маше еще более жуткой, чем вонючий общий вагон.

Ребенок в кровати надрывался, но лежавший на тахте губан не обращал на его ор никакого внимания. Точно так же равнодушно он скользнул по деревянной раковине.

— Ну, — сказала сестра, горько усмехнувшись, — где жить станешь? Думаешь, нужна ты здесь кому-нибудь?

— Мне мама велела.

— Мама ей велела! Да что ты врешь? Ничего она тебе не велела! Выдумала ты все. Ну вставай же, чего разлежся? — Она повернулась к мужу, раздраженно стукнула ладонью по столу, смахнула таракана, и так же раздраженно зазвенели тусклые стаканы.

Муж нехотя встал и пошел на кухню. Катерина взяла на руки ребенка и стала его успокаивать, расхаживая по комнате и ногами пиная валявшиеся на полу вещи.

— Надоело все! Надоело! Хоть в петлю лезь! Квартиру еще два года назад обещали! Мужик метро строит, провались оно пропадом, здоровье на этом все потерял, я... ты помнишь, сколько мне лет?

Маша стояла в дверях и не смела шагу ступить.

— Ну что стоишь? Проходи, ищи себе место. Принесло же тебя на мою голову!

— Я тебе помогать стану.

— Да какая от тебя помощь!

На работу ее не взяли: пока восемнадцать не исполнилось, по лимиту нельзя. Жила у сестры, была у нее и за кухарку, и за няньку, и за уборщицу. Спала на матрасе прямо на полу и первая подбегала к племяннице, когда та просыпалась и плакала. За эти месяцы она немного отошла от одиночества и сумела сделаться в доме сестры полезной. Катерина дала ей кое-что из старой одежды, Маша округлилась, похорошела, на глазах расцвела и день ото дня все больше напоминала молодую красавицу Шуру.

— Ничего, Машка,— сказала сестра, будучи в добродушном расположении,— пойдешь осенью в училище, дадут тебе койку в общежитии, может, и приживешься.

Но однажды утром девушка проснулась от того, что почувствовала нечистое дыхание возле лица. Маша открыла глаза и увидела Катеринино лицо. Его пухлые губы шевелились и причмокивали, как у младенца, а в глазах застыло сладенькое, гадливое выражение. Она отчаянно заverteлась и хотела закричать, но мужчина закрыл ей рот сильной рукой. Катерины не было, и только маленькая девчужка с толстыми, как у папаши, губами глядела на возню двух взрослых из кровати, а потом вдруг заплакала.

— Не ори! — сказал губан, не оборачиваясь.

Девчонка заплакала еще сильнее.

— Скажи ей, чтоб не орала!

Он на мгновение повернулся и ослабил хватку. Маша вырвалась и отскочила к окну.

— Не подходи — закричу!

— Да ты целка, что ли?

— Уходи!

— Дура гребаная,— произнес губастый разочарованно.— Она же тебя первая отсюда вышвырнет. Ну что недотрогу из себя строить? Не я, так кто-нибудь другой. Уж лучше по-родственному.

Она рванула раму и вскочила на подоконник.

— Ты на что рассчитываешь? Мы тебя здесь долго терпеть будем? Или в самом деле в ПТУ пойдешь и в общежитии девчонкой тихой жить станешь? Через год подстилкой вокзальной будешь!

Катерина поняла по лицу сестры, что случилось.

— Кобель,— заплакала она и от этих слез стала еще старше и некрасивее,— выгнала бы его давно, да куда? Беременная я. Вот он и лезет к тебе.

Она обняла Машу.

— Да плюнь ты на него!

Но то хрупкое равновесие, в котором пребывала жизнь двух сестер, нарушилось. Младшая ощутила на себе тяжелый взгляд старшей и поймала в нем что-то осуждающее, неприязненное — точно была виновата одним лишь фактом своего существования.

— Поеду я, Катя.

— Ну как знаешь,— сказала Катерина и, порывшись в столе, протянула двадцать пять рублей.

Этих денег хватило чуть больше, чем на месяц. Маша растягивала их как могла, но снедаемая скукой, голодом, бездомностью и отчаянием, покупала себе в утешение то мороженое, то булочку. Уезжать домой было не на что, да и не хотелось. Странно было представить, что всю жизнь она жила в поселке, где темные старухи верят в призраков, а покойники приходят с того света и губят или спасают живущих.

За этот месяц она успела немного привыкнуть к Ленинграду. Ночевала на Московском вокзале, а с утра отправлялась бродить по улицам и паркам, бездумно разглядывая высокие дома, витрины, лица, вечерами поднимаясь на цыпочки и воровато подглядывая в окна низких первых этажей, где за ситцевыми занавесками протекала чужая жизнь. Единственное, от чего она страдала, была грязь, и Маша взяла себе за правило ходить через день в баню или душевой павильон. С ней пробовали заговорить на улице неприятные мужчины, напоминавшие Катеринино мужа, звали в ресторан, но она ускользала от них и продолжала идти, точно что-то искала.

Иногда она ходила в кино и проводила в полупустых маленьких залах по несколько часов: Фильмы волновали ее ум и сердце, заполняя отсутствие знакомых и друзей и заменяя все иные житейские забавы и заботы. В «Сорок втором» кино крутили нечасто и обычно привозили фильмы очень старые. Телевизора в цыгановском доме не было, и теперь Маша сторицей восполняла все, что не успела получить в детстве. Она переживала за судьбы красивых женщин, влюбленных мужчин, благородных стариков и детей, смеясь и плача, забывая о своем бедственном положении и о том, что ждет ее впереди. Судьба какой-нибудь итальянской проститутки, французской маркизы-авантюристки, любовь вокзальной официантки и попавшего в беду композитора волновали ее куда больше, чем собственная жизнь, и она огорчалась, когда вспыхивал в зале свет, стучали сиденья и зрители направлялись к выходу. Хотелось обыкновенной жизни, дома, уюта и тепла, но вместо этого приходилось идти на опустылевший вокзал и пораньше занимать место.

Потом денег не стало хватать ни на кино, ни на еду, ни даже на павильон. У нее появилась привычка, блуждая по улицам, глядеть не на окружающий мир, а себе под ноги в надежде, что попадетя пятак и удастся купить рогалик или четвертинку черного. Однако такое случалось редко, чаще приходилось отправляться на вокзал с голодным желудком. От голода ее шатало: когда она закрывала глаза, снился хлеб и всплывали кадры из кинофильмов, где герои что-нибудь едят. А днем она не могла удержаться и пройти мимо продуктовых магазинов, столовых и булочных, манивших ее теперь больше, чем самый прекрасный фильм. Хлеб лежал рядом — стоило только протянуть руку. Однажды она не выдержала и в булочной на Кировском проспекте стащила четвертинку черного.

Куски застревали в горле, все дрожало у нее внутри; наконец весь хлеб был съеден, но сытости она не почувствовала. Девушка поднялась со скамейки и услышала над ухом приятный голос:

— В следующий раз, когда украдешь, тебя поймают и отправят в милицию.

Хорошо одетый мужчина с пышной русой бородой бесцеремонно разглядывал ее стоптанную обувь, линялое платье и красивое лицо.

— В лучшем случае просто предупредят и вышлют,— продолжил незнакомец.— В худшем — посадят в тюрьму.

Она опустила голову.

— Где ты живешь?

— На вокзале.

— Давно?

— Месяц.

— Хорошо,— кивнул он,— сейчас ты поедешь со мною.

Маша попятилась.

— Не бойся. Ничего дурного я тебе не сделаю. Просто покормлю.

Возле красивого двухэтажного особняка машина остановилась.

— Это мой дом. Я здесь живу и работаю.

В большой запыленной зале в беспорядке валялись гипсовые статуи и бюсты. Тут же были разбросаны пустые пыльные бутылки, пачки сигарет, окурки. Не обращая внимания на беспорядок, хозяин привел свою гостью в небольшую комнатку, примыкавшую к зале, открыл холодильник и достал кусок копченой свинины. Себе он налил рюмку водки, выпил, и в глазах у него появилось обычное выражение довольного жизнью человека.

— Что ж, давай знакомиться. Фамилия моя Колдаев. Она вряд ли тебе что-либо скажет, хотя я по-своему человек известный. Особенно среди покойников.

Маша вздрогнула, а он весело и легко засмеялся.

— Я скульптор и делаю могильные памятники. Скажи мне, как тебя зовут, и больше о себе можешь ничего не рассказывать.

Затем налил другую рюмку.

— Выпей-ка, Маша.

Девушка с ужасом поглядела в рюмку, но, чувствуя свою зависимость от этого жизнерадостного человека, глотнула, и резкий вкус жидкости показался ей неожиданно приятным.

— Хорошо?

Он довольно захохотал и снова подлил.

— Хочешь поработать натурщицей?

— Как это?

— Ну что-то вроде артистки. У тебя интересное тело. Разденься, я хочу тебя сфотографировать.

— Нет.— Она встала и попятилась.

Веселость на его лице исчезла, и глаза стали решительными и жесткими, как если бы он договаривался с клиентами об оплате.

— Ну-ка сядь! Если ты не хочешь, чтобы я отвел тебя в милицию, ты будешь делать все, что я скажу. Раздеться можно за ширмой. И не вздумай ничего красть: перед тем, как ты уйдешь, я тебя обыщу.

Глава III. Гроссмейстер Великой Лужи

Несколько часов спустя, не помня себя от ужаса и стыда, Маша выбежала из мастерской, а Колдаев стал проявлять пленку. Обычно он откладывал эту канительную процедуру на следующий день, но теперь, в предвкушении удачи, ему не терпелось посмотреть, что получилось, и проверить, не ошибся ли он, подобрав на улице стеснительную воровку. Когда на пленке проступили ее черты, фотограф восторженно присвистнул.

На него глядела нежная девушка с тонким гибким телом и беззащитными глазами. Линии ее тела, ноги, руки, бедра, плечи, спина — все было так прекрасно, так тепло и совершенно, как не может выглядеть ни одна фотомоделль. Именно поэтому скульптор никогда не пользовался услугами профессионалов и находил девушек где угодно — на улицах, на выставках, в театрах — и редко ошибался: отсутствие опыта, неумение двигаться и позировать перед объективом искуплялось откровенностью и достоверностью. Колдаев то увеличивал, то уменьшал изображение, делал пробные снимки, сравнивал их, подбирая так, чтобы создавалось ощущение движения женского тела.

Он с волнением вспоминал, как заставлял воровку принимать разные позы, ложиться на спину и на бок, садиться на корточки, поднимать руки, наклоняться, распускать и закалывать волосы, чтобы выгоднее подчеркнуть линии и изгибы.

Вероятно, она испытывала сильное страдание, когда делала все, что он велел. Но на снимках это страдание преобразалось в пронзительное, трогательное выражение. Для него это был совершенно неожиданный случай: никогда прежде ему не приходилось принуждать женщин к позированию перед объективом — обычно даже стеснительные раскрепощались, входили во вкус, и это

придавало их глазам и лицам невероятно привлекательное выражение. Оно томил и волновало кровь художника и возбуждало самих женщин, так что обычно подобные сеансы по обоюдному влечению заканчивались в постели. Но в этот раз все получилось иначе: к этой странной девочке Колдаев прикоснуться не решился и теперь об этом жалел, как жалел и о том, что фотографии быстро кончились.

Колдаевская коллекция «ню» была хорошо известна в определенном питерском кругу. На ее просмотр собиралась обычно тщательно подобранная публика, здесь можно было встретить самых разных и неожиданных людей, объединенных страстью к женской наготы. Одни находили в этом эстетическое удовольствие, другие черпали источник чувственного наслаждения, третьи компенсировали неудовлетворенную подростковую страсть к подсматриванию в дырочки и щелки, а более пожилые предавались воспоминаниям молодости. Эти люди представляли собой что-то вроде элитарного клуба, попасть в который можно было только по рекомендации и обладая определенным общественным положением. Здесь все были свои, и сборы отдавали легким душком свободомыслия, шаловливого вызова похожей на скучную классную даму одряхлевшей системе. Они называли себя Орденом эротоманов, и каждый из них имел свой титул. Колдаев был Великим гроссмейстером.

Просторный двухэтажный особняк, доставшийся ему за увековечивание памяти старых большевиков, а в печальной перспективе и их нынешних наследников, был идеально приспособлен для целей Ордена. Дом вмещал несколько павильонов, множество подсобных помещений, сзади к нему примыкал уютный закрытый садик, где можно было проводить съемку на пленэре, но главной гордостью хозяина была выстроенная в подвале по его собственному проекту сауна с большой купальной. В одну из стенок сауны встроили тайное окошко, откуда можно было вести съемку тех посетительниц, которые добровольно на нее не соглашались, ибо имена молодых актрис были слишком хорошо всем известны. Устав ложи предусматривал ужасные кары для тех, кто рискнул бы выдать их тайну, равно как и имена самих братьев. Но никто, кроме самого гроссмейстера Колдаева, не знал о том, что в нескольких местах в гостиной были вмонтированы микрофоны, и коллеги тех скромных молодых людей, которые настойчиво просили таежного директора отречься от истины в интересах общего дела, а потом улекли его в тюрьму, были в курсе всех бесед. Помимо этого, бесцеремонные люди просматривали все новые поступления колдаевской коллекции и кое-какие фотографии отбирали для себя.

Гроссмейстер мог только догадываться, зачем они это делают и сколько проклятий выливалось на его голову, когда ни о чем не подозревающих фотомоделей шантажировали и заставляли оказывать родному ведомству услуги в постелях иностранных туристов, журналистов и бизнесменов. Но поделаться с этим он ничего не мог. Его вынудили согласиться на установку микрофонов и передачу фотографий, пригрозив в противном случае привлечь к уголовной ответственности за распространение порнографии. Скульптор сильно переживал, но, к счастью, скоро началась перестройка, о его мучителях стали писать черт знает что в газетах, за снимками больше никто не приходил, и он решил, что всякое наблюдение за ним снято.

Ему нравилась роль хозяина салона, он находил среди гостей клиентов и потребителей своей конечной продукции, что давало немало поводов для кладбищенских шуток. Иногда наиболее падкие зрители просили его познакомить с той или иной барышней или продать фотографии, но ничего подобного принципиальный скульптор никогда не делал. Он не соглашался смешивать высокое ремесло со сводничеством и лишь себе одному позволял удовольствие плоти, в душе презирая своих гостей.

Однако был среди посетителей колдаевского вернисажа один необычный человек. Фамилия его была Люппо, а звали Борисом Филипповичем. Колдаев обычно покупал у него старинные иконы, причем без всякого риска нарваться на подделку и по достаточно разумной цене. Скульптор высоко ценил его вкус

и, хотя Борис Филиппович не принадлежал к Орденом, показывал ему обычно все новые работы, прежде чем представить их на общее обозрение. Соблазнительные формы женского тела никогда не подавляли у Люппо острого эстетического чувства. Его суждения были точны и оценки верны, как у евнуха, принимающего в гарем новую девушку. Во многом благодаря Борису Филипповичу колдаевская коллекция имела такую высокую репутацию среди ревнителей женской красоты.

На сей раз, приценившись к иконе семнадцатого века, Колдаев стал угощать своего эксперта новым поступлением.

— Откуда это у вас? — спросил Люппо, бросив быстрый взгляд на фотографию, и у него непроизвольно задержалось левое веко.

— Что, хороша? — Колдаев довольно засмеялся: поразить взыскательного Бориса Филипповича своими творениями ему еще не удавалось ни разу. — Вы посмотрите, какое потрясающее и искреннее выражение стыда в глазах и какое нежное тело! Сколько я ни просил других девушек изображать смущение, у них не получалось. Все равно чувствовалась фальшь. А здесь все настоящее. Представьте себе — воровка с Московского вокзала, а глаза — как у святой!

— Она действительно святая, — сказал Люппо очень серьезно.

— Вы ее знаете? — удивился скульптор.

— Она хотела, чтобы вы ее фотографировали?

— Кажется, на сей счет у нее имелись предрассудки.

— Фотографирование обнаженной женщины против ее воли похоже на изнасилование. Но то, что сделали вы, называется святотатством.

— Борис Филиппыч, вы меня не пугайте. Святые воровством не занимаются.

— Откуда вам знать, чем занимаются святые? Голодному воровать не грех. Грех на этом наживаться.

— Может быть, вы и правы, — примиряюще сказал ваятель. — Но пусть мою коллекцию грешниц украсит хоть одна праведница.

— Вот что, продайте мне эти фотографии и негативы, — даже не улыбнулся Люппо.

— Я не продаю свои работы. — Скульптор слегка покраснел.

— Я вам хорошо заплачу.

— Деньги меня не интересуют.

— Я поменяю их на любую икону.

— Это становится интересным. Зачем вам фотографии?

— Тогда не хочу, чтобы вы их кому-нибудь показывали.

— Ценю вашу щепетильность. И все же мой ответ — нет.

— В таком случае я буду вынужден прекратить наше знакомство.

Колдаев убрал фотографии в пакет.

— Что ж, если дело так серьезно, то даю вам честное слово, что никому их не покажу. Вас это устроит?

— Я бы предпочел иметь снимки при себе.

— Я и так вам много уступил. Что будете пить?

— Сок.

Хозяин пожал плечами, открыл бар и достал бутылку.

— Знаете, Борис Филиппыч, — сказал он, цепляя на кончик вилки соленый рыжик, — сколько лет мы с вами знакомы, я ничего не могу понять. Станный вы, ей-богу, человек. Я вас иногда даже боюсь. Вина вы не пьете, в хорошей еде толка не понимаете, женщинами не интересуетесь, наркотики не употребляете, к деньгам и дорогим вещам равнодушны. Разве что табак любите, но, согласитесь, для полнокровной жизни этого мало.

Люппо поморщился.

— Что вы понимаете в полнокровной жизни?

— Да мне как-то жаловаться не приходится. Во всяком случае, удовольствий хватает.

— Для художника признание убогое. Хотя в ваших устах оно меня не удивляет.

— Вы хотите меня оскорбить?

Борис Филиппович достал трубочку.

— Вы никогда не задумывались о том, почему в той же живописи, архитектуре или литературе нет ничего близкого к уровню средневековья или Возрождения? Ни одного из художников нашего времени рядом нельзя поставить с Леонардо или Микеланджело. Ни одно современное здание не сравнится с храмом Покрова на Нерли, ни один писатель — с Шекспиром.

— И почему же? — спросил Колдаев насмешливо. Его всегда забавляло, когда он слышал дилетантские рассуждения об искусстве.

— Людская порода измельчала. Чем больше нас становится, тем меньше удельного веса таланта выпадает на долю каждой человеческой особи. И вот результат: Модный фотограф спекулирует женским телом, успешливый скульптор наживается на человеческом несчастье только ради того, чтобы получить как можно больше удовольствия.

— Ну и что?

— Удовольствие — слишком примитивная вещь, чтобы делать его своей целью. Наслаждение от женского тела обычно преувеличивают, алкоголь и наркотики просто затупляют ощущения, обладание дорогими вещами лишает людей воли. Хотя большинство сейчас именно к этому и стремится.

— Не понимаю, что в этом плохого? — повторил скульптор, скрывая досаду.

— Вам сорок лет, и вы не создали до сих пор ничего стоящего. И никогда не создадите. Ваш потолок — потакать инстинктам похотливых самцов.

— Вы забываетесь!

— Я намеренно вас оскорбляю, потому что вы оскорбили меня, и даю вам понять, насколько это оскорбление сильно. Неужели же вам мало разнuzданных девок, что вы силком заставили сниматься эту несчастную?

— Если вы такой чистый, зачем тогда сюда приходите, да еще советы мне даете?

— Я хочу вам помочь, — ответил Борис Филиппович очень серьезно. — Ваша душа грязна, но не мертва. Вам была послана святая отроковица. Послана для того, чтобы вас остановить. Но вы этого не поняли и осквернили ее образ.

— Ну вот что, — сказал Колдаев, зевнув, — мне эта мистика порядком надоела. Я предлагаю вам пари. Я вылеплю вашу святую в обнаженном виде, и поверьте мне: моя работа ничем не уступит Микеланджело. Если я выиграю, то сделаю с этими фотографиями все, что захочу, если проиграю — отдам вам.

— Вы только зря потратите время.

Гроссмейстер налил еще водки и подумал о том, что зависть — один из отвратительнейших пороков, хотя до этой встречи он менее всего был склонен подозревать в зависти Бориса Филипповича. И еще пожалел о том, что связал себя словом и не сможет никому показать новые работы. Но идея вылепить обнаженную воровку неожиданно его захватила.

Глава IV. Скульптурный гамбит

Вечером Колдаев поехал на Московский вокзал. Там было шумно илюдно, торопливо проходили нарядные мужчины и женщины с добротными дорожными сумками и чемоданами, слышалась иностранная речь, и раздавался смех. Но, когда все дорогие поезда, которыми ездил в Москву обычно и он, ушли, залы ожидания наполнились совсем другой публикой. Бледные, худо одетые, утомленные его соотечественники сидели на лавках, уронив головы. Колдаев бродил по вокзалу час, другой, третий, пока не зарябило в глазах, и это бесцельное блуждание настроило его на философский лад.

«До чего же отвратительное место! — подумал он, продираясь между чемоданами и спящими на полу людьми. — И почему они так живут, почему терпят и сколько станут терпеть еще?» Безумные многочасовые очереди в кассы

и в буфет, женщины в очереди в туалет, женщины на его фотографиях — унижение и красота, как все здесь переплелось. Потом они поедут в переполненных общих вагонах, с детьми. Запах колбасы, чеснока, соленых огурцов, крутые яйца на газетке. Сколько дней они так живут и сколько дней жила здесь эта Маша и так же стояла в унижительной женской очереди!

Он вдруг подумал, что, ощущая себя частью элиты, не зная бытовых неудобств, грязных запахов, толкотни, спертости, он не знает и своей страны и никто из его гостей ее не знает. Их мир с момента рождения в привилегированных родильных домах до похорон на специальных кладбищах отгорожен от этих залов ожидания и очередей, и теперь Колдаеву подумалось, что в этом было что-то неправильное.

— Мужчина, ищите кого?

— Что? — Он с трудом очнулся от красивых мыслей. Симпатичная, совсем не похожая на вокзальную проститутку, пухленькая рыжеволосая девица в мини-юбке тронула его за рукав. Говор у нее был мягкий, южный, а голос — глубокий и низкий, какой всегда волновал его в женщинах.

— Может, я схожусь?

Колдаев задумчиво посмотрел на нее.

— Ты здесь часто бываешь?

Девица недовольно дернула головой.

— Ну и что? Я, между прочим, с кем попадая знакомиться не стану. Мне...

— Пойдем,— сказал он, не дослушав.

Все было, как день назад, с молодой девушкой он поднимался по ступенькам своего дома. Сколько же он их сюда переводил: блондинок, брюнеток, студенток, художниц, школьниц, учительниц, продавщиц, поэтесс и артисток, совсем молодых и замужних, русских, украинок, эстонок, евреек, иностранок! С иными он продолжал иногда встречаться, но ни одна его так не зацепила, как эта «святая».

— Ничего себе! — присвистнула девица, развалившись в кресле, так что юбка задралась до черных шелковых трусиков.— И вы тут один живете?

Он достал из ящика стола коробку и, не выпуская из рук, показал проститутке одну из фотографий.

— Ты эту девушку знаешь?

— От сучка! А клялась, что не работает. У вас тут что, женщин голых фотографируют? Так это и я могу, если заплатите.

— Где она сейчас?

— А х... ее знает! Но на вокзалах больше точно не будет. Ишь цаца какая гладенькая! Фотокарточку еще надо было б попортить, чтоб знала, как врать.

— Если ты ее когда-нибудь еще увидишь, дай мне знать,— сказал он и протянул девице деньги.— А теперь все, иди.

Оставшись один, Колдаев затосковал и даже пожалел, что прогнал молодую шлюшку,— с ней было бы веселее скоротать этот вечер. Подкатившая к нему тоска ничего общего не имела с той легкой хандрой, что он чувствовал с утра. Взгляд скульптора бессмысленно скользнул по полуметной зале, заготовкам могильных бюстов и остановился на иконе Богоматери. Темная, старинная, она стояла у него на столе, в полумраке как живые мерцали глаза, и он подумал о том, что человек, ее нарисовавший, себя обессмертил. Никто не знает и никогда не узнает его имени, хотя, вероятно, иконописцу было это не важно, он ведь считал себя только кистью в руках Бога. Но икона осталась, и любой сколько-нибудь понимающий в искусстве человек будет ею восхищен. От него же, Колдаева, останется масса работ на самых дорогих кладбищах, но ничего общего с искусством они иметь не будут. Долгое время эта очевидная мысль его не слишком волновала, теперь ему вдруг сделалось страшно.

Он подумал о том, что когда-то в молодости мечтал о великой славе и ни за что на свете не согласился бы променять ее на достаток и покой. Он бы предпочел стать безымянным творцом шедевров, принять за это любое страдание, терпеть нужду, гонения и болезни. Его жизнь сложилась иначе, и не ему было о ней жалеть, он сам ее выбрал, но хотя бы одну работу, одну настоящую вещь

ему сделать хотелось. Никто и никогда не пытался соединить женскую наготу и женскую святость. Никто и никогда не изображал обнаженных мадонн — он будет первым. И сделать это надо было теперь, пока в его случайной натурщице было то очарование молодости и девственности, которое так хотелось ему выразить. Он смотрел на фотографии обнаженной девушки и чувствовал возбуждение иного рода — ему хотелось лепить. Он давно уже не помнил этого зуда в пальцах, желания разминать глину, этого сродни охотничьему азарту. Много лет занимаясь штамповкой могильных надгробий, набив на этом руку, делая все без особого труда и зарабатывая большие деньги, он отвык от работы.

Прошло три дня, пухленькая проститутка с вокзала больше не появлялась, натурщицы не было, но имелись фотографии, и он решил попробовать лепить с них. Ничего нового для него в этом не было — почти все свои нынешние работы он так и выполнял. Разница была лишь в том, что все его модели были мертвы, а эта — жива, и, когда наутро Колдаев приступил к работе, его охватил некий холодок. Он подумал, что вылепленная скульптура может отнять у его невольной натурщицы жизнь. Но эта мысль не испугала, наоборот, взбудоражила и подхлестнула его: именно по линии жизни и смерти, подумал он, и должна проходить та грань между искусством и доходным ремеслом, которую ему хотелось хоть единожды перейти.

Колдаев работал как проклятый. Он забыл обо всем на свете, похерил старые заказы и не брал новые. Великий гроссмейстер забросил прежних друзей и отключил телефон, не собирались больше любители «ню», и напрасно прослушивали его квартиру те, кто узнавал раньше массу интересного об умонастроении вечно оппозиционной ленинградской интеллигенции. Он даже не выходил на улицу, поддерживая себя лишь крепким кофе. Но ничего у него не получалось: он и в тысячной доле не мог приблизиться к желанному образу. Все валилось из рук, и сами пальцы сделались чужими — материал сопротивлялся и упорно не желал слушаться своего творца, точно тот был не опытным мастером, а дилетантом.

Кладбищенский ваятель почернел, постарел, потерял покой и сон. Однако отказаться от своего замысла он уже не мог. Его настолько разобрало желание вылепить девушку, что иного занятия Колдаев представить себе не мог. Ему казалось, что он уже видит эту невесомую скульптуру, но стоило приняться за работу наяву, как все рушилось. Иногда ему казалось, что он приближается к желанному образу, но всякий раз не хватало какой-то детали, штриха, была одна неточность, и эта неточность сводила на нет всю его работу. Здесь должно было быть все или ничего.

Постепенно желание вылепить скульптуру превратилось в навязчивую идею, бред одержимого человека, маньяка. Он просыпался, спускался в мастерскую, работал, потом разрушал созданное за день, а с утра снова шел, чтобы к вечеру опять разрушить. Эта сизифова деятельность, собственная беспомощность и бессилие угнетали и томили его, уже неделя прошла бесплодно.

Ему нужна была эта девушка. Если бы она была здесь — все получилось бы, он был в этом уверен и снова бродил по городу и вокзалам в надежде ее найти. Боже, сколько бы он теперь дал за то, чтобы привезти ее сюда! Сделать десять, двадцать, тридцать сеансов, платить по самой высокой ставке, поселить в доме, запереть и не выпускать и оставить в гипсе ли, в бронзе, в камне ее бесплотное тело. Но поиски ни к чему не приводили.

Иногда его подмывало уничтожить фотографии, но сделать это духу не хватало. Он был на грани нервного истощения, уже и кофе его не бодрил и не приносила забвения водка. Колдаев жил в полусне, проваливаясь сознанием в глубины, из которых не был уверен, что выберется и не сойдет с ума. Так продолжалось до того дня, пока в памяти у него вдруг не всплыл разговор с Люппо, и, переступив через гордость и самолюбие, скульптор ухватился за своего знакомого как за последнюю возможность спастись.

Глава V. Привод

Против обыкновения Люппо не приехал сам, а назначил Колдаеву встречу в Доме культуры на задворках Васильевского острова. Скульптор удивился и даже попробовал протестовать — он терпеть не мог угрюмых василеостровских линий, но Борис Филиппович был холоден и неуступчив: встреча состоится либо у него, либо не состоится вообще.

С залива нанесло тучу с мелким дождем. Колдаев шел в ранних и скорых сумерках. На душе у него было мутно. Местность делалась все более пустынной, вот уже почувствовалось приближение кладбища и порта, редкие прохожие двинулись быстро и, казалось, пугливо. Скульптор совсем пал духом. По дороге он завернул погреться и выпил в грязной рюмочной несколько стопок водки.

В обычном заводском клубе, где имелась секция аэробики и бальных танцев, проводились вечера «Кому за тридцать», встречи с корейскими миссионерами и шахматные турниры памяти Алехина, Колдаев с трудом отыскал невзрачную дверь на втором этаже. К двери была прибита табличка с выполненной затейливой вязью надписью «ЦЕРКОВЬ ПОСЛЕДНЕГО ЗАВЕТА».

Скульптор недоуменно пожал плечами и толкнул дверь. Взгляд его остановился на висевшей на стене странной иконе. На ней были изображены распятие и монах с сердцем, занимавшим всю ширь грудной клетки. На монаха охотились двое. Слева — бородатый стрелок с натянутым луком, справа — конный копьеносец. И стрела, и копьё касались огромного сердца монаха. Над головой стрелка он разглядел надпись «плоть», над всадником другую — «миръ». Недалеко от распятого была изображена фигурка ухмыляющегося беса. Образ был не слишком старым, но подобной иконографии скульптор раньше не видел.

— Вы к Учителю? — обратилась к нему молодая женщина.

Отворилась дверь, и в полуосвещенной зале, украшенной еще более странными символами, он увидел Бориса Филипповича. Или, точнее, человека, похожего на Бориса Филипповича. Ни прежней светскости, ни остроумия, ни лоска — ничего, что так ценил в своем эксперте по эротическим вопросам Колдаев, в этом человеке не было: на скульптора глядели холодные глаза, с которыми страшновато было встретиться. В другой раз гроссмейстер Великого Ордена нашелся бы и сказал что-нибудь насмешливое, но в его нынешнем состоянии он только вздрогнул.

Люппо молча на него поглядел, а потом брезгливо произнес:

— Вы опять пили.

— Я бы не нашел иначе дороги.

Борис Филиппович зажег трубку.

— Итак, у вас ничего не получается.

— Помогите мне ее найти.

— Неужели вы до сих пор не убедились, что дело не в этом?

— В чем?

— Я предупреждал вас: для изображения святых нужно самому находиться на высокой ступени совершенства. Вы же с вашим теперешним образом жизни на это не способны. Невозможно человеку грязному воплотить чистоту.

— Я хочу изменить свою жизнь, — сказал Колдаев хрипло.

— Подобные слова легко и часто произносятся, но редко и трудно исполняются.

— Я готов на все. Что я должен делать?

— Откажитесь от роскоши, праздности, лени и блуда. Перестаньте принимать у себя грязных людей и очиститесь сами. Впустите в сердце строгость и благодать. Найдите человека, который стал бы руководить вами, и исполняйте ему все ваши поступки, помыслы и движения души.

— Что же мне теперь, в монастырь прикажете идти? — спросил скульптор растерянно.

— Другого выхода у вас нет, — невозмутимо произнес Борис Филиппович. — То, что хотите сотворить вы, не есть искусство, то есть искус. Ваш замы-

сел сродни религиозному служению, а почти все великие иконописцы были иноками. Разумеется, речь не идет об официальной Церкви, которая свою благодать исчерпала. Но благодать эта сохранилась, и здесь собираются те, кто ее унаследовал. Вы можете сегодня поприсутствовать на нашей молитве, но от одного вас зависит, воспримет ли ваше сердце истинную веру.

Колдаев был действительно немного пьян, а главное, слишком потрясен и озабочен собою, чтобы вникать во все, что он увидел в тот вечер. Вернее, то, что он увидел, — магический круг, совместная молитва и трапеза, наставление Учителя — все это скорее разочаровало его и показалось дурной самодеятельностью. Полсотни людей разных возрастов, но в основном молодые и интеллигентные из так называемых ищущих совместно молились, говорили о катастрофическом загрязнении ноосферы и толковали мистическую книгу Учителя «Последний Завет». О чем в этой книге идет речь, Колдаев понял весьма смутно. Большею частью она была составлена из запугиваний и угроз человечеству и призывов к самоограничению и самоочищению. В ней говорилось также о том, что скоро грянет глобальная экологическая катастрофа, все человечество погибнет и лишь немногие избранные преобразятся и спасутся для того, чтобы вступить в новый эон, где люди будут бессмертны и чисты.

После молитвы братия вкушала орехи и мед и обсуждала вопросы более практические, в частности, можно ли в наступившие времена пятой ступени цивилизации пить воду или же приемлемы только соки.

Божественный Искупитель — так именовался среди этих людей его старый знакомый — никаких рекомендаций не давал. Он говорил о том, что все братья должны пить воду, но лично он пьет только сок, потому что вода на Земле чистоту утратила. Мимоходом брошенное замечание действовало сильнее, чем если бы наставник требовал полного подчинения. Все было интеллигентно, мягко и ненавязчиво.

Трапеза закончилась совместной молитвой в кругу. Собравшиеся взяли за руки и, подняв головы, застыли в блаженном оцепенении. Скульптора как постороннего в круг не допустили, но он и не слишком к тому стремился. Ничего, кроме нового разочарования и усталости, в его опустошенной душе не было. Эта самозванная церковь напомнила ему возглавляемый им шутовской Орден эротоманов, но коль скоро людям нечем наполнять пустоту дней, подумал он, то лучше созерцать женскую наготу, чем пугать себя глобальными катаклизмами.

Он ушел домой с таким ощущением, как будто его заставили поучаствовать в коллективном обмане, и твердо решил, что никогда больше туда не вернется, а созовет старых приятелей и устроит заседание Ордена, возьмет обычные заказы и постарается выкинуть из головы сумасбродную и укравшую у него несколько недель идею изваять стыдливую воровку. Но ночью он неожиданно проснулся от того, что заново пережил увиденное. Воспоминание всплыло из подсознания, как громадная черная рыбина. Он не мог уснуть, ворочался, припоминал голоса и лица людей, свой разговор с Борисом Филипповичем, и теперь все это предстало перед ним в ином свете. Ему было неуютно иязько в большом доме, где прежде было столько шума, блеска, вина, смеха, женщин, и — странное дело — совсем не хотелось, чтобы все опять вернулось. Прежняя роскошная жизнь вызвала у скульптора брезгливость, и такую же брезгливость Колдаев почувствовал к собственному истасканному телу.

Ему захотелось немедленно вымыться. Он спустился вниз в сауну и разделся. Взгляд его остановился на отражении в зеркале. На него смотрел изможденный русоволосый человек с опухшим лицом. Вдруг вспомнилась ему увиденная накануне икона и показалось, что копье и стрела касаются его собственного сердца, а икона висит прямо здесь, в сауне. Он попытался стряхнуть это наваждение, как дурман, но копье еще сильнее впилось в сердце.

Наутро он проснулся с головной болью и ломотой во всем теле. Это было похоже на похмелье, но похмелье необычное, подобное тому, что испытывают зашившиеся алкоголики, если однажды не выдержат и сорвутся.

Недомогание не прошло и к вечеру, но оставаться более дома Колдаев не мог. Он боялся приближающейся ночи, бессонницы, кошмарных видений и первый раз за всю жизнь пожалел, что так и не обзавелся семьей или настоящим другом, а окруженный десятками подружек и приятелей предоставлен теперь одиночеству.

В каком-то бреду он оделся и вышел из дому, и ноги сами привели его на Васильевский остров. Огромное сердце монаха кровоточило — скорее всего он не заметил этой крови вчера, но Колдаеву стало так жутко, точно кровь появилась за ночь.

— Что вы со мной сделали? — спросил он хрипло.

— Твоя душа услышала зов Господа, — ответил Искупитель и поднял глаза на образ.

Глава VI. Затвор

С того дня Колдаев стал ходить в Церковь каждый день. Он был трезв и сосредоточен, и теперь те действия, которые совершали застывшие в блаженстве люди, казались ему исполненными неимоверного значения. Оно было куда от него скрыто, но вместе с другими молящимися он крестил лоб, живот и плечи, а потом совершал рукой круг, символизирующий полноту бытия. Была ли это магическая игра, медитация, духовное упражнение или действительно благодать Святого Духа, он не знал, но то, что это приносило ему облегчение, увлекало и волновало его, Колдаев почувствовал наверняка. Его уже все знали, здоровались с ним как с близким человеком, его окружало тепло незнакомых людей, которым не было от него ничего нужно, они не знали, кто он такой, и любили его просто так. Он наслаждался радостью скромных трапез, неторопливых бесед и простосердечного пения, и, привыкшему к обычным в его кругу лицемерию, зависти и ревности, ему было среди этих людей удивительно хорошо.

Колдаев изменился и внешне. В его усталых, безжизненных глазах загорелся тот же свет, что в глазах других молящихся. Он вставал с ними в круг и уже не мыслил себя без этих вечеров, молитв, трапез, поучений Учителя и чтения его Книги. Если бы теперь его разлучили с Церковью, то эту разлуку он переживал бы как самую страшную в жизни потерю. Все произошло так стремительно, что он сам не успел понять, как, циничный, холодный человек, занятый лишь собой и своими удовольствиями и презиравший все вокруг, он превратился в страстного адепта новой религии и полюбил незнакомых ему людей и их Учителя.

Он воспринимал теперь этого человека совершенно иначе, чем прежде. Образ скрытного торговца иконами и любителя женского тела, приходы эротоманов, просмотр слайдов и фотографий — все это стерлось из памяти Колдаева. Он слышал поразительные истории о людях, которые доходили до отчаяния, были обмануты, вышвырнуты из жизни, преданы и брошены своими родными и лишь здесь, в Церкви, находили тепло и любовь.

Они приходили в обитель, как в свой дом, часами слушали Искупителя, совместно молились и выполняли духовные упражнения. Наставник знал каждого по имени, знал истории их жизней — он был открыт любому, строгий, как отец, и нежный, как мать, он являл собою точно всю полноту бытия. За этого человека они отдали бы все, согласились на любые гонения и преследования. И эти слова не были пустыми. К своему величайшему удивлению, скульптор вскоре узнал, что Церковь вызывает ненависть у людей, не признающих спасения. Особенно тяжело приходилось тем из братии, кто в миру был вынужден жить в семьях. Домашние не только не понимали и не принимали их веры, но пытались выдать религиозные убеждения за психическое расстройство. Им помогали, как могли, все остальные, приглашали жить к себе, но неустроенных было по-прежнему много.

«Помните слова Христа: враги человеку домашние его», — говорил Учитель, и Колдаев мучился от того, что занимает один целый особняк. Однако

пригласить этих чистых людей туда, где еще недавно свирепствовал разврат, он не решался. Ему было теперь неимоверно стыдно за свою прежнюю жизнь, он страдал при одном только воспоминании о любовных связях. Стыдно за то, что он нажил огромное состояние нечестным путем, зарабатывая на чужом горе. Все в доме пропахло тленом. Он был готов теперь оттуда уйти сам — только бы не видеть этих комнат, залов, неоконченных работ, сауны и зимнего сада — всего того, чем когда-то так гордился. Лучше было бы ночевать на вокзалах, как те несчастные, но только не пачкаться больше и не видеть прежних мучительных снов.

Однажды он заговорил о своем намерении с Искупителем.

— Твой дом мерзок, но бросать его и оставлять эту мерзость после себя не следует, — сказал Борис Филиппович задумчиво. — Всея братией мы совершим обряд очищения, и это место станет нашим первым монастырем.

Вскоре особняк наполнился новыми жильцами. Они заняли все комнаты, сам же Божественный Искупитель поселился наверху в анфиладе, и Колдаеву пришлось довольствоваться своей бывшей подсобкой. Но скульптор был счастлив тем, что вверил себя в чужие руки. В ту ночь он первый раз уснул легко и спал безмятежно без всяких снов, пока в третьем часу ночи его не подняли на бдение. Отныне с утра до поздней ночи в доме звучали молитвы, песнопения, умиралась плоть и разгуливался дух.

Ежевечерне прослушивавший содержание пленки молодой сотрудник был сильно изумлен и доложил начальству, но никаких шагов оно не предприняло и ждало указаний. Впрочем, получение этих указаний на неопределенное время затянулось — вокруг все трещало и рушилось, вверху была измена, а внизу смута, и у спецслужб без того хватало новых и непредвиденных забот.

Наблюдали по инерции еще за одним домом на Петроградской стороне, хотя наблюдать там было не за кем. Жильцы этого дома, люди весьма известные и доставлявшие много хлопот властям, уехали весной далеко в другую страну, где было не страшно жить. Они добивались этого права много лет, их поддерживали во всем мире, о них писали в респектабельных буржуазных газетах, и теперь после долгих мытарств они это право обрели. Двери заколотили, однако газ и воду отключить не успели. В комнатах стояла непроданная мещанская мебель конца прошлого века, валялись старые журналы, газеты и книги. На кухне в рассохшемся буфете лежали оставленные прежними хозяевами пакеты с макаронами и крупой. Ветер гулял по сквозным коридорам, поднимая пыль и листки бумаги, и иногда казалось, что ходит по дому и что-то бормочет седая косматая женщина в темной шали.

Но это был только морок. Ничьи следы не вели к дому ни со стороны пустыря, ни из маленького кривого переулка, никто сюда не приходил и отсюда не уходил. Однако, приглядевшись к темным, слепым окнам, можно было заметить мерцавший в ночи тусклый огонек — как если бы, уезжая в добровольное изгнание на другой край света и спасаясь от поднявшейся из подвалов смуты, прежние хозяева забыли не только вещи, проведенные в доме долгие годы и, в сущности, благополучную жизнь, но и сделать такую простую вещь, как выключить газовую плиту.

В этом доме жила Маша Цыганова и никуда из него не выходила. Онашла его случайно, идя темной ночью по городу, когда даже на вокзалы путь для нее был закрыт и оставалось только броситься в реку от безысходности. Ей казалось, что всем людям в этом городе известно о ее позоре и, как только она выйдет на улицу, ее узнают, будут оборачиваться и перешептываться за спиной. Она ненавидела себя, свое тело, ей было стыдно рук и ног, как будто она испачкалась и теперь ей вовек не отмыться.

Здесь было ее убежище. Сюда не мог прийти никто — ни живой, ни мертвый, и она наслаждалась тишиной, постоянством и несменяемостью того, что ее окружало. Это добровольное заточение в старом выселенном доме, блуждание по комнатам, чтение странных журналов и книг было для нее полной, ничем и никем не стесненной свободой, исключая лишь право покинуть пределы

здания и шагнуть на улицу. Гул большого города дома не достигал, застревая где-то на подступах к нему. В окна дул ветер, стучал дождь, она бездумно глядела часами на двор, как заворожженная. Что делать дальше и как ей теперь быть, она не знала и даже не пыталась узнать.

Прошлая чужая жизнь заменила ей свою собственную. Она дотрагивалась до старинных вещей — чашек с отбитыми ручками, жестяных банок, стульев с поломанными спинками, — они не обладали никакой художественной или антикварной ценностью, кроме той, что принадлежали многим людям, передавались из рук в руки, завещались, продавались, пропивались, обменивались, закладывались и хранили память о всех владельцах. Это был словно гигантский музей неучтенных ценностей, таинственная кладовая, и она стала теперь единственной их наследницей и хранительницей.

Газ на кухне горел все время, и, когда темнело, она глядела на огонь. Сине-грязноватое пламя освещало кухню, возле плиты было тепло, и все ближе и явственнее проступали из тьмы навеянные фильмами образы. Потом выпал снег, он был совсем не похож на тот, к которому она привыкла в тайге — грязный, сырой. Каркали вороны, день ото дня все теснее сближались утренние и вечерние сумерки и все таинственнее становилась жизнь в доме. Теперь, чтобы согреться, ей приходилось все время лежать под одеялами, но холод пробирал и здесь.

Вероятно, у нее была температура, она бредила, свет в комнате перемешивался с тьмою, и ей виделась дорога на «Большой мох», линии проводов, столбы и усыпанные клюквой лежневки. Картины менялись, как в калейдоскопе, Маша не знала точно, где находится и сколько дней она уже здесь живет. Но потом стол опустел. Она просто лежала и ждала, когда придет так долго задержавшаяся гостья из метели и она умрет от того же, от чего в несчастном городе умерли очень многие.

Но вместо легконогой гостьи снова пришла мать.

— Уходи отсюда, — сказала она, скрестив на груди руки.

— Я хочу остаться.

— Ты должна жить. Ради нас.

— У меня нет сил, мама.

— Смотри сюда.

Она пригляделась и увидела во младенчестве умершего братика. Младенчик не шевелился, он лежал на руках у Шуры, закрыв глазки, и она вдруг почувствовала, что это была та утраченная ею вторая половина ее существа, которой ей всегда недоставало и без которой ее жизнь была ущербной.

— Если ты сейчас умрешь, нас не спасет никто.

— Я боюсь. Там этот человек.

— Он заплатил свое. Иди и ничего не бойся. Машина за тобой уже выехала.

— Какая машина?

— Иди скорее!

Метель была такая, что за снегом исчезло все: и дома, и фонари, и машины — все потонуло в мутно-желтой мгле. В легком платьице Маша побежала через пустырь, и следы ее сразу же замело снегом. Она не почувствовала, как кончился двор и началась улица. Снег застилал все.

Она бежала по середине проезжей части, но в этот ночной час дорога была пуста. И только белая машина «Скорой помощи», залепленная снегом, бесшумно ехала по улице. Машина была не видна в метели. Навстречу ей прямо из снега метнулось чье-то легкое тело. Водитель почувствовал несильный удар и затормозил.

Между передними и задними колесами лежала девушка. Шофер похолодел. Он был готов поклясться, что девушка не просто поскользнулась, но сама бросилась под машину. Вдвоем с врачом они вытащили несчастную и осмотрели. Никаких видимых переломов на теле не было. Она была в беспмятстве, и они положили ее в машину, где уже находился больной, известный ленинградский ученый, но надежды на то, что его успеют довести живым, почти не было.

Глава VII. Коридоры

Бывают странные сближения. За несколько часов до инфаркта академик Рогов постучался в дверь двухэтажного дома на Каменном острове. Ему открыли не сразу — прошло, наверное, больше десяти минут, когда послышались шаги и показался заторможенный молодой человек в темном балахоне. Лицо его выглядело счастливым и открытым, но в этой открытости было что-то глубоко отталкивающее.

— Вы к кому?

— Я хочу видеть сына.

— Здесь нет ничьих сыновей и дочерей, кроме детей Отца Нашего Небесного,— сказал молодой человек.

— Тогда позовите вашего руководителя.

— Это невозможно,— ответил зомби.— Божественный Искупитель занят.

— Он назначил мне встречу.

— Кто вы?

— Академик Рогов.

Зомби исчез, и старик огляделся. Со всех стен на него глядели странные картины, портреты и маски, откуда-то доносилось заунывное бормотание и монотонное пение. Рогов почувствовал слабость и прижался к стене. Кто бы еще вчера сказал, что ему придется стоять в этом темном коридоре и ждать. И, кроме себя, винить было некого.

Рос тихий, забитый мальчик, на материнском воспитании — Рогов ездил в экспедиции, выводил в свет учеников, писал монографии и был счастлив, как только может быть счастлив человек, который видит перед собой цель и знает, как ее достичь. Но вот ученики уехали за границу, и он их не осуждал — здесь не было, а там была возможность работать, писать, были деньги для исследований, была, наконец, покойная жизнь. Звали и его, но он остался, потому что понимал: зовут из жалости, из уважения к бывшим заслугам. Старый, вряд ли способный сделать что-то еще стоящее и от науки отошедший — там он никому не нужен.

И когда остался один, когда повернулся к семье, почти для него не существующей, то увидел, что сына нет. Мать берегла, не отдавала в детский сад, провожала и встречала из школы, не жила, лелеяла. Ребенок учился плохо, ленился, когда Рогов пытался вмешиваться — жена запрещала прикасаться. Мальчик с трудом окончил школу, и помогать с поступлением в университет Рогов не стал. Жена спасла сына от армии, надоумив симулировать недержание мочи. С этой позорной болезнью он получил освобождение, какое-то время жил дома и нигде не работал, иногда пропадал и возвращался сам не свой, а потом ушел навсегда. Искали долго по всей стране и не находили. Наконец, узнали страшное, неведомое: сына видели в секте.

Секта закрытая, членам ее общаться ни с кем не разрешается — всем управляет один человек. Живут на квартирах, на дачах, собираются друг у друга и беспрекословно выполняют волю старшего. Уйти практически невозможно — раз попадая туда, не возвращаются. Бывает, сходят с ума, сжигают себя, калечат физически.

Что он тогда знал, откуда и какие секты в стране, где атеизм был государственной религией и в Бога-то обыкновенного верить дико. Какие суеверия могут быть у мальчика, выросшего в интеллигентной семье и способного распознать глупость и фальшь?

Рогов читал их книги и листовки: новая истина и новое учение, последний завет, он же третий после Ветхого и Нового, гибель мира, новый Спаситель, шестая ступень цивилизации, космическое излучение — маниакальный бред для истеричных женщин и младших научных сотрудников, начитавшихся дурной фантастики. Но называли имена известных людей, артистов, художников, инженеров, людей, закончивших университеты, которые туда навсегда уходили. А что там, за этими каменными стенами, происходит? Сколько ни пытались проникнуть туда родители, никого не пускали. Обращались в мили-

цию — все было бесполезно: община зарегистрирована, и по новым законам вмешиваться в ее деятельность нельзя.

Никогда в жизни не мог он представить, что до такого доживет. Ни когда в тайге оставался один без еды и оружия, ни когда писали ему подметные письма за строптивый характер, ни когда угрожали сгноить — все ему было тринтрава, а теперь впервые по-настоящему жутко сделалось.

Он забросил работу, обо всем забыл и познакомился с другими родителями. Они шепотом пересказывали друг другу страшные случаи о том, как уходили из благополучных домов благополучные люди, женщины бросали мужей и детей или, что еще страшнее, уводили детей с собой. Уходили и не возвращались, и где искать их следы, не знал никто. Потом разведали, что секта перебралась на Каменный остров. Проникнуть туда никакой возможности нет. Но однажды Рогов получил короткое известие о том, что Божественный Искупитель готов сделать для него исключение и принять.

Послышались снова шаги, распахнулась дверь, и Рогова повели по коридору. Мерцали огни, нигде не было яркого света, но он успел заметить, что в комнатах были люди в белых одеждах — лица в основном молодые. Люди стояли на коленях, раскачивались и пели, потом замолкали и кто-то один читал.

По дороге сюда он много раз пытался представить, как выглядит этот человек, имевший столько власти над чужими душами, но ни один из предполагаемых образов не соответствовал ни в малейшей мере тому, что Рогов увидел. В кресле сидел и курил трубку мужчина с розовым лицом и подвижными цепкими глазами — казалось, единственный живой человек во всем доме. Кого-то он Рогову напоминал, но кого, вспомнить в эту минуту не удавалось.

— Чем могу быть полезен?

— Верните мне сына.

Мужчина пожал плечами.

— Никто его здесь не держит. Он сам пришел, и сам волен уйти.

— Я вам не верю.

Появился молодой человек, тот самый, что его встречал, или другой, Рогов не разобрал: все они тут были похожи. Учитель что-то тихо сказал, и минуту спустя Рогов увидел сына.

— Оставьте нас одних! — сказал он резко.

— Это мои друзья, — произнес сын вялым скрипучим голосом. — Я не хочу, чтобы они уходили.

Рогов посмотрел в его глаза и не увидел в них ничего, как если бы глядел в глаза мертвеца. Ни страха, ни удивления, ни радости — ничего старик в лице сына не разглядел, только ровную пустоту.

Рогов понял, что проиграл. Он еще надеялся, когда сюда шел, что ему удастся забрать мальчика с собой и вытащить, пусть не сразу, постепенно, но теперь, поглядев на это безвольное младенческое лицо, понял, что сына у него нет. Тогда первый раз у него схватило сердце, не кольнуло, как обычно, а натянулось, лопнуло внутри, но еще хватило силы удержаться в кресле.

— Что вы за него хотите? — произнес он, вцепившись в подлокотники.

— А что вы можете предложить? — осведомился живоглазый деловито, нимало не смущаясь присутствием своих адептов.

— Деньги, машину, дачу, библиотеку.

Учитель покачал головой.

— Это нам и так достанется.

Рогов приподнялся, чтобы ударить, но острая боль остановила его, и последнее, что он увидел, когда несколько молодых людей по темному коридору понесли его к выходу, были равнодушные глаза сына.

Рогов всегда изумлялся совершенству природы, и теперь ему казалось, что он проводит заключительный эксперимент, наблюдая за тем, как освобождающаяся душа покидает тело. О том, что будет с душой дальше, он не знал и не хотел думать, но сам момент остановки всех жизненных функций на фоне продолжающейся работы мозга его поражал и увлекал. Он запоминал все до мельчай-

ших подробностей, только мешала отдаться этому наблюдению до конца боль в сердце. Он отказывался верить в реальность того, что ощущал, но не мог и не верить в это. С его сознанием творилось что-то странное. Машина ехала очень мягко, но каждый толчок отдавался в измученном теле, и хотелось, чтобы его скорее оставили в покое.

Все потонуло в мутно-желтой петербургской мгле, и не было города, а снова раскинулось вокруг болото, которое так и не смог осушить великий император и его несчастные рабы. Академик не почувствовал, как машина остановилась, чтобы подобрать бросившуюся под колеса девушку. Он был уже вне мира и знал, что до конца эту дорогу ему не осилить.

Он оказался в потоке воды, что текла по трубе, и его несло так стремительно, как бывает, когда кружишься и закрываешь глаза или когда самолет в последний момент, перед тем как оторваться от земли, бежит по взлетной полосе. Он должен был вот-вот взлететь, но, когда ощутил рядом с собой присутствие другого человека, в нем что-то изменилось. Скорость упала, боль в сердце возобновилась, и оторвавшаяся было душа налилась мягкой тяжестью. Рогов стал судорожно хватать пальцами воздух. Находившийся возле него врач не понимал, что он хочет, тревожно наклонялся, щупал пульс, пытался понять шевеление роговских губ. Наконец он догадался и придвинул руку больного к девушке. Академик затих, и страдальческая гримаса на его лице расправилась.

... Рогов очнулся, услышав голоса.

— Какого черта вы ее привезли?

— Не бросать же было на улице.

— Сами в районную повезете.

— У нее едва пульс прощупывается.

— Тут не богадельня.

Больной открыл глаза и с усилием произнес:

— Где девушка?

— Какая девушка, Виктор Владимирович?

— Где девушка, которая была в машине?

— Не было никакой девушки. С чего вы взяли?

— В машине была девушка, она меня вытащила, — сказал Рогов упрямо. —

Позовите ее сюда.

— Виктор Владимирович, вас вытащила медицина. И потом это ведомственная больница. Я не имею права держать в ней посторонних.

— Положите ее в одну палату со мной.

— Это невозможно.

— Тогда, черт возьми, я уйду отсюда вместе с ней!

Он попытался приподняться, на лице у него выступили капельки пота, и заведующая поморщилась, как морщатся родители, когда избалованный ребенок приносит домой драную кошку.

— Хорошо, мы положим ее вместе с вами, но если завтра вы обнаружите у себя чесотку или вшей, то претензий нам не предъявляйте.

Дыхание девушки было неровным и судорожным, веки вздрагивали — Рогов смотрел на нее не отрываясь. Что-то очень необычное в ней было. Тонкое лицо, спутанные волосы, длинные вздрагивающие ресницы и полуоткрытый детский рот с припухлыми губами — все это тронуло его необыкновенно, и академик ощутил нежность, какую он давно, а быть может, никогда ни к кому не испытывал.

Бесшумно вошла медсестра, пожилая женщина, страдавшая нервным тиком и оттого казавшаяся недовольной, хотя на самом деле очень добрая и столь же болтливая.

— Что с ней?

— Двухсторонняя пневмония и страшное истощение. Вы только заведующей ничего, ради Бога, не говорите.

— Что такое?

— Если б вчера не привезли, опоздали б. На исходе была. А кто она вам, Виктор Владимирович? Знакомая какая?

Рогов покачал головой.

— В милицию сообщить надо. Сами посудите: документов при ней никаких, одета в одно платье зимой — мало ли что?

— Не надо в милицию,— сказал Рогов.— Считайте, что она моя родственница.

Девушка очнулась в сумерках. Она долго лежала с открытыми глазами и прислушивалась к своему телу, точно не веря, что оно к ней вернулось. Постепенно стали различаться очертания предметов в комнате, и она долго не могла понять, почему они не совпадают с теми, к которым она привыкла. Зажегся свет, больная повернула голову, зажмурилась, снова открыла глаза. Веки отяжелели, и каждое из этих действий требовало от нее сил.

— Есть хочешь?

Она мотнула головой.

— Пить?

— Да,— шевельнулись бледные губы.

Рогов налил воды и поднес к ее рту.

— У тебя родные или знакомые есть?

— Нет.

— Хорошо, спи. Тебе надо набираться сил. Забудь обо всем. Когда выздореешь, станешь жить у меня.

Глава VIII. Дворницкая мистерия

Уже больше месяца бывший директор школы Илья Петрович блуждал по Ленинграду в поисках затребованной таежными отшельниками отроковицы. При этом он испытывал поразительные, доселе ему совершенно неведомые ощущения. Эти ощущения были связаны с городом, где никогда прежде, следуя странному предубеждению, он не был, но который считал своей родиной. В Ленинграде жила его мать, но после первой блокадной зимы, обессилевшую от голода, ее вывезли под Архангельск. С той поры она мечтала вернуться, но умерла после тяжелой болезни, вызванной истощением, давшим о себе знать много лет спустя.

В студенческие годы Илья Петрович каждое лето работал в стройотрядах, много ездил, и громадная карта страны, висевшая на стене его комнаты в общежитии, вся испещренная кружочками от Чукотки до Карпат, была предметом его гордости. Однако Ленинграда он всегда избегал, точно чувствуя вину этого города или свою собственную перед памятью покойной матери.

Этот город музеев, дворцов, парков был для него одним — городом голода. Он шел по Невскому проспекту, по набережным Невы, пересекал широкие площади и проходил парками, он шел по Фонтанке и Мойке, мимо квартиры Пушкина и Медного всадника, глядел на Васильевский остров, Исаакиевский и Казанский соборы, на Невскую стрелку, Петропавловский собор и Адмиралтейство, но ничто не звучало в его сердце торжественной музыкой. Он чувствовал повсюду только одно: блокадный голод.

Постепенно это ощущение притупилось, он точно привык к нему и стал обращать внимание на другие вещи. Но не величественные памятники архитектуры, не пышные парки и сады, а глубокие дворы, тесные улицы с угрюмыми домами запали в душу лесного жителя. Он бродил по городу, вдоль реки, как немой,— ни Москва, ни Вологда, ни Архангельск, ни Ярославль, ни один из русских городов не поражали его воображение так, как заснеженный, метельный и сырой Петербург.

Здесь он почувствовал вражду двух миров — вечного каменного города и ветхого деревянного скита. Они друг друга отрицали и отчаянно спорили уже триста с лишним лет о том, кто из них прав, кому суждено сгинуть, а кому жить дальше. И директор школы, назначенный судьей в этом яростном споре, не знал, кому отдать предпочтение. То была вечно повторяющаяся судьба его ро-

дины, сдвинувшейся с мертвой точки, устремившейся в неизвестность и снова очутившейся на скользком месте. Снова посылались ей испытания, которые не смогла бы превозмочь никакая другая страна, и снова история всего Адамова рода решалась в России. Снова бились за ее душу силы света и силы тьмы, точно сговорившиеся выбрать на всем земном шаре именно эту равнинную землю для сведения своих счетов, и то, что на ней происходило, было отражением этой небесной битвы. Илья Петрович чувствовал это физически, так же явственно, как голод на блокадных улицах, слышал крики, стенания и звон мечей. Он видел, как тьмы демонов теснят в небе ангельскую рать, как падают изможденные бойцы и все ниже становится небо над головой, чувствовал, как накапливается и разливается по всей земле страшное зло, — корабль уже дал течь, но в мире еще никто об этом не знал, и только здесь, где была пробоина, люди закрывали собой брешь и отчерпывали воду, чтобы ковчег еще продержался на плаву.

Впрочем, сколь бы захватывающими ни были эти мистические откровения и как бы сильно они ни поражали чувства впечатлительного бродяги, Илье Петровичу приходилось думать и о желудке.

Директор был согласен взяться за любую, самую черную и непристижную работу. Однако с высшим образованием и сомнительной пропиской в не существующем уже леспромхозе его никуда не брали, новые власти лимит прикрыли, и надо было искать другой выход. Он ночевал на вокзале, не обращая внимания на шум и гам. Когда милиция выгоняла с одного места, перебирался на другое, лицо его уже всюду примелькалось, и он приобрел классическую внешность бомжа. Денег не было, и директор довольствовался тем, что выходил ночами в близлежащие садики и парки, и собирал в кормушках хлебушек, безжалостно обворовывая безответных птичек, и искал отроковицу. Но вместо нее на Грибоедовском канале отчаявшийся и уже готовый уехать куда глаза глядят педагог однажды столкнулся с толстой и злой дворничихой, в которой узнал Машину старшую сестру.

Вряд ли можно было сыскать в ту пору во всем Ленинграде более несчастную женщину, чем Катерина Цыганова. Месяц спустя после того, как ушла Маша, дворничиху бросил муж. Делать аборт было уже поздно, Катерина родила второго ребенка и хотела оставить его в роддоме, но в последний момент передумала и теперь раскаивалась в собственном благодушии. В жэке ей пригрозили, что уволят и лишат прописки, и, выбиваясь из сил и проклиная все на свете, под крики двух детей она продолжала работать.

Илья Петрович явился перед ней, как ангел-хранитель. Ничего определенного о Маше сказать она не могла. Но, узнав о зыбком положении директора и осторожно наведя справки о его дальнейших планах, Катерина предложила ему поселиться у нее, а за это убирать участок. Илья Петрович согласился и поначалу вместе, а потом вместо дворничихи стал добросовестно выметать мусор питерских тусовок, листовки и окурки.

С шести утра он был уже на ногах и взмахом соответствующего погоде инструмента приветствовал трудящихся обитателей дома, чем вызывал восхищение начальства и жильцов и глухое раздражение и ревность коллег на сопредельных участках. Помимо соседей-дворников, в бешенстве от Ильи Петровича была и Катерина, надеявшаяся, что с появлением видного мужика ее жизнь переменится и он станет с ней жить, как с женой. Однако таежный богатырь продолжал хранить целомудрие. Истосковавшая без ласки женщина в ярости обзывала его евнухом и была готова выпихнуть к чертовой матери, но, поостыв, рассуждала более трезво. Илья Петрович зарабатывал ей деньги, не требуя для себя почти ничего, и, поскольку жизнь день ото дня становилась менее предсказуемой, приходилось смиряться с таким странным видом сожительства.

Потом она начала приводить мужиков — Илья Петрович был равнодушен к этому совершенно, и в конце концов их отношения так устоялись, что никаких претензий друг к другу они не имели. Директор мел двор, Катерина растила детей и по примеру покойницы Шуры блядовала, время текло медленно и од-

нообразно, но проходило быстро. Лишь изредка перебивали его смешные и нелепые происшествия вроде прихода в семью блудного Василия, скандала на коммунальной кухне и угрозы набить экс-директору морду. Дюжий дворник вышвырнул непрошеного соперника на улицу, Катерина для порядка слегка заплакала, но в объятиях очердного кавалера быстро утешилась.

Илья Петрович снискал в доме любовь не меньшую, чем когда-то молодой специалист в номерном поселке. Этому громадному и неуклюжему человеку были присущи добропорядочность и уважение к своему пусть даже черному труду, что искони отличало истинных петербуржцев. Тех немногих из старожилов, что не эмигрировали, не были выселены, вывезены, расстреляны или не померли с голоду, работа Ильи Петровича, самый его облик и говор заставляли вспомнить иные времена и трагически прервавшуюся династию старых дворников. Во многих квартирах он был званым гостем, с ним не страшно было оставить детей на прогулке. Он вспомнил свою старую склонность к оживлению мертвых вещей и снова стал задарма чинить телевизоры и радиотехнику, поражая всех окружающих редким по наступившей поре бескорыстием.

Жильцы удивлялись его судьбе, сопереживали и толковали о том, что такой человек не имеет права разменивать себя на черную работу, обещали хлопотать с пропиской, с хорошей должностью, но Илья Петрович от всего открещивался, как некогда открестился от предложения делать карьеру партийного работника, и никому не рассказывал ни о своем прошлом, ни о причинах, вынудивших его поселиться в Ленинграде. Постепенно его оставили в покое, чего он и добивался.

В свободное время бывший директор надевал поношенное пальто и уходил в город. Его глыбистая фигура и тяжелая поступь вызывали удивление прохожих и восхищение иностранных туристов. Финны, немцы и американцы предлагали дворнику деньги за то, чтобы он согласился с ними сфотографироваться, но Илья Петрович внимания на них не обращал.

Глава X. Сватовство

А между тем Машенька, которую так истово искал директор, жила совсем недалеко от дворницкой, на другом берегу Невы в громадной квартире академика Рогова на Университетской набережной. Она была еще очень слаба, но теперь ее исхудавшее, преображенное тело не вызывало у нее прежней брезгливости. Болезнь точно смыла все, что мучило девушку, ее ночные кошмары и страхи ушли, и она снова сделалась простодушна и весела. В конце концов и после того, что с нею приключилось, она осталась обыкновенной деревенской девочкой и как бы удивилась, если бы узнала, до какого состояния дошел оскорбивший ее скульптор, как жестоко заплатила сестра и какие метаморфозы произошли со школьным директором.

Она делала в доме все то, к чему привыкла у Катерины: готовила, убирала, стирала, протирала пыль с корешков древних книг, ухаживала за цветами и ходила в магазин, уверенная, что этим все и ограничится. Но у Рогова на ее счет имелись другие планы. Теперь, когда загробные метафизические переживания академика отступили на второй план, он взялся за обустройство Машиной жизни со свойственной ему энергичностью. Старик выпросил у девушки всю ее биографию — она умолчала только об истории со скульптором — и в связи с таинственным вмешательством покойной Шуры в судьбу дочери долго разъяснял ей примерно то же самое, что пытался внушить когда-то жителям «Сорок второго» Илья Петрович: в критические моменты сознание человека деформируется и мы принимаем за реальность игру воображения и наши впечатления.

После этого он устроил девушке тест по школьным предметам и остался приятно поражен.

— Можно подумать, что ты училась не в тайге, а в столичной спецшколе. У тебя были отличные учителя.

— Учитель.

— Один? — не поверил академик. — Он что же, по-прежнему работает?

— Нет, спился.

Рогов недовольно покачал головой.

— Не понимаю я этого. Откуда у нашей интеллигенции столько безволия — чуть что, сразу за рюмку?

— Он очень одинокий был.

— Человек, а тем более человек, который взялся учить других, в любых обстоятельствах обязан сохранить достоинство. Никаких отговорок здесь быть не может! — отрезал ученый и так же сердито продолжил: — И вот что, учти, я в домработницу тебя превращать не собираюсь. Через год будешь в университет поступать.

Академик был человеком слова и дела. Он устроил свою воспитанницу на подготовительные курсы и иногда брал на лекции. Маша сидела в последнем ряду и слушала, как старик рассказывает студентам про вымиравших мамонтов и сравнивает их с троллейбусами, останавливающимися в снегопад. Тишина в аудитории напоминала далекие уроки в леспромхозовской школе, горемыку отца и трудолюбивую матушку, давно уже не тревожившую ее загробными советами. Теперь казалось, все это ушло в прошлое, никогда не вернется и впереди ее ждет совсем иная жизнь.

Она не то чтобы любила академика — трудно было любить этого человека с его тяжелым и властным характером, — но испытывала одновременно и благодарность, и страх. Ей казалось, стоит сделать что-то не так, он выгонит ее из дома. Рогов был требователен, по-старчески капризен и не признавал никаких отговорок. Но, когда однажды она разбила дорогой бокал и заплакала, он посмотрел на нее удивленно.

— Ты из-за этого плачешь? — Взял стоящий рядом и швырнул на пол. — Никогда не смей плакать из-за вещей.

И величественно ушел. Маша заплакала еще сильнее и, собирая осколки, подумала о том, что в этом доме, наверное, так и не приживется. Сколь ни тяжелым был характер ее матушки, до академика даже Шуре Цыгановой было далеко.

Еще больше она задумалась об уходе, когда однажды стала свидетельницей безобразной сцены. К Рогову пришла красивая ухоженная седовласая женщина. Она мельком взглянула на девушку, скинула ей на руки пальто и прошла в кабинет. Разговор поначалу был тихим, но вскоре перешел на крик.

— Мы создали родительский комитет, чтобы помочь нашим детям. Встретились с этими людьми. Они оказались совсем не такими страшными, как нам представлялось. Вежливые, интеллигентные. По крайней мере за мальчика я могу быть спокойна. А что сделал для него ты?

Вместо ответа в комнате раздался грохот, визг и страшная брань. Женщина подхватила пальто и выскочила из квартиры, а Рогов остался посреди прихожей. Он тяжело дышал, и лицо у него было таким гневным, что Маша попятилась.

— Подойди сюда! — приказал он.

Не чуя ног, она приблизилась.

— Приступ может повториться, и так легко я уже не отделаюсь. Ты единственный близкий мне человек, и я хочу, чтобы ты стала моей наследницей.

— Я не...

— Помолчи, я еще не все сказал. Моя бывшая супруга — женщина изворотливая и оборотистая. Чтобы потом не было никаких сложностей, мы должны будем зарегистрировать формальный брак.

Маша попятилась.

— Нет.

— Не говори глупостей. Десятиминутная неприятная процедура — и твое будущее обеспечено.

— У вас есть сын.

— Нет! — сказал Рогов жестко. — Никого у меня нет.

Она вздрогнула и испуганно посмотрела на него.

— По самым большим меркам мне и года не протянуть,— продолжил он.— Ты выйдешь замуж, и, надеюсь, за порядочного человека.

— Зачем все это нужно? — проговорила она.

— Я не хочу, чтобы дом, где я вырос, стал собственностью мерзавца. Все, завтра подадим заявление.

После этого уже второго в ее жизни предложения у Маши было единственное желание и единственный видимый выход — бежать. Она понимала, что старика это огорчит, но представить, как пойдет с ним в загс, как ее спросят, согласна ли она быть его женой, как станут смотреть на нее люди, не могла. Это было не менее позорно, чем сниматься обнаженной в мастерской у жизнерадостного скульптора.

Однако выполнить свое намерение Маше суждено не было. К вечеру переволновавшийся жених слег с сердечным приступом. Снова приезжала «скорая» и уговаривала отвезти академика в больницу. Он отказался, капризничал, и она вдруг поняла, что этот человек без нее жить не сможет. С ним было страшно тяжело и со здоровым, а о больном нечего говорить. Академик страдал от того, что не может работать, поминутно звал свою сиделку, а как только почувствовал себя чуть легче, вскочил и к вечеру снова слег. И Маша опять сидела при нем, давала лекарства, мерила давление, ухаживала, готовила крепкий бульон и читала. Она делала все, что требовало ее новое положение, и невыносимая процедура в загсе, сопровождаемая любопытствующими взглядами зевак, особенно настырными какой-то рыжеволосой девицы, предложения навязчивого фотографа запечатлеть молодых, сочувствие нарядной дамы, объявившей их мужем и женой,— все это показалось ей просто одной из забот об академике.

Впрочем, визита в загс оказалось недостаточно. После пришлось пойти к нотариусу и оформить завещание.

Когда они заняли очередь, дверь распахнулась и из кабинета вышли двое мужчин. Рогов читал в «Nature» статью своего ученика и был настолько поглощен ею, что не обратил внимания, но Маша тотчас же одного из них узнала.

Боже мой, как изменился этот человек, который заставил ее испытать кошмарный стыд, кого она страшилась и кто мерещился ей в каждом втором прохожем! Он был просто жалок теперь, сделался ниже ростом, а в глазах его появилось что-то собачье. Она даже засомневалась, тот ли это человек, и услышанный ею вслед за этим разговор совсем сбил ее с толку.

— Теперь, когда ты освободился от несправедливо нажитого тобою имущества, ты сможешь начать готовиться к крещению.

— Меня уже крестили в детстве.

— Это крещение было сотворено фарисеями внешней церкви и спасительной силы не имеет. Ты примешь подлинное крещение, после которого станешь навсегда безгрешен и чист.

— Черт знает, что они пишут! — неожиданно проворчал Рогов.— Уехали — и будто что-то в них сломалось. Вроде все есть, а не то. А, Машенька, что ты скажешь?

— Я не знаю английского. — Она молила Бога, чтобы скульптор не обернулся.

— Вот это да! — изумился старик.— Ты что себе, матушка, думаешь? Тебе экзамен летом сдавать. Немедленно принимайся за язык!

Тот, кого называли Божественным Искупителем, обернулся, его глаза встретились с Машиными, потом скользнули по фигуре Рогова, и на лице у него промелькнуло любопытство. Он в упор смотрел на нее и на Рогова, и она ощутила на себе тяжесть этого недоуменного взгляда.

К счастью, в этот момент их позвали, и после недолгой процедуры предъявления соответствующих документов и новых полных любопытства взглядов Мария Алексеевна Рогова стала единственной наследницей своего супруга. Но еще несколько дней она не могла успокоиться и забыть о неожиданной встрече

че и ждала неприятных перемен. Однако все было тихо. Ни новых встреч, ни случайностей, ни телефонных звонков не последовало.

И за всеми этими событиями, изменениями и приспособлениями никто из наших героев не успел оглянуться, как миновал почти год с того времени, как действие их жизни перенеслось на новое место. За этот год столько воды утекло в Неве, столько нового и разнообразного мусора появилось на улице — от невиданных прежде оберток «сникерса» до банок из-под импортного пива, свидетельствующего об истинном обновлении Северной Пальмиры. Да и саму Пальмиру с ее говорливым мэром не знали, как теперь кликать: то ли Ленинград, то ли Петроград, то ли Петербург, то ли Петрополь. Впрочем, в глушь переулков с наполовину выселенными домами манифестации с Невского не заходили, и, кроме мусора, мало что переменялось.

Обретший заботу и покой академик заработал с новой силой: так мощно и упруго, как не работал и в молодости. Маша перепечатывала написанное им на машинке и готовилась к поступлению в университет. Илья Петрович отпустил бороду и получил в подарок от одного из старожилів бляху дореволюционного дворника. В доме на Каменном острове совершенствовалась Церковь Последнего Завета и успешно конкурировала с представителями других самозванных конфессий. Под звоны митингов и манифестаций тихой сапой перераспределялась по всему городу собственность и продавалась задарма за кордон. За всем этим внимательно следили из казенного дома, но по-прежнему ни во что не вмешивались, хотя компромат на всякий случай собирали.

Со стороны казалось, все идет своим чередом. Однако пребывать в равновесии лицам, завязанным вокруг святой отроковицы, оставалось недолго. События разворачивались стремительно, и остановить их никто был не в силах.

(Окончание следует.)



Светлана МАКСИМОВА

Лишь крылья полотняные...

* * *

Эта лошадь пришла первой.
Но на нее никто не ставил.
Век уходящий бьет по нервам.
Век приходящий срывает ставни.
Чертом, лезущим во все щели,
В ночь Рождества конопатит рыло.
Это колядки. Полночь. Сочельник.
Это пророчествует рыба
В проруби — пупом земли российской
Между равнин и морей вспухая,
Она называет себя сфинксом.
Слепоглухонемая нагая,
Все задает загадки, загадки,
Села заглатывая собою.
Это Сочельник. Полночь. Колядки.
И половецкие пляски с чумою.
Это смертельные скачки, скачки
Загнанных ряженных на Сочельник.
Ночь Рождества. И младенец плачет.
Чей он наследник? Чей он?.. Ниче-е-ейный...
Ряженный ангел кусает локоть.
Ряженный бес отшибает память...
Никто не ставил на эту лошадь.
Впрочем, и некому было ставить.

* * *

Тянет душу сквозь ребра — ишь как
Покупатель хвостат и рад.
Выходи погулять, братишка,
Сам собой на торговый ряд.

Ох, и мода пошла дурная —
Сургучом заливать замки,
Словно кровь запеклась родная
На вратах от твоей руки.

То ли продан ты, то ли куплен —
Все едино нигде, ничей,
С херувимами всеми вкупе,
С вечной связкой чужих ключей.

Словно вечным родством повязан,
Да неведомо, кто твой брат.
Потому и кричишь безгласно
По ту сторону снов и врат.

* * *

Перстень-слон — знак заветной магнезии
Из далеких краев Индонезии
Прибыл к нам на пурпурном крыле
Птицы, ищущей наш лепрозорий...

О, какие, мой ангел, зори!
И бессмертие на игле!
О, мой ангел, мы снова вместе.
Да, мой ангел, и этот перстень

Со слоновьею головой
 То ли выкован высшей кастой,
 То ли вымечтан той проказой,
 Что зовется у нас судьбой.
 Перстень-слон —
 в нем тайник для сердца,
 Перстень-слон —
 он менял владельцев,
 Растворяясь, как соль, в руках.
 Ну, а мне он пришелся впору,
 Словно все, что чужое вору,
 Все, что плохо лежит в веках.

Коль наденешь его на руку,
 Все любви идут по кругу,
 И возлюбленных алый шлейф,
 Словно царская кровь, клубится.
 Птица шалая, аки львица,
 Птица ярая, аки лев,
 На крыло свое поднимает,
 Камнем оземь с небес бросает.
 Ну, а камень встает стеной —
 Там, где в башне поет царица,
 Там, где Кремль о Кремень искрится,
 О, мой ангел, Тобой и Мной!

Начало

Лишь крылья полотняные да лишь ступни босые...
 Я ничего в дорогу с собою не взяла.
 И так дошла к закату до средней полосы я,
 Пока дитя рождалось там, на краю села.

Над облаками сгусток вечернего светила
 Разматывался тихо, как будто узелок,
 Завязанный на память на облаке Сивиллой.
 В тот миг и поняла я, что ныне вышел срок.

И с этим пониманьем забыла я иное.
 А белый свет вздымался и тихо шел на спад.
 Как в забытье, впадала я в бытие земное.
 И два крыла срастались, как рубище до пят.

И так я шла по миру, приметна лишь старухам,
 Что в острых складках рубищ привыкли зреть свое.
 И крылья пропитались земным полынным духом,
 И мне земля и небо сказали: «Узнаём!»

Еще они сказали: «Как мучиться ты будешь,
 Как мучиться ты будешь, любя и свет, и прах,
 И в солнечной утробе, укрытой в складках рубищ,
 Вынашивая сына, как память о крылах».

Так мне они сказали моими же устами,
 Сказали, что умру я и буду гнить в земле.
 И я сказала: «Слава! И прах мне пухом станет!
 И светом оперится душа моя во мгле!»

* * *

С опозданием на целую жизнь
 Этот ангел приносит письмо.
 Отвяжись, почтальон, отвяжись!
 Обернись напоследок и смой

Ту оглядку ноябрьским дождем...
 Вот теперь-то заварим мы чай...
 Вот теперь-то и мы подождем
 По ночам... по ночам...



Записки актрисы

ЗАКАДРОВЫЕ СТРАСТИ-МОРДАСТИ

Фестиваль «Шок» в городе Анапа. Одни наслаждаются морем, встречами со зрителями, болтовней с коллегами, другие из любопытства впиваются в экран, смотрят рекомендованные фильмы или так называемые «свои», где сам участвовал.

Самые главные люди — это члены жюри. Мы их называем героями, потому что с утра до заката солнца они должны честно, без отлынивания просмотреть четыре-пять фильмов. Они и едят отдельно от нас, и в море купаются отдельно, потому что, не дай Бог, раскрыть тайну дискуссий о фильмах до момента награждения. Куда там!.. Все равно просачивается. С середины фестиваля уже витают ориентиры, намеки и собственные предположения.

Люди — навсегда дети. Ну, ты ему хоть эскимо на палочке дай, но отметь, поощри, выдели... И вот кувыркались, кувыркались разные фильмы на экране фестиваля, да и смело их прочь из решающей битвы за призы. В финал выходят две картины: «Барышня-крестьянка» по А. С. Пушкину режиссера Алексея Сахарова и «Ширли-мырли» Владимира Меньшова.

Наблюдать за финалистами было одно удовольствие!

Сахаров, тучный, добрый, с влажным лбом, все курил и курил, ходил и ходил по коридору неподалеку от просмотрового зала. (За дверью шла азартная игра — просмотр фильма при полном аншлаге.) Смолоду мечтал похудеть — и никак! Так и остался милый «бегемотик» — медлительный, вежливый и очень талантливый. Я у него снималась в фильме «Случай с Польшинным» — именины души! Знает и свою профессию, и жизнь, и людей. К примеру, привез он съемочную группу аж в Сибирь. Фильм этот был у него первый по счету. И вот первый съемочный день, знакомство с коллективом, и надо не ударить в грязь лицом при первой разводке кадра. Кругом заснеженные кедры и непроходимые сугробы. «Светики» и «технари» ждут, куда волочить нешутейную по величине и весу «амуницию». Леша и так, и так объясняет оператору, возле какого кедра обосновываться. Оператор смотрел-смотрел на красавцев кедрочей и не понимал, какой из них тот самый. Леша оглянулся, пошарил глазами, увидел спасительный плотницкий топорик и запустил его вперед. Топорик пролетел метров восемьдесят и воткнулся в ствол дерева.

— Видишь? — Белозубый Леша, с красным от мороза лицом, улыбнулся.

Съемочная группа восхитилась его мастерством. Зауважала. Познакомилась... Личный пример — это сила, это основа.

Вот и сейчас на фестивале Алексей Сахаров личным примером призвал наконец бросить всяческую бузу, мутившую в последние годы киноискусство. Он выставил фильм, на котором мы будто испили ключевой воды, надышались свежим воздухом, напитались чем-то нашим, родным.

После просмотра облепили его с поздравлениями. Сенсация! Леша, взволнованный, оглядывал всех с благодарностью. Коллеги признали и поняли: блестящий фильм! Я расплакалась.

Растеплился фестиваль. На обеде обнимали создателя фильма. Те места за столом, где сидели режиссеры картин о «сексе с трупом», были пусты. Об этих не будем.

Назавтра выставлялась картина Владимира Меньшова «Ширли-мырли».

Прочитав сценарий, я отказалась сниматься. Еще бы! Володя сказал, что роли нет, но я должна прийти и «привнести».

— Да не привнесешь, Володя! Если нет, на чем привносить...

— Ну ты... сможешь. Заплатим хорошо... Три миллиона.

Я замолчала в раздумье. Три миллиона! Я и не держала в руках таких денег тогда: перестройка шла, денег не хватало, талоны появились...

— Согласна?

— Согласна.

Ну ничего! «Пропутаню». Бочком, бочком, незаметненько и отработаю.

На съемках всячески увиливала от кинокамеры, потому что артисту необходимо конкретность в действии. А этого нема! Меньшов — настырный: то рюмку даст поддержать, то велит станцевать с «послом». Хорошо, что спиною. И набралось «гениальной» игры — не нужной ни мне, ни зрителю. Особенно торт, брошенный мне в лицо...

Три миллиона отсчитали и разошлись по-хорошему. Больше никогда не буду сниматься за деньги!

Остальные работали с душою, каждому было, что играть.

И вот Анапа, фестиваль. Володя на просмотр не явился. Его видели купающимся в море в одиночку, потом отдельно от всех на ужине. Несмотря на аншлаги в просмотровом зале и на успех в Москве в кинотеатре «Россия», он знал, что после фильмов «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит» планка успеха резко упадет вниз. Так и вышло: «Ширли-мырли» кинематографисты приняли спокойно и тихо. «Барышня-крестьянка» смела с пути и этот фильм.

Видим, Меньшов является к обеду, ужину один, ни с кем не общается... Обиделся! Как мальчик — обиделся... На рейде стояли корабли. Моряки с удовольствием приглашали к себе на творческую встречу тех, кто свободен. Володя деловито уходил к машине, присланной за ним, к вечеру возвращался. Морякам до лампочки оценки фестивалей! Главное — увидеться с известным актером и режиссером. Однажды Володя приходит к обеду, держа в руках подарок — бескозырку. Слегка просветлело лицо «поверженного героя».

Когда улетали, он с благоговением поставил в проходе самолета спортивную сумку, в которой сверху лежала бескозырка. Через проход возле сумки сидела я. Мы разговорились с ним и с его соседкой по креслу Инной Макаровой. Инна защебетала что-то о необходимости выпить водки. Чего там говорить, все побаваются летать на самолете, а рюмочка-другая снимает страх. И правда — выпили, осмелели. Набрали высоту, табло погасло. Вижу, как протискивает себя между креслами Леша Сахаров. Он, наверное, вспомнил мои восторженные слезы, когда я поздравляла его с картиной, и решил потолковать обстоятельно. Он дошел до меня, неся две рюмки водки, как в светском собрании. Неторопливо уселся на сумку с бескозыркой и подал мне выпить. Мы чокнулись, выпили, я увидела, что Леше хорошо. Он приготовился к долгому разговору со мной. Тем более давно не виделись. Друзья все же.

— Леша! — закричал Володя Меньшов. — Леша! Встань, встань! Ты сел на мою сумку!

Он взял его двумя руками за локти, но куда там! Леша блаженно курил сигарету, затянулся дымком и приступил к беседе. Володя, негодуя, попытался поднять его, но центнер не поднимешь, тем более «расслабленный» центнер...

Тут Володя сбивает его собою вбок, Леша не замечает, как оказывается на ковровой дорожке, и продолжает беседу. В гневе Володя, чуть не плача, берет в руки искореженный подарок. Мнет его, выпрямляет, но тщетно — бескозырочки не стало. Сел, уперся лбом в иллюминатор, так до посадки в Москве ни разу и не повернул лица в салон.

Неподалеку сидел маститый, богатый и славный актер театра. Я смотрела на него: важный стал, тихий, степенный, семейный. А раньше бывало — разлетайтесь кто куда! Чуть что — в драку. Из Сибири приехал — когда и рюмочку примет, а когда и вторую. Большой, мускулистый красавец шахтер встал перед экзаменационной комиссией да как крикнет, расставив руки: «Не шуми, мати зеленая дубравушка, не мешай мне, добру молодцу, думу думать!» Талант пришел, человек из народа пришел, от самой русской земли... Весь женский род задохнулся: выбирай любую! А ему только роли учить да книги читать в обще-

житии, по всем предметам сплошные пятерки. На семестровый экзамен Сталина сыграл. Еще больше тогда актер славился, если вождя сыграет. А он — и Кирова, и дядю Ваню, и Эзопа. Уж так внимательно слушал режиссера — хоть в кино, хоть в театре. Сам такой буйный, неумный — в ролях, а в жизни — мягкий, нежный и... суровый.

Явление в искусстве становится известным еще на корню, то есть еще во время учебы. Разные театры и студии приглашали его в штат, а он не мычит, не телится, будто что-то задумал. А задумал не он. Задумала зазноба из Харитоньевского переулка. Красивая, чопорная однокурсница, обиженная актерскою судьбою. Таланта в ней ни на копейку. Она металась, искала себе применение, но... Один раз даже Надежду Крупскую пыталась сыграть в учебном спектакле о революции — не получилось. Хотели отчислить за профнепригодность, но она вступила в партию, и ее оставили учиться до конца. Дальше задача была полегче — приручить этого шахтера в штопаном свитере и кирзовых сапогах. Стали они иногда исчезать и жить на ее барской двухэтажной даче. Машина «форд» привозила и увозила их. Он ничего такого сроду не видел. Не заметил, как оказался в золотой клетке. Что делать?! Захотелось на волю. Бросился в общежитие, к своим. Наварил картошки, бутылку поставил и пригласил ребят «на возвращение». Уж так баловался с ребятами, так щекотал девчушек — любо-дорого.

Но ненадолго, вернулся. Началась игра — перетягивание каната. Один раз даже ее мамаша пожаловала за ним на машине. Он опять поддался комфорту: отмылся хорошенько, отъелся, отпился, а в понедельник утром — «по-над забором, по-над забором — и до Колчака». От этого перетягивания каната защищался только неистовой работой в театре и в кино. Вскоре стали вручать ему ордена, звания, вплоть до Ленинской премии. Отменный актер и сейчас. Я с ним не раз снималась в разных фильмах, у нас до сих пор приятельские отношения.

Привезут, бывало, его на съемку, а он ляжет на траву и, глядя в небо, как заорет: «Ой, девочки! Ой, как с вами хорошо! Вы, как картошка, никогда не доедите!» Однажды после такого вступления помолчал, потом тихо сказал: «Тяжело мне живется... Ну я когда-нибудь расскажу...» Вдруг вскочил как ошпаренный, красный как рак, и закричал на весь лес:

— Сейчас вот Ленке проспорил бутылку — не на что купить! Не на что! Меня из дому выпускают с рублем, не поверите? Правда. У нас целый дом фарцы всякой, спекулянтов... Только и слышишь: «Шуба, сервиз, ковер, дубовый паркет...» И никто никогда не спросит: «Не тяжело ли тебе играть главные роли в кино, в театре?» И на ра-ди-о теща не рекомендует отказываться!.. Валидол сую в рот... Вот только с вами и отдохнешь... Втянулся я... Она баба неплохая, но больно клетка золотая... С вами лучше...

Приезжаю я как-то в Касимов на съемки, останавливаюсь в Доме крестьянина, бывшей церкви, глядь — старинной массивной ручки на двери уже нет.

— Да тута ваш артист был, ручищи большие, сильные... Он ее и свернул... Два мешка церковной лепнины набрал. Сказал — для дачи. А мне что? Церква заброшенная. Все растаскали... Не охраняется.

Догадалась я, о ком речь. Значит, свыкся окончательно с золотой клеткой.

Так он и ужил с женой, сделался солидный, важный. Преподает, ставит спектакли. И вот заворачивается грандиозный фильм. Орава известных актеров приглашена со всей страны. Он на самую главную роль.

Для съемок выехали в экспедицию, расположились среди русских красот средней полосы.

Утром за завтраком появляется буфетчица. Модно одета и накрашена. Игриво облизывает губы, спрашивает: «Что прикажете?» Посмотрела завлекающим взглядом на нашего героя: «Ой, какой вы!» Покраснела, прикусила пухлые губки.

— О-те-то-да-а! — оценила ситуацию пожилая с юмором актриса. — Откуда вы, такой пончик? Как вас зовут?

— Ничего особенного, Зина. — И залилась звонким смехом: — Зин, подика в магазин! Ха-ха-ха!

— А выпить у вас есть? — спросил он.

— Для вас любой каприз! Ха-ха-ха!

Съемочная группа насторожилась, зная об очень редких, но метких запоях маэстро. Пропустили момент, когда буфетчица Зина и маститый артист с корнем были вырваны из земли и похищены неведомой силой. Паника. В мегафоне звучит призыв искать. Облазили все улицы и дворы деревни. Вдруг в один из вечеров главный «сыщик» — помреж, глядя на компас, уверенно сообщил: последний раз его видели ночью, когда он перебежал шоссе, а потом махнул мимо пахоты.

Режиссер тяжело дышал, глядя себе под ноги. Каждый день простоя стоил больших денег...

— Чего вы ищете? — спросила проходившая мимо бабка с ведром. — Артиста?

— Да! Где он?

— Где она, там и он, — ответила бабка и рукой указала на окна избы.

В избе на столе натюрморт длительного запоя. Укрытые тонкой простыней гуляки спят крепко...

К вечеру примчалась жена, подогрела воду, помыла своего амурчика мочалкой с мылом. Пооди ж ты! Талантливый, бурный в разговорах, интересный и остроумный, он при виде жены моментально затих. Ничего из себя не представляющая жена убедила муженька, что тот Богу должен молиться за подарок в лице супруги. Это она снизошла до него, подарила себя ему.

Съемки идут. Жена сидит под деревом, от мух отмахивается, а Зинка в купальнике загорает неподалеку. Вдруг наш ненаглядный наклонился над плотницкими инструментами, собрал в кулак штук шесть гвоздей-двухсоток, засунул за ремень молоток, деликатно взял свою супругу под руку и повел на второй этаж дачи, где они квартировали.

Слышатся мощные удары молотка, потом наш герой спускается и кивком головы подает Зинке знак к отходу.

— Дорогой! — кричит режиссер.

— Креста у тебя на животе нету, — отвечает ему «дорогой» и тает с Зинкой в зарослях.

Что за фокус? Оказывается, жена заперта на втором этаже — вернее, замурована за забитой дверью, а нашему герою — несколько часов свободы от всего и всех...

А между тем Москва свои жернова крутила. Как-то зазвонил телефон.

— Нонночка! Наш кинотеатр «Космос» устраивает юбилейный вечер, творческий отчет героя вашего фильма.

— Отлично... А я при чем?

— Ну как же! Вы в стольких фильмах с ним встречались! Расскажите, вы можете...

— Хорошо, я согласна.

Времени было еще достаточно, но дама из кинотеатра дергала меня чуть ли не каждый день, да и не только меня — всех почти из нашей съемочной группы.

— Раз сказала — буду.

И вот по закону подлости ближе к юбилейному вечеру ненаглядный наш и канул со съемок с буфетчицей.

Я ничего не знаю, продумываю, что надеть, как выглядеть хорошо, что сказать...

В назначенный день долгожданный звонок.

— Нонна Викторовна, мы вышлем вам машину к семнадцати часам, начало в восемнадцать.

Выхожу, сажусь, еду... Водитель молчит. Чувствую, витает напряженка. Подъезжаем. У входа стоит бледный, словно мелом припудренный наш администратор Эдик.

— Что с тобой? Ты болен?

— Хуже.

— Юбилей-то будет?

— Обязательно, но... без юбиляра.

Мы переглянулись с пришедшими актерами... Стали думать.

— Ну, Нонна, что вы, не выкрутитесь? Такая бригада!.. Я предлагаю так: все выходим на сцену, аплодируем и садимся на стулья под экраном. Вы по очереди будете рассказывать о нем все, что только можно. Шалевич пусть, как от театралов, начинает, а ты, как от киноактеров. Я за это время съезжу в Монино на съемки и упаду в ноги режиссеру, чтоб отпустил его на вечер.

— А почему так уж падать? Всегда отпускают. Что мы, его съедим, что ли?

— Вы же знаете, какой режиссер вредный! Он никогда не отпускает актеров из экспедиции, кроме как на спектакль. Ладно, ребята, я поехал, а вы начинайте.

Первый выступающий задал стиль неспешной дружеской беседы. Из кабинета администратора несло винегретиком и жареным луком...

— Ничего, выкрутимся!

Выходили мы друг за дружкой, говорили, говорили. Зритель доволен, слушает, аплодирует. Мы и по второму разу подходим к микрофону. И когда вконец обалдели, я как раз стояла у микрофона, слышу: сзади стул скрипнул, — обернулась. Эдик садится. Я выразительно глянула: «Ну, как?» Он отрицательно покачал головой: «Не отпустил».

Потом Эдик встал рядом со мной, зааплодировал, зал тоже... И сказал: — Дорогие зрители: съемки закончились, актер переодевается — и сразу к вам. А чтоб время зря не проходило — сделаем небольшой перерыв и покажем вам двухсерийный фильм с участием нашего героя.

Публика вышла в фойе, а мы — к винегрету.

Кончился перерыв, и Эдик попросил меня объявить фильм.

— Ой, я боюсь! Мне кажется, они стащут с меня юбку и начнут лупасить за обман.

Выхожу на сцену, а зрителей-то всего человек пятнадцать осталось, а ведь был полный зал. Может, обман почуяли, а может, просто утром рано на работу, да и всегда в Москве с транспортом проблемы...

Разные характеры и всякие ситуации бывают в кино. Он, актер, потом и сам мучается, стыдится своего поступка. Зато как отлетит в дали дальние, в думы творческие, то и не вспомнит ни о каком таком случае, и люди радуются, глядя на экран или на сцену: он ли это? Откуда такой талант в человеке? Актер рождается с запасом на бесконечное сострадание, на крайности в поступках своих и постоянную надежду. Актер не копит свои силы, не думает о безбожном расточении себя.

Наше орудие производства — душа, анализ, поиски живой крови, искренности и многого не видимого никому. Со стороны незаметно, но «прижигание» души временами бывает нестерпимо жарким. Вот и ответ тут зрителю, как мы работаем в кино. Ведь все равно, рассказывая о съемках, актер будет крутиться вокруг да около, потому что передать лепку роли, проследить за каждой стадией ее развития он не сумеет. Процесс актерской работы непоэтичен и неромантичен. Это грызня, споры, поиски и попытки, и снова попытки, то есть дубли. Много дублей. Попадание в «яблочко» — радость, восторг всей съемочной группы. Но это «яблочко» наработываешь иногда целую смену. Я не говорю о кинематографе, скатившемся к бессмыслице, когда легкой походкой ходят актеры, лежит на раскладушке под зонтиком режиссер, примитивный текст сам выговаривается, что над ним суетиться... Режиссеру остается только уловить момент, когда высказать свое резюме: «Ну что, ребятки, отстрелялись?» Потягушечки, сладкий зевок — и к машине. Дело сделано. Но зато с какими значительными лицами они, сидя рядом с вождями, слезно просят деньги на высокое и нужное народу дело — искусство кино. И таким-таки дают деньги.

Так вот, те фильмы, что десятки лет не стареют, не обесцвечиваются и волнуют и по сию пору весь мир, снимаются не так.

Надо подобраться к нам вплотную во время споров, репетиций, взглянуть в наши глаза и увидеть, как в такт сердцу бьется кончик воротника режиссера и как трудно дышать актеру, так трудно, что вопль вырывается наружу.

Например, как в «Родне» у Никиты Михалкова. Идея фильма была ясна: показать, что не надо торопиться разрушать семью, как много теряют люди, когда порывают со своей родней, с местом, где родились. Но это только кажется, что все ясно и просто... Боже, что это была за работа! Сердце иногда оста-

навливалось, режиссера ненавидела, а он неотступно требовал исполнять только так, как он видит. Такого, как Никита Михалков, можно и послушаться, но ведь не всегда. Бывало, все в тебе сопротивляется, тянет к другому решению. Ссоры были, творческая любовь была, единение и смешливость возникали обязательно, как награда за трудный рабочий день, — смех, смех и смех... Он заводной, остроумный и изобретательный. Футбол, чаепитие, гитара, песни, рассказы... И вот драка!

Началось с того, что Никите нужно было снять мое лицо с наименее трагичным выражением. Это финальный эпизод на вокзале, где провожают новобранцев в армию и я между ними кручусь с ведрами, ищу бывшего мужа, Вовчика ищу. Я твердо решила позвать его домой, в деревню, обо всем сговорились вчера. «Ведь ты же обещал... Нам надо ехать... Э-эй!» Мне сыграть надо было смятение, граничащее с потерей и гибелью. Я знала, как готовиться к такому крупному плану и как его выдать на-гора. Никита знал мои возможности, но хотел чего-то большего. (Мы слышали, что за границей кинорежиссеры сильно бьют актрису по лицу, отскакивают от камеры, и оставленная актриса «гениально» играет — и слезы ручьем, и тоска прощания. Люкс!) И вот Никита «приступил к получению» такого выражения лица, которого не было у меня еще ни в одном фильме.

Уселся, лапочка моя, на кран вместе с камерой и стал истошно орать — командовать огромным количеством новобранцев и выстраивать в толпе мою мизансцену. Я на миг уловила, что ему трудно. Мегафон фонит, его команды путают, а мы с Ванькой Бортником — «мужем» — индо взопрели от повторных репетиций. Вдруг слышу недобрую, нетворческую злость в мой адрес. Орет что есть духу:

— Ну что, народная артистка, тяжело? Тяжело!.. Подложите-ка ей камней в чемодан побольше, чтоб едва поднимала.

Шум, гам, я повинуюсь. Чемодан неподъемный, но азарт помогает. Снова, снова и снова дубли. Чувствую, что ему с крана виднее и что-то не нравится. Для него быть в поднебесье на виду у молодежи и не решить на их глазах, как снимать, невыносимо.

— Ну что, бабуля, тяжело? А? Не слышу! Подложить, может, еще?

— Мне не тяжело! — срывая связки, ору ему в небо. — Давай снимай!

— Нонна Викторовна! Делаю картину я. Могу слезть и показать вам, как нести тяжесть и в это же время искать свою надежду, своего мужа Ваню. Где ты, Иван?

— Здесь я! — с готовностью кричит Ваня Бортник.

— Вы видите его, народная артистка? Или вам уже застило? Да, трудно бабushкам играть такое.

Я поставила тяжеленные вещи и устремилась к вагончику. (На съемке у нас вагончик — комната отдыха.) До сих пор не могу понять, как Никита почти опередил меня, и в тот момент, когда я стала задвигать дверь, он вставил в проем ступню и колено. Не пускает. Я тяжело дышу, вижу, что и он озверел. Ткнула его со всей силы кулаком в грудь — не помогает. Схватила за рубашку, посыпались изящные пуговички с заморской пахучей одежды. Тут я пяткой поддала по его колену и, ничего не добившись, кинулась на постель.

Сердце вырывалось из ушей.

Секунду он постоял молча, потом закрыл дверь и вышел вон.

Через некоторое время входит Павел Лебешев, оператор.

— Нет! — вскакиваю. — Уезжаю в Москву! С этим козлом я больше не знакома.

К окну подъехала «скорая». Она всегда дежурила у нас на съемке. Пока врачи щупали пульс и готовили укол, я орала на весь вокзал:

— Уйди, Пашка! Не будь подхалимом. Сниматься больше не буду! И его духи больше нюхать не буду.

Пашка садится на противоположное сиденье и говорит:

— Понимаешь, сейчас отличный режим...

— Не буду!

— Солнце садится, объемность нужная!

— Не буду!

— И отменная морда у тебя...

— Не буду! Отстань!

Он встал, попросил сообщить, когда я буду готова продолжить съемку. У меня мелькнула реальная, практическая мысль: «Морда отменная, режим натуры отменный, надо скинуть этот кадр...» И, придерживая ватку на месте укола, я встала как вкопанная в кадр.

Боковым зрением вижу: к камере подходит Никита.

— Значит, так...

— Молчать! — ору я. — Пашке говори, а он — мне! Через переводчика, понятно?!

Подходит Павел.

— Сейчас мы снимем крупный план, где ты зовешь мужа.

— Хорошо, — говорю. — Давайте. Ваня, ты здесь?

— Здесь.

— Паша! Слушаюсь твоих команд.

Никита тихо ему в ухо, а Пашка корректирует: правее, левее, туда посмотри, сюда.

— Приготовились! — кричит Никита.

— Приготовились. Начали, — тихо говорит Павел для меня.

Я им выдала нужный дубль и резко пошла к машине.

— Давай еще один, — попросил Пашка.

— Обойдетесь! Небось на кодаке снимаете. Я сегодня Род Стайгер, даю один дубль!

В гостинице долго стояла под душем, пытаюсь решить, что делать. Бросить картину я могла по закону. Но роль бросать жаль...

Вытерлась, застегнула все пуговички халата, слышу деликатный стук в дверь.

— Кто?

— Мы.

Это мои «товарищи по перу» — Всеволод Ларионов и местный, днепропетровец.

— Садитесь, — говорю.

Ставятся пиво, кукуруза вареная и нарезанное сало в газете. Я сучусь с посудой, достаю колбасу, вяленую рыбу, хлеб.

— Негоже позволять мальчишке так унижать тебя перед всем честным народом.

Я молча накрываю на стол, ставлю стулья. Снова стук, но уже не деликатный.

— Да-да, — говорю.

Входит Никита и прямым ходом в спальню. Такое впечатление, что и не выходил из нее никогда.

— Нонночка, — зовет меня. Я не гляжу на него. Он еще раз: — Нонночка...

Обернулась, вижу красное, мокрое, в слезах лицо, тянет ко мне ладони, зовет к себе. Я посмотрела на сидящих, их как корова языком слизнула.

Так и стоим — он ни с места и я. «Нонночка», — заплакал.

Ох, негодный, таки добился! Пошла я, не торопясь, к нему, он обнял меня и смиренно застыл.

Так постояли мы, потом он сказал:

— Пойдем, милая моя. Пойдем ко всем нашим, чтоб они видели, что мы помирились.

Выходим, на Танюшку, его жену, наталкиваемся. Она взволнована.

— Танечка! Посиди у телевизора. Мы скоренько придем, — говорит Никита.

С криками «ура» нас принимали, целовали, угощали, пока Таня не крикнула:

— Никита, тебя Берлин вызывает!

Хорошо, когда у режиссера жена не актриса. Уютно в экспедиции, чисто-сердечно поболтать можно, потискать маленьких еще тогда их деток. Танюшка — переводчик и в прошлом фотомодель. Что я ей? Чем лучше работаю, тем как бы лучше для фильма, а значит, и для ее мужа Никиты.

Но не приведи Господи с талантливым режиссером найти общий язык да с полуслова понимать и восхищаться друг другом, когда появляется истерзанная завистью его жена-актриса. Искусство, как ты сладко и как ты горько! Если способная и профессиональная актриса поглядывает на наш с ее мужем творческий «пинг-понг», для нее сильнее боли нет на свете. Ей видны все точки нашего душевного единения, наш эмоциональный подъем, наше торжество в момент достижения искомого решения кадра или эпизода. Когда это случается, удержаться от благодарной улыбки невозможно, пусть даже в это время за нами наблюдает жена. Это всесильная ревность и всесильная измена жене-актрисе. Разве можно сравнить чувственность к мужчине с чувством совместного достижения взаимопонимания в творчестве? Искусство сильнее всего.

Жена-актриса готова броситься с обрыва не от земной ревности, а от торжества ее от этого локомотива искусства, который мы ведем сейчас без нее.

Мне частенько приходилось испытывать на себе ревнивый взгляд жен-актрис. Я не находила способа унять их муки.

Но один случай был вселенский. Не знаю, почему меня избрала для своих терзаний та актриса. Я в фильмах ее мужа снималась редко, и то в эпизодических ролях. Перед ее глазами была масса женщин, и наших, и иностранок, в десятках фильмов мужа. И сама она снималась у него. Так чего ей? Как случилось, что я задела ее сердце, заставила страдать, ревновать, завидовать? Не отрицаю: между мной и режиссером возникли единение и понимание, когда я тютелька в тютельку исполняла то, о чем сговорились. Волей-неволей торжество выражалось на наших лицах. Ну как бы это все объяснить поточнее... Пришел ко мне телевизионный мастер настроить новый телевизор. Сел к нему лицом, стал пальцами перебирать, как по клавишину, заулыбался: «Ищет, ищет, милый...» Совершенство аппарата восхитило мастера, и он улыбнулся. Вот наконец я и добралась до характеристики творческой близости, тяги и благодарности друг другу.

Так вот, запускает муж очередной фильм, и жена узнает, что одну из ролей он хочет поручить мне. Представляю себе, какая завертелась история! На подушечке, лежа с мужем, много можно чего наворковать. И ворковали во все века. Вплоть до разжигания войн... Пользуясь подушечкой, жена переправляет весь фильм снимать «за кордон», хоть он весь из русской жизни, а мою роль беретса исполнить сама.

Искусство, жестокая ты вещь!

Помню, ездила я по Сибири с творческими вечерами. Машина теплая, водитель Иван Герасимович, упорный такой. Гололед не гололед — гонит с любой скоростью. Надо поспеть. Люди ждут. Неразговорчивый: налег на руль — и вперед. Я все же сумела распознать, что у него пятеро детей, живут в маленьком поселке, жена валенки катает на фабрике, а дети любят рисовать. В каком-то городе накупила цветных карандашей и альбомов для рисования. Купила не от щедрости, а от воспоминаний детства. Собственно, и вспоминать было нечего: этого добра у нас в детстве не было. Когда уже в старшие классы пошли, и то лекции писали на ненужных книгах между строк... Я покупала все это и представляла онемение детишек при виде альбомов и цветных карандашей. А запах... Сейчас повсюду есть бумага и краски, но дорого, а их пятеро, и они любят рисовать.

Потом заехали мы на какую-то ферму. Я раздухарилась, выступаю, народ доволен. Перед дорогой не только ужин был, но и убийственный подарок. Сначала гром аплодисментов, потом вижу: дом едет на колесиках размером с собачью будку. А это не будка, а огромный торт-теремок. Вот это да!

Водитель с каким-то дяденькой хорошенько пристроили торт на багажник на крыше. Мчимся дальше. Я сперва сама мозговала свою мысль, а потом и Ивану Герасимовичу сообщила:

— Решила вашим детям торт подарить. Во радости будет — на всю жизнь!

— Да что вы, Нина Викторовна...

Я не поправляла его, потому что он не знал, что, кроме Нины, есть еще и Нонна.

— Не о чем говорить! Завезем торт детям.

— Спасибо, спасибо...

— Обрадуются?

— О! Не то слово!

Ну вот, отлично. Опять я не из щедрости. Я не знаю, что такое щедрость и скудость. Представилось мне чудо чудное — въезжает дом, а его можно есть. Когда я маленькая была, то мечтала, чтоб скамейка или кадушка была из конфет. Укусил и дальше пошел...

Вот и закончились мои гастроли. Вздохнула с облегчением, приустила я за восемь дней. Подъезжаем к вокзалу. Провожаящих немного, но есть. И из местных руководителей, и просто зрителей. Обычная вокзальная суета, размещение по купе. Сердце екнуло: не забыть бы проститься с Иваном Герасимовичем.

Поезд цокнул колесами и тихо начал двигаться... Я увидела машущую руку своего водителя и то, как он спускался по лестнице в темноту. Крикнула ему что-то на прощание. Чую, беспокойно у меня на душе. Поезд маленько ускоряет ход. Вспомнила: торт!

— Стойте! Стойте! — кричу во все горло.

Проводница с недоумением взглянула на меня.

— Миленькая, остановите! Он забыл... Понимаете, торт для детей забыл.

— Не могу, дорогая, не могу.

— Остановите!

— Не хулиганьте! Думаете, если артистка, то вам все можно?

Из купе высунулись люди.

Я побежала к стоп-крану, дернула рукоятку вниз, а сама прыгнула на ходу на заснеженный кустарник. Тапочка по пути слетела с ноги — черт с ней! Вижу, Иван Герасимович протирает стекла машины.

— Ива-а-ан Гера-симович!

Он выпрямился, пшикнули тормоза всего состава, а я, едва дыша, ругаюсь:

— Ну как же вы забыли торт?!

— Я не забыл... Неловко было без вашей команды.

— Так бы и уехали?

Поезд стоит...

— Быстрее в машину! — скомандовал он. — Простыть в наших краях ничего не стоит.

Я юркнула на сиденье рядом с ним, и мы поехали к моему вагону.

Несколько железнодорожных фуражек появились возле вагона. Как могла, ерничала, умоляла, просила. Иван Герасимович вошел в вагон и попросил помочь вынести торт на перрон. Фу-у! Вот теперь до свидания... «Так это такой торт?!» Я только молча кивнула. Душа начала успокаиваться, но ни одна дверь не открылась, никто не пригласил на чай. Проводница и та успела сообщить: «Чай будет утром».

Слышу: «Что хотят, то и делают», «Ну, это же Мордюкова», «Самолет остановит», «А что ей!», «Такие торты получать!». Я поменялась с одной дамой, чтоб укрыться на верхней полке. Укуталась одеялом и стала «думу думать». Представила, как дети раскроют глазки, им будет непонятно, что калитку от заборчика можно положить на тарелку и съесть.

«Дающая рука не скудеет», — гласит мудрость. Насчет отдать, подарить, помочь — это я всегда готова. Наверное, и дающая душа не скудеет. Уж так хочется до донышка выложиться в каждой роли, чтоб аж подрумянилась, как хлеб... Тогда и подавай зрителю.

Колеса поезда мягко постукивают, а я взялась подхваливать себя, чтоб снять неприятный осадок («Такая да растакая эта Мордюкова!»). «Да, — говорю себе. — Ей все можно! Остановила поезд, видите ли...»

Ну, не выходить же мне в коридор и не сообщать всем, что детям торт подарить хотела, радость доставить...

Я еще и не то могу... Знали бы вы, как прекрасный режиссер Григорий Чухрай («Баллада о солдате», «Чистое небо») приступал к фильму «Трясина». Сколько актеров мечтали в нем сняться! Сценарий, роли заморозили всех. Жанр — трагедия. Ну, сначала, как обычно, кинопробы. Режиссер пригласил на них шестьдесят актрис. Но даже репетиции и пробы были интересны. Старались, искали, находили. Лишь Людмила Гурченко посчитала это унижением и добровольно вышла из «очереди». Да еще одна актриса, боевая, физически

сильная, додумалась пойти к жене Чухрая, пыталась убедить ее в том, что была не в форме и поэтому сыграла на кинопробе плохо. От этого Григорий Наумович остыл к ней окончательно и вычеркнул из претенденток. Семь раз я играла самые трудные, самые драматические эпизоды. Как-то не выдержала и завыла:

— Я не доведу, не дойду, больше не могу...

Так горько рыдала в темном павильоне, что чуть не потеряла сознание.

— Дойдете! Кто другой не дойдет, но только не вы...

С театром мы поехали на гастроли. И от синего моря и красот юга дважды приходилось выезжать по телеграмме в Москву на пробы.

«Опять к Чухраю?! Он сошел с ума», — сказал на проходной студии редактор Карен. А я сдаваться не хочу. Вдруг?! Меня вся группа жалеет, обещает — скоро конец, мол, пробам.

И вот однажды — я стирать собиралась — звонок. Мыльной рукой взяла телефонную трубку: меня утвердили на главную роль.

Машинально подошла к ванне с замоченным бельем, села на табуретку. «Молодец, Нонна, — сказала я себе. — Победила!»

ДУРКА

Ой, чай малиновый,
Один раз наливанный,
Один раз наливанный,
А семь раз выпиванный...

Ой, чай малиновый! Хорошо тому, кто родился в капусте... Тихий, добрый хутор. Трудовой народ нажарился за день на солнце, накрутился в поле досыта. Ночь пришла. Угмонились, млеют в постелях. Глаза закрыты, думу думают, «убаюкалку» поджидают. Вот она уже слышна. Знакомый сипатый голос приближается и мурлычет из года в год одно и то же четверостишие. Это блаженный Коля-Портартур. Появился он здесь с незапамятных времен, как и хутор. Люди уважают Колю — боязно брать на себя право оценивать тайны внутреннего мира нормой привычного типа человека. Всех устраивает его простая сущность, в которой только и есть что послушание, беззащитность, трудолюбие и всегдашнее ожидание поозоровать с детишками.

— Коля-я-я! Скажи «Порт-Артур»!

— Па-га-гуй! — счастливо выкрикивает он, предварительно поставив ведра с водой на землю.

— Покатай, Коля (на плечах)!

Он выставляет указательный палец и отвечает: «Ни-изь-ля! Ни-изь-ля!» Дескать, дело на безделье менять нельзя.

Наутро хутор как мертвый — все до единого в поле: страда. Печлю, тишина. Мне девять лет. Я посажена мамой встретить самый-пресамый дорогой груз...

«Не пропущу, мамочка! Я тебя люблю, и то, что везут, мне тоже позарез нужно. Я тут, у хаты. Я жду!» Сижу, не шелохнусь, позволяю себе только кусачую муху отогнать. Вижу лишь ту часть дороги, что ныряет вниз... Наконец-то с провального места повалила пылюка! Я вскочила, прыгаю. Дядя Ваня с деревянной ногой толкает впереди себя двухколесную повозку, а на ней поперек что-то продолговатое. Будь она неладна, эта пыль, стоит на месте и не дает как следует увидеть обнову. Вижу наконец прилипшую к мокрому телу майку и качающегося от хромоты человека и понимаю: поперек повозки лежит шифоньерка!

— Шифоньерка! — кричу я.

Дядя Ваня заводит повозку во двор и ставит красавицу в тень под яблоню. Обтирает пыль, достает рисунчатый гребешок и надевает наверх. В гребешке выжжен кораблик.

— Ну вот, Петровна попросила... Сама и рисунок составила.

— Мама не составила рисунок! Она срисовала у Кукаречихи в городе!

Дядя Ваня набрал воды ковшиком из кадушки и, припав к ковшу, замер. Высосал весь ковшик, крикнул, сел в тень и стал крутить сигарку. Я вынесла из хаты железную коробочку из-под зубного порошка. На ней негр смеялся большими белыми зубами. Мама любила чистить зубы щеточкой.

— Вот вам деньги. Мама наказала взять, сколько надо.

Он достал все деньги из коробочки, потом часть из них взял, а остальные положил на место.

— На, поставь, куда следует... На что оно, такое высокое?

Как в городе! Мама сказала: «У нас будет шифоньерка. Как в го-ро-де!»

Отец по ее просьбе поставил обнову углом, как икону, и от нее мама протянула к двери домотканую дорожку. Жизнь стала интереснее. И вставалось утром, и ходилось как-то по-новому: глянешь на шифоньерку — и сердце радуется. Мы стали другие — по хате дух богатства и красоты стал летать. Первые дни я и из дому не хотела выходить, потом привыкла, стала бросать шифоньерку и бегать с детьми на край села.

— Е-е-дут, е-дут!

Мы наперегонки. Это на арбах наши мамы с песнями возвращаются с работы. У каждой в торбе засохшие крошки хлеба. Считалось — от зайчика. Мы верили и уплетали с радостью — как же, от зайчика! В сельпо дети не ходили, потому что деньги нам еще не давали. Конфет ни у кого никогда не было, вместо них стояла патока на прилавке...

И на тебе — попадаем в сельпо! В нем не сразу приморгаешься. Окон нету — лампа керосиновая висит, да двери здоровенные разведены по сторонам. А приглядишься, тут и увидишь: хомуты, сбруи, коромысла, платки, материя, бусы. Поправей — соль, уксус и пряники.

Вдруг в раскрытую настежь дверь заглянуло солнце. Я испугалась, слезы подступили к горлу... Ой, Боже ж ты мой! Откуда оно, это чудо? Висит и светит синим-пресиним огнем!.. Это матросочка из такой материи, как у мамы платье, кашемировое, праздничное. Юбочка в крупную складку, кофточка с флотским воротником. Манжеты и воротник окантованы белой и красной тесьмой. По синему полю да по шерсти шелк белый и синий. И главное — белая тесьма с палец шириной и рядом красная, как узкая соломка!.. Тут солнце зашло за двери, сумно стало в сельпо, предметы попрятались, но матросочка светилась синим фосфором, сопротивляясь темноте.

Тут и началась моя никому не известная трагическая жизнь. «Мамочка, были б мы с тобой счастливые люди, если б матросочку купили...» Я стала каждый день захаживать в сельпо, чтоб проверить: не купил ли кто? А может, это как пояснение для людей — учитесь шить?

Сидим ли мы в канаве, купаемся ли в реке — где только нас не носит! — матроска не отпускает мою душу. Залезли как-то на высокую грушу. Жара. Двор пустой. Листья шлепают зеленым глянцем. Одинокая бабка спряталась от жары в хату да и прилегла. Мы — с дерева вниз. Откушали огурчика, увидели печку, на ней чугунок. Подползли по-пластунски, жменями подчерпнули хлебки — не понравилось: сильно рыбная. А «сторож», собака Шарик, вот-вот сдохнет, но раз среди людей, то еще живой. (Это мы таращим глаза, орем, требуем помощи, когда нам плохо, а собаки уходят с глаз долой, пропадают безвозвратно.) Ох, Шарик, Шарик... Кости местами оголились, шерсть вытерлась. Хочет залаять, а получается «пук». Посмотрит в сторону хвоста и вздохнет печально. Большой, нескладный, из последних сил пытается встать, чтоб оправдать роль сторожа. Вынимает из-под себя одну лапу — кость, потом вторую; мордой по земле мажет, стараясь ее приподнять. С великими муками встает на все четыре лапы и — хах, хах — тут же падает.

Перед сном жалко стало Шарика, и мама отвлекла меня хорошим, родным голосом. «Эх, не успела заснуть», — посетовала я. Сейчас поставит мои ноги в таз с холодной водой. «Ножки мои, ножки, и кому ж вы только достались?» Я канючу, зеваю, вскрикиваю, когда она ногтем большого места касается. Падаю, погружаюсь в глубокий сон, а мамочка еще вытирает мои непутевые ноги.

Наступает утро, пахнет молоком, оладьями и зубным порошком.

— Дочка, вставай, поедем в степь. Там начальство из района будет, сделаем маленький концертик. Ты закончишь.

— Ой, мама, мамочка! — вскочила я.
 — Шо таке? — напугалась мать.
 — Мама, я поеду в степь... но, мамочка, сперва в наше сельпо зайдём.
 — А чего мы там не видали? Ну, зайдём, все одно мимо.
 — Тетя Ася, — кричу я, — открывайте двери!
 — Шось горыть?! Чи шо? — отзывается продавщица.

Мы заходим. Матросочка на месте. Вроде туманом взялась, живая...

— Мама, бачишь?

— Бачу, дочка.

Мама услышала от меня просьбу такого рода впервые. Она спокойно оглядела матросочку и попросила продавщицу подать ее.

— Дорого, Петровна. Дуже дорого, як за платье на здорову людыну. — Мама неторопливо взяла мою мечту, понюхала, оставила на вытянутые руки и цокнула языком.

— Якая кра-со-та-а...

Она разложила матроску на прилавке и с легкой улыбкой задумалась.

— На шо она тебе? По огородам лазить и чужие груши рвать? — решила поддержать маму тетя Ася.

— Побудь тут, дочка. У батька там шось есть...

Она пошла быстрым шагом, а тетя Ася, увлекшись авантюрой, предложила:

— А ну, давай померяем.

— Нет! — крикнула я. — Мерить не надо — подходит! Понятно?.. Ну, ладно, давай померяем!

Я пришла к себе матросочку, понюхала, как мама, и быстро поменяла сарафан на чудо-обмундирование. Тут и мама вернулась. Я возле магазина попрыгала счастливая, мама расплатилась, и мы пошли. Я впереди, она сзади, держа в руке мой сарафан.

— Ну и матросочка... Ну и люди! Придумали такую одежду для девочки, — негромко восхищается она.

Я до самого «концертика» бегала по хатам и дворам. Просили покружиться — пожалуйста! Юбка поднималась, как зонтик.

Мальчик, медленно проходя мимо меня, грустный, с влажными глазами, шепнул:

— Мне тебя жалко...

Ему было девять лет, как и мне. Я опешила от непонятной доселе печальной ласки. «Жалко» получилось как «люблю». Кинулась прыгать с телеги на телегу, чтоб скрыть испуг и согласие с его «жалко».

В степи, на концерте, ели много, а дядьки выпивали. Мама шепнула: «Те стишки, что про Ежова, не рассказывай». «Ладно».

Угомонился хутор, лежу и я, подложив ладонь под щеку. Хороший день получился: тут матросочка, а тут еще и пацан со своим «жалко». Хороший...

Ох, и сладко Коля завел:

Ой, чай малиновый,
 Один раз наливанный,
 Один раз наливанный,
 А семь раз выпиванный...

Утром мама дыхла зубным порошком и приказала:

— Сегодня и завтра будь дома! Я в Краснодар. Завтра вечером обратно.

Днем на хуторе появились заезжие начальники. «Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону», — заорала детвора, увидев их. Посовещались начальники мимоходом в правлении, раки (местный самогон) выпили и наметом поскакали на большак. К вечеру зажурились люди. А нам и «байдуже» (все равно) — купаемся в речке Уруп. Хорошо!

Увидела своего «жалкого» — быстрее в хату. Матроску надела — и на улицу. Что это по всем лавочкам и завалинкам тетки шепчутся?

А на следующий день никто на работу не вышел — все ловили поросят на сдачу. Дурка, как всегда, первая.

Вообще-то ее звали Шурка, но после одного случая за ней навсегда закрепилось имя Дурка. Но об этом позже. Так вот, Дурка растопырила руки — и ну ловить своего шестимесячника. Поросенка и пасти-то трудно, а поймать... Он то прыгает, визжит, а то, хитрец, подлез под вагончик и ну носом толкаться в дно. Прыгнет — ткнется; отдохнет, визгнет — и опять сначала. Он будто увлекал Дурку в игру: дескать, не лови меня, лучше посмотри, как я пяточком до вагончика достаю.

Отец наш без одной ноги, стоит, опершись на костыли, и вздыхает:

— Куда его уничтожать?.. Он еще маленький. Вырос бы к зиме...

Куда там! Наказ есть наказ.

По всем дворам суета, все норовят поймать своего пороса — и в сетку. «А то еще и за рогатый скот примутся», — ворчат женщины.

Мама была председателем правления. Вернулась из Краснодара, а тут такое.

— Кто распорядился? — спросила она.

— Из района прискакали, — сообщила Дурка.

— Кто такие?

— Бэба Григорий, Кузьма Хуецкий и Хыдыный Тимоха.

Крыть нечем. Кому-то помочь понадобилась. Значит, поможем.

А вечером мы сидим с мамой на берегу Азовского моря, буксирчик ждем, чтоб утром в Ейске на базаре я тюльку продала.

Солнце село, пивнушка в три стола опустела. Мама улыбнулась и показала на соседний столик. Матрос, шатаясь, сел к нам спиной и уронил голову на кулак. Подсела женщина, вытянув к нему шею, что есть силы стала убеждать его, говорить о каком-то флигельке, где можно будет устроиться жить.

— Я буду вспоминать тебя в море, — отвечал он на все, что бы она ни говорила.

Женщина напрягалась, еще и еще страстно жулила своему собеседнику какие-то перспективы.

— Я буду вспоминать тебя в море...

— Смотри, смотри! — Мама положила мне руку на плечо.

Из-за кустов показался красавец казак Еремей. Фуражка в руке, голова опущена, на ней катаются кольца черных кудрей. Кончик шашки скребет береговые ракушки, он не пьяный, просто печальный.

— Ерема, — шепчет мама. — Свою подружку ищет.

Тут и она, Дурка, появляется из-за кустов. Села за свернутый канат. Ерема опустился на освободившееся место напротив матроса. Тот, не заметив смену собеседника, сказал погромче:

— Я буду вспоминать тебя в море.

Едва сдерживая хохот, мы пошли к буксиру. Устроившись возле чьих-то коленей, я проводила взглядом любимую фигурку своей мамы. И, глядя на воду, вспомнила вчерашнюю перепалку в правлении между Еремеем и Дуркой.

Атаман негромко постучал по столу и призвал утихомириться.

— Цыть, дамочка! Еремей, гутарь дальше!

— Ну, пошли мы на обрыв отдохнуть. Сели культурно. «Ера, мне холодно», — заявляет. Я снимаю китель, собрался накинуть ей на плечи. А она как с цепи сорвалась! Ка-ак схватит за грешное тело, я чуть не крикнул... Ну, не стерпел и врезал ей по первое число...

Дурка все это время придерживала марлю на правой щеке, а тут забыла — с синим подглазником и вздутой щекой кинулась в наступление.

— Ось, послухай, батько! Послухайте, люди добрые! Усе пошли на кладбище. Мы тоже с Еремеем. Бес попутал — хлеба забыла взять. Все взяла — и закуску, и раки взяла. Сами знаете — поминальная. Ну, он и пошел до соседней могилы хлеба взять. А там эти блидя сыру купили, стали его угощать. (Сыр, замечу, в те времена был редким лакомством.) Жду-пожду... Уже и рюмочку выпила — сердце чуть не лопається, а его чуб все ветерком колышет и колышет. Уселся — и ни с места! Я и дернула с кладбища, аж тырса загорелась. В сарае заплакала, потом заснула как убитая. Тут он и являється. Позвал на обрыв для примирения... Ну, там я не сдержалась, истинный Бог...

Дружный смех.

Атаман достал кисет, скрутил сигарку. Встал.

— Цыть! Не затем я вас позвал. Поважнее есть дело.

Все затихли.

— Так, Мешкова, назначаю тебя в гурт на Москву,— обратился он к Дурке.— Поедешь с делегатами района на получение грамоты нашему колхозу от товарища Калинина. А когда — скажу.

И вот как-то ранним утром атаман стукнул Дурке в окошко.

— Ты одна?

— Одна! С кем же, батько?

— Бери документы — и в правление.

— Якие документы? У меня нема. Паспорт у колхози.

— Метрики, свидетельство о смерти мужика.

Он ушел, а она быстренько сполоснулась, причесалась в момент — и уже на табуретке перед ним в правлении. Тут же и председатель, и парторг.

— Юбка черная есть?

— Есть.

— А кофточка белая?

— Есть, батько, прошвой вышитая.

— Шаль хорошая есть?

— Трошки потертая.

— Жинка моя принесет хорошую.

— Благодарствую.

— Завтра верхи (верхом) двинемся. Коня смирного дам тебе — и в район.

Дурка струхнула от незнания ситуации, но сработало «как все, так и я».

Так мы и жили: не дослушав как следует задания, кидались выполнять.

Приехали в Москву. Целый день они потели в одном из залов Кремля, зажатые охраной. Ни сесть, ни встать, ни воды выпить. Колхозы все шли и шли... Выкликали области, районы, деревни, станицы... Наконец наши услышали: «Мировой Октябрь» Куцевского района». Как на подбор, казаки и казачки пошли по ковровой дорожке. Аплодисменты. Красиво прошли, будто пританцовывая. Взгляды устремлены на лесенку, по которой будут подниматься. Стали подходить к сцене. Калинин улыбается, ждет, держа грамоту в руке. Поздоровался за ручку со всеми. Его улыбка была мятая и усталая, а наших распырил восторг. Дурка не просто подала руку Калинину, а и встряхнула ее как следует. В зале негромкий смешок.

— Идите назад,— шипели незнакомые люди.— Возвращайтесь...

Ну, наши с достоинством пошли к лесенке, чтоб спуститься со сцены.

И тут произошел исторический казус, о котором долго потом вспоминали в селе. Дурка подождала, пока все спустятся, и твердой походкой вернулась к центру сцены, минуя Калинина. Все изумленно замерли. А она подняла правую руку и крикнула:

— Товарищи делегаты! От имени нашего колхоза про-си-мо нас обложить хоть каким-нибудь налогом!

Тут она низко поклонилась с особым казачьим шиком: выставила ладонь и дотронулась ею до пола. Выпрямилась, поаплодировала залу и гордо пошла к лестнице. Раздалось несколько неуверенных хлопков. Никто не знал, как реагировать на эту незапланированную выходку. А Дурку окружили «вежливые», взяли под руки и проводили в комнату, где молча пили чай с баранками растертые станичники.

— Дурка ты, дурка,— ласково оценил Еремей ее поступок.

Так и стала она с тех пор не Шуркой, а Дуркой — уж очень подходило это имя к ее безотказному до дури характеру.

Много лет подряд эту байку про поездку в Москву у нас пересказывали, присочиняли, но из истории своего села не выбросили.

Найдется ли сейчас такой человек, как Дурка, чтоб бежать выполнить наказ, не дослушав, не поняв его содержания?



Вадим ДОЛЖАНСКИЙ

Небо падает в песок

Диктор

Простирая руки и волнуясь,
Диктор, с чувством времени знакомый,
Мимикой владея совершенно,
Извлекает слово из бумажки,
На коленях перед ним лежащей,
И не обращающий вниманья
На галдеж и суету за кадром,
Он играет роль, что одиноко
В этом зале, где лишь он и время.

Впрочем, мне не нравятся размеры
Этих белых беспокойных мыслей,
Потому пора за рифму взяться
И определить попутно, что же далёк
Написать хотел я.., так продолжим!
К нам с туманного телеэкрана,
Как вода из сломанного крана,
Простирая руки и волнуясь,
Диктор говорил, не повинуюсь
Чувству времени и чувству места,
Извлекая слово из бумаги,
На коленях перед ним лежащей,
Тонкою рукою, чуть дрожащей,
Защищался он, как на дуэли,
И не обращающий вниманья
На галдеж и суету за кадром,
Он играет роль без пониманья,
Что проснется в розовой постели.

Впрочем, мне не нравятся размеры.
И куда же ускользнула рифма?
Но продолжим все же сочиненье:
Нереальный, словно водолаз,
Он прикрыл устало сонный глаз.
Помните ли в ванной белый таз?
Где стоит, поскольку понарошку,
А не наяву он череп ищет?
Так вот это вовсе про другое.

Мне опять не нравятся размеры,
Рифмы нет и не было в помине.
И зачем же я вообще пишу?
Стало быть, однако, графоман!

Так закончим это сочиненье,
Чтоб оно не сделалось поэмой:

Простирая руки и волнуясь,
Никому уже не повинуюсь,
Диктор, с чувством времени знакомый,
Суетливый, словно насекомый,
Мимикой владея совершенно,
Обхватил рукой свое колено,
Незаметно смотрит на бумагу,
Извлекая новости и мысли,
Что в порядке строгом написали,
Для него готова передачу...
Одинок он в студии нелепой
Перед новостей свиным корытом.

1980

* * *

Когда-то все мы были силачами,
Холодными блестящими мечами
Мы убивали, если замечали,
Что друг нарушил правила игры.
Тогда и женщин было так немного,
Что ради каждой дальняя дорога,
И волк, присевший мрачно у порога,
И свист застывшей в воздухе стрелы.
Тогда и чувство было столь нелепо,
Что даже боги не любили слепо,
В сыром полночном полумраке склепа
Устраивали дивные пиры.
И души птичьи с тонкими чертами
(Как ангелы) летали между нами,
Сияя неземными именами,
Прозрачны — как воздушные шары.
Над нами время вроде бы невластно,
Но, как убийства сладость ни прекрасна,
Молитвы воздаются ежечасно,
Взрываются и вновь растут миры.
Над головою вдруг нашедших праздник
Парит и кувиркается проказник,
Покинувший естественный заказник —
Толпы убогой винные пары.

1980

Бред

Никого на свете нет,
По дороге едет вред.
У него кривые ноги
И в кармане пистолет.

Он жует горбушку хлеба
И стреляет прямо в небо.
Отшибается кусок —
Небо падает в песок.

И лежат его осколки,
Устилая долгий путь.
По ночам приходят волки
И пытаются лизнуть.

Но лизнуть не удастся —
На зубах хрустит песок.
Вред то плачет, то смеется,
То стреляет мне в висок.

Он совсем невыносим.
Что же, что же делать с ним?

1987

* * *

Когда ты снова возвратишься к родному очагу,
Послушай, что поет пространство на дальнем берегу.
Оно зовет тебя обратно, в твой старый сон,
Сквозь звезд серебряные пятна, хрустальный звон.
Когда ты с книжкой у камина решишь поспать,
Послушай, как поет пространство, и встань опять.
Кто внял отравы путешествий — их сладкий яд,
Тот не захочет теплой шерсти, пути назад.
И будет жизнь твоя отныне одним крылом,
Отдашь ты следствия пустыне, пещере — дом.
Ты обречен: отныне вечно тебе бродить.
Ты будешь приходить, конечно, и уходить.
И нет уже такой дороги, такой тропы,
Чтоб не несли тебя пороги вдоль темноты.
И нет теперь таких отверстий, таких преград,
Чтоб захотелось теплой шерсти — пути назад.
И будет жизнь твоя отныне собой вольна,
И цель всегда — перед глазами висит Луна...

1988

Собака

По дороге опавших листьев,
Вслед за лунным рваным лучом
Я уйду без всякого смысла,
Я уйду — и ты ни при чем.

Я уйду — и не надо плакать,
Мне вослед не надо смотреть.
Очень быстро осенняя слякоть
Принесет следам моим смерть.

Я уйду по опавшим листьям
К человеческому врачу.
Я писать не умею писем.
Я — собака. Я так хочу.

1991



Крокодилы не видят снов

БЕРЛИНСКАЯ ПОВЕСТЬ

Какой-то стойкий дразнящий запах исходил от этого варвара, прибывшего с востока. Запах был определенно человеческий, даже мужеский, но люди не должны так крепко пахнуть — это экспансия. Ведь есть средства от этого.

Еда, которую готовил этот впущенный им в свой дом человек, носила также раздражающе наступательный характер. Первой предала кошка, не отходившая от пришлеца и тершаяся о его ноги, пока тот что-то варил и поджаривал на нескольких конфорках одновременно, не жалея лука, чеснока, специй, каких-то уже здесь купленных соусов в микроскопических бутылочках. Нельзя сказать, чтобы он чувствовал себя как дома или вел бесцеремонно, но не было в нем и какой-то чуть извиняющейся позы, некоего чувства зависимости. Оно отсутствовало не только в его нескованных передвижениях в пространстве трехэтажной квартиры, где он занял последний этаж, но и в тех непродолжительных разговорах, что заводил с ним хозяин на плохо им обоим повинуящемся английском языке, где нити разговора поначалу часто провисали, не сумев избежать столкновения с напрочь позабытым словом. — их приходилось обрывать и затем снова связывать узелками, усиленно жестикулируя. Английский был ничейной землей, нейтральной полосой между хозяином квартиры и ее временным жильцом, и хозяину некомфортно было ощущать себя здесь на равных почти с этим человеком, приехавшим даже без комнатных туфель, временами испытывающим затруднения в самых простых положениях, что, однако, похоже, мало его смущало, словно оба они вышли на лед без коньков. Неприятно было и то, что какие-то вещи, о которых тот не должен был бы слышать *ИЗ-ЗА СТЕН*, оказывались не только ему известными, но и он отсылался о них так, словно был с ними накоротке, как о старых близких знакомых.

Кошка воротила нос от своих консервов с плотоядно облизывающейся кошачьей мордой на этикетке и, демонстративно хлопая своей маленькой, проделанной в большой двери дверцей, удалялась в сад. Дочь-первоклашка с отвращением глядела на запаянные в полиэтилен полуфабрикаты и нехотя расковыривала вилкой ассорти из непонятно чего, надоевшего, видно, ей еще до рождения. И посматривала, что готовится на плите. В один из первых дней они оба — отец и дочь — съели по тарелке обыкновенного супа, приготовленного из овощей, с одуренно пахнувшей юшкой и цветной капустой, похожей на зернистую, попавшую на зуб икру. Тогда же отец положил себе впредь отказываться за двоих от угощения, от поползновений кухни, беспокоящей, подозрительной и наверняка нездоровой. Так жилец в огромных количествах пил чай с нарезанным кружками лимоном, и хозяин с удовлетворением советовал ему не делать этого, поскольку всем известно, что из лимона можно брать только сок, кожа же опрыскана ядами, которые чужеземец растворяет в кипятке. Жилец поверил. Как всему почти плохому. Была в нем какая-то легкость. Какая-то неуловимо порочная легкость. Это был первый человек «оттуда», которого хо-

зьян видел так близко, — сын тех людей, с которыми воевал некогда его отец. Чтобы разобраться со всем этим, он и стал когда-то историком и теперь сам учил детей такой истории, чтобы та история не могла больше повториться. Хотя бы здесь, на этой земле. Любимым его автором был Курт Тухольский — с отечным и умным лицом человека, который всего добился сам. Учительная работа научила его не вполне доверять людям, поскольку они те же дети, сразу после школы оставленные без присмотра и предоставленные сами себе. Взгляд его бледно-голубых баварских глаз был изучающим. Взгляд седого рослого блондина сорока с небольшим лет — он вел в школе еще и занятия спортом. Его подругой после смерти жены, случившейся полтора года назад, стала обстоятельная и покладистая учительница физики и труда, также баварка. С ней они проводили выходные.

Его покойная жена, театральная актриса, умерла от астмы вскоре после того, как они въехали в эту квартиру в тихом и зажиточном районе. Теперь ему одному предстояло выплачивать за нее банковский кредит еще двадцать восемь лет. Квартира увешана была фотографиями жены — скуластой блондинки с лоснящимся лицом, отдаленно напоминавшим лицо одной из французских актрис. Еще больше места на стенах занимали фотографии дочери. Все они сделаны были примерно в одно время несколько лет назад. Фотографии матери были преимущественно черно-белыми. Дочери — все цветные.

В холостяцкой ныне квартире не переводились цветы, раз в неделю покупался большой букет подсолнухов с разнотравьем. На полках присутствовали книги по искусству. Висело несколько фотоэтюдов известных парижских фотографов. В гостиной на первом этаже у широкого окна, выходящего в сад, точнее, на узкую садовую дорожку, соответствующую ширине квартиры, рядом с кошачьей дверцей стоял клавир с укрепленными на нем старинными канделябрами и раскрытыми нотами на пюпитре. Каждый вечер после легкого ужина и повторения с дочкой школьных уроков доставались маленькая накинфоленая скрипка и стальная, похожая на рожок, дудка. Хозяин садился к клавиру. Полчаса продолжались занятия музыкой. Дочка водила смычком по струнам, извлекая из них не более двух нот — «туда» и «обратно», отец же одной рукой ударял по клавишам, затем брался за дудку, чтобы подыграть дочери, напевая при этом дурным голосом что-то вроде «айн, цвай, драй». Занятия повторялись изо дня в день с удручающей монотонностью, без всяких отклонений. Было непохоже, чтобы в намерения музыкантов входило совершенствование собственного искусства. Однажды вечером, уже уложив дудку в футляр, а дочку в постель, доставая из холодильника бутылочку пива и закуривая первую сигарету, хозяин спросил спустившегося на кухню жильца: не играет ли тот на каком-либо музыкальном инструменте? Также он был бы не прочь, чтобы тот позанимался с его дочерью своим родным языком, который не лишен, видимо, определенной выразительности и который в ее школе начинают учить с первого класса. Один стишок на нем она уже знает. Чужеземцу, как вскоре выяснилось, оказался неизвестен этот стишок.

«...Хорош бы я был, если бы тоже назвался музыкантом, — подумал в тот вечер жилец, поднимаясь в свою комнату, — какое трио могло бы сыгратся из нас за месяц-другой!» Ему вдруг вспомнилось, как в каком-то из ранних классов он выведен был с позором из школьного хора мальчиков. Проверяющие долго не могли понять, кто накануне смотра так портит всю спевку. Покуда не догадались пойти по рядам. Ряды пели по очереди. Затем старательно пел один мальчик. На него смотрели с изумлением. «Кто включил тебя в состав хора?» — спросила наконец завуч — прямоволосый, простоволосый и бесполоый член партии, поджав истово губы, которых и без того почти не было, — так, словно речь шла о вредительстве. Да никто, никто! Просто тот мальчик однажды поздоровался от неожиданности, столкнувшись во дворе с собственным дома с дерганым и нескладным, всеми презираемым учителем пения, куда-то несшимся со скрипичным ключом в руках.

Перед самым своим отъездом он получил письмо: «Дорогой друг! Пишу в поезде. Вот уж который день не могу прийти в себя. У меня случилось горе — погибла моя единственная любимая дочь. Незадолго до моего отъезда она вышла замуж за молодого юриста из очень хорошей семьи. Они только въехали в новый дом. Съездили в Венецию в свадебное путешествие. Дочь блестяще защитилась, в октябре должна была начать преподавать. В мое отсутствие свекровь повезла ее на машине в Берлин показать те предместья, откуда она бежала весной сорок пятого года. На совершенно безопасном участке дороги машина их выехала вдруг на встречную полосу и, не успев уклониться, въехала под колеса трейлера. Свекровь погибла сразу — она сидела за рулем. Моя дочь жила еще пять часов, не приходя в сознание. Мы с женой совершенно раздавлены случившимся. Едем домой, чтобы сходить на могилу, побыть одним. Не знаю, как примириться с произошедшим, как научиться с этим жить. Перед отъездом я успел все сделать, как мы договаривались... Они вас найдут сами... До встречи... на ближайшей станции отправлю письмо... все это делаю будто не я...»

Он был здесь не впервые, и глаза, и руки скорее припоминали этот город сами, нежели не такой проворный мозг. Заканчивалась вторая неделя, а ему все никак не удавалось по частям собрать себя. Вероятно, возраст. Мальчишки — архитекторы и фотографы — чувствовали себя, словно рыбы, приплывшие сюда по воде. Давно привыкшие к пестрому интернационалу художники отирались в выставочных залах восточного Берлина, подозрительно смахивающих на сараи, поставленные на капремонт квартиры, гаражи, ангары. Актеры сбивались в группки, надсадно кричали что-то поставленными голосами, становились на руки и, похоже, собирались играть здесь то же, что всегда, — никого другого, кроме самих себя. Композиторы слонялись по фестивальным презентациям, церемонно переступая, как цапли, обмениваясь невидимыми лягушками. Писатели же капризничали — то от всего шарахались, то ко всему липли, — еще в Москве они попростужались и бродили теперь по городу, кутаясь в сопли, будто в шарф.

Хотя стояло изумительное бабье лето и цвет неба напоминал забытое название краски — «берлинская лазурь». Истлевание природы шло пока под шумом осени — без прекращения погоды. Несколько дней выдалось переменчивых, когда проливные дожди, низкие тучи, нанесенные с Балтики и Северного моря, и солнце, ветер по очереди стремились выхватить друг у друга и перепрятать день — и так десятки раз на дню. Любая прогулка делалась захватывающей.

По таким городам, как Берлин, скучно гулять, если ничего не покупать, а если покупать — разорительно. Разнообразят его только акватория и парки пригородов. Что-то по-прежнему оставалось в нем *НИКАКОЕ*, напоминавшее о муках доктора Франкенштейна. Заманчиво и очень литературно, как джойсовский Дублин, выглядел он только на почтовых карточках двадцатых годов. Накупив таких и попытавшись разослать их в разных направлениях, наш герой — назовем его пока Икс, а лучше — Игрек — получил всю их кипу прямо себе под ноги на следующее же утро. Они посыпались из почтовой щели на коврик у двери, когда он собирался уже было выйти из дому. Почта работала, как и прежде, отменно, но пока в неверном направлении — изменились правила заполнения адресов.

В телефонной книге Игрек с изумлением обнаружил сразу семерых Игреков — а он пока в своей жизни не встречал ни одного, не считая своей родни, — и двух Игрековичей, первый был женщиной, а второй оказался неожиданно обществу с ограниченной ответственностью.

Гуляя по Берлину, он отметил, что на улицах встречалось теперь гораздо больше красивых женщин. А это значило, что городу быть столицей. Красавиц никогда не подводит чутье.

У Игрека неожиданно также обнаружили проблемы с акклиматизацией. Оказалось, что хлесткий афоризм имеет и обратную силу и русскому также ка-

рачун то, что немцу здорово. В прошлый раз, путешествуя по большей части на сухом пайке, он не придал этому особого значения. Почти все продукты имели здесь лишь номинальное, приблизительное сходство с теми, к которым он привык за жизнь. Ему немало пришлось потрудиться, чтобы обнаружить человеческий укус или сметану, которая походила бы на саму себя. Даже самая обыкновенная капуста отчаянно сопротивлялась в супе и не развиривалась, откладываясь со стуком на дно кастрюли наподобие грампластинок, как была нарезана.

Он привез с собой на кассетах: подмосковный дачный бор с разлипающимися звуками талой земли и птичьим пением, самозабвенным до омерзения; сунул в сумку прыгающую по камням, мокрую речь горного ручья, перебиваемую позвякиванием коровьего ботала — спустившейся в овраг спрятаться от оводов и зноя скотины; а также — курс уроков немецкого языка. Язык, распаивающийся, словно рогатое копые в сагах, оказался интереснее всего. Пока что чужеземец ощущал лишь бодрящее покалывание иголок по своей коже от его слов. Адлер оказался «орлом», а Клее не имел никакого отношения к «клею» — но к «клеверу» (не путать с английским «clever»). Его поразило также граничащее с наитием простодушие составителей курса, положивших в его основание три глагола: «иметь», «хотеть», «делать».

В первое свое утро здесь он проснулся оттого, что солнце било его в глаз, как белку. В комнате не оказалось штор, а из застекленного люка в потолке шел такой сноп света, отражаясь от стерильно белых стен, что промелькнула мысль: не на операционном ли столе он очнулся? В спазме светобоязни он так плотно сжал веки, что выступили слезы. Однако ширина кровати, махровые простыни, нежнейшие пуховые подушки, в которые немцы никогда не кладут пера, сползшее на пол пуховое же одеяло — все это помогло ему вспомнить постепенно, где он и что он. Только тогда, потянувшись, он развернулся поперек кровати, сбил из одеяла бруствер и, уткнувшись носом в подушку, опять заснул.

Первое, что он сделал, когда поднялся, — это задраил люк в потолке, приладив диагональную поперечину и насовав за нее подвернувшиеся детские рисунки на плотных полувагманских листах. На другой день забил продуктами холодильник под завязку, как рюкзак. Покупать приходилось все, ничего не упустив, будто в поход или на необитаемый остров, — соль, мыло, спички. Как на рюкзачике вышитом: «Прощай мыла иду в поход жды».

Поначалу он несколько раз напился — для порядка и в целях адаптации, чтоб запустить берлинский «автопилот». Добираться добирался черт-те откуда и без ощутимых потерь, но похмелья каждый раз оказывались такими тяжелыми, что приходилось подумать об обходных путях, — По Лисьему Следу — так примерно переводилось название той улочки, по которой проходил он теперь каждый день, если выбирался из дому.

Работа не шла. Он съездил к знакомому переводчику и взял русские книжки, но читать их не смог. Целыми днями он валялся на постели, что-то листал, лазил в словари, курил, черкал на листках бумаги, если те оказывались под рукой; изредка прикладывался к бутылке.

Купил себе зачем-то пиджак, которого у него не было уже много лет. Что-то еще — частью ненужное, частью необходимое. Со дня на день переносил намеченные поездки в разные концы, откладывал встречи. Про которые никогда неизвестно заранее, какие из них окажутся важными, какие лишними. И самая с виду и по ощущению ненужная тоже ведь, может, несет в себе какой-то неразгаданный смысл. Все это были, однако, вещи второстепенные. Что-то в нем пока не складывалось из частей, как и в этом городе.

...Кроме запахов сходу прокуренной комнаты умершей жены — хозяин зашел в нее как-то забрать рисунки дочери, — кроме посторонней еды с отклоненным составом и вкусом, в квартире завелись еще какие-то вещи и вещицы, на которые постоянно приходилось наткаться. Через порог заползли туфли, повисли на вешалках куртки, на полке в ванной сгрудились, будто группа тури-

стов, умывальные и бритвенные принадлежности. Неприятно было и то, что часть из них была явно куплена в дорогих магазинах.

Как только деньги оказались перечисленными на счет, хозяин одолжил у приятеля машину и сразу сделал большой «шопинг» — завез полный кузов провизии, куда попало и кое-что из импортных деликатесов, примеченных им у жильца. Он спустил в подвал пару ящиков того пива, которому отдавал предпочтение, сорт сигарет сменен был им на более крепкий, а на полке в ванной появился новый — точно такой же, как у жильца, только другого цвета — бритвенный прибор.

В первый же вечер на предложение хозяина выпить чего-то более крепкого — под чем разумелись остатки скуловоротной чешской настойки — гость извлек из брошенной у порога сумки длиннющую и узкую, как мензурка, закупоренную бутылку граппы и не успокоился прежде, чем увидел ее дно. Приехал он уже навеселе. Нарезая столбиками прихваченный им твердый сыр, он нес околесицу на якобы английском, которую, по счастливому стечению обстоятельств, англичане слышать не могли. Нечто о том, что терпеть не может сидеть на раздавленных берлинских кошках, сгоняя при этом со стула хозяйского кота. Глядя в глаза подруге учителя, он заговорил о дефиците речевой практики и о том, пока смотрит на губы собеседника, понимает речь, но если начинает смотреть в глаза, то перестает понимать. Подруга учителя неопределенно улыбалась и что-то отвечала. Она пила «сект» — игристое, которое ее друг всегда держал для нее. В полдесятого хозяин твердо сказал, что завтра ему рано вставать. Английский, по счастью, исключает малейшую возможность перехода на «ты» — дистанция нарушена не была. В последующие дни в разговорах, спорадически возникавших на лестничной площадке, на кухне, на террасе за сигаретой и чашкой кофе, хозяин корректно поинтересовался, из какого именно города приехал его постоялец, расспросил об условиях жизни в его стране и спросил в лоб, сколько платить ему будут здесь, воевал ли его отец, впервые ли он в Берлине и в Германии, есть ли у него семья, и в ответ рассказал, откуда он родом, где учился, где живут его сестра и мать, отчего умерла жена, в какой школе учится его дочь и где находится эта школа.

Гостю он объяснил незатейливые хитрости сортировки мусора, пользования кофеваркой-эспрессо и ванной, которая неисправна, а также что посуду мыть не надо — посудомоечная машина экономнее расходует воду, что он не курит в доме, покаду ребенок не ляжет спать, что, уходя, следует оставлять на минимуме регулятор нагрева батарей, показал, куда отправлять предназначенное в стирку — бросать на пол в коридоре. Рядом с телефоном он положил листок и ручку, чтобы гость записывал количество своих разговоров и время, если они будут за пределы Берлина.

Внешне жилец не нарушал пока правил общежития и доставлял ему на удивление мало хлопот. И было все же что-то — что-то, вызывавшее недоверие и пусть умеренные, но опасения, как всякое инородное тело, помещенное в собственном доме.

Жизнь хозяина целиком направлена была на воспитание дочери. Как учитель он знал, умел и любил это делать. Он не чаял в ней души. Он поднимал ее утром, кормил, забирал из школы, делал с ней уроки, занимался музыкой и рисованием, смеялся, наставлял, ворковал, читал книжки перед сном, лежа с ней в постели. Вперемешку с одежками повсюду валялись ее куклы, игры, рисунки, недоеденные сласти. Двухэтажная детская кровать с лесенками напоминала модель деревянного корабля: сбившиеся занавески, горы подушек и мягких игрушек, что-то прикиплено к стенке, на верхней «палубе» наподобие шатра натянута была пестрая простыня — растяжки от нее тянулись к стойкам кровати и кольцо в потолке.

Со стороны улицы к входной двери привинчена была керамическая табличка, исполненная неумелой детской рукой, с бисквитными цветочками и надписью, сделанной дрожащим, слегка расплывающимся почерком: «Герхардт

Цандер — Патриция Басс». И керамика, и краска были настоящими, обожженными в печи, видимо, на школьном занятии.

Требовательное «Патриция!» — оклик, обращение, призыв, пароль — было самым часто произносимым словом в доме. На висящем у входной двери пиджаке хозяина красовался большой значок все с тем же именем, написанным по периметру окружности. Ответом на пароль было всегда: «Папа?»

Взгляд хозяина был ясен и прост. Он знал, зачем живет и что должен делать. И чего не должен. Так это, во всяком случае, выглядело.

...Удобство этих квартир только кажущееся — когда столовая на первом, туалет на втором, а спальня на третьем этаже. Повсюду чистое дерево. Ступеньки крутые, загигают и скрипят. Под окном породистый дуб, сосны с шелушащейся, облазящей с лета корой, могучие березы. Лулят по заасфальтированной крыше веранды желуди теvтонские размером с патроны крупнокалиберного пулемета — того и гляди пробьют ее. В момент удара у них отскакивают шляпки. Под порывами ветра — целые очереди. Дышится легко. Кошутся бухи — бухи и ели — фихте, к Рождеству стаvоvящиеся танненбаумами.

«Унтер-ден-дер-... тьфу ты, Господи!» Улица Под дубами, улица Под липами. Летают дятлы в малиновых галифе. Одному такому жилец, высунувшись в окно, сказал неожиданно с нездешней тоской:

— Ты хоть, брат, не немец!

Дятел ничего не ответил и продолжал выстукивать кору дуба, вероятно, в поисках нелегальных иммигрантов. Жилец докурил сигарету, глядя на работу дятла, и вернулся в комнату. Сел к столу. Сцепил руки. Мысли его унеслись далеко.

...К историям с чижиком и черепашкой, приключившимся жизнь или больше тому назад. В обоих случаях они появлялись, когда он возвращался в дом, в семью, назад, что-то решив для себя окончательно, возвращался, чтобы жить. Мир ненадолго тогда воцарялся — водворялся — в его доме. Впечатление, однако, было обманчивым — каждый раз достигнутое состояние оказывалось лишь перемирием, затишьем перед бурей, перед невидимым надвигающимся последним валом, уносившим каждый раз без следа его семью. Жены и дети спуска какое-то время обнаруживались, они оказывались перенесены куда-то в другое место — или это его каждый раз вышвыривало на другой берег? — гибли зверьки. Его жизнь, если глядеть на нее как бы в перевернутый бинокль, оказывалась выстелена трупами неосторожно прирученных им животных. И он не был пока уверен: одних ли только животных?

История чижика

Он прожил когда-то несколько дней в квартире, полной певчих птиц, с женщиной, которой был увлечен. Просыпаться в залитой солнцем комнате от пения птиц, подниматься, готовить завтрак, идти в душ — это было так нереально и незаслуженно, что реальность вскоре вынуждена была заявить свои права, и он расстался с той женщиной, хоть не по своей воле.

Женщина была молода. Больше всего нравилось ему в ней то, что, будучи безусловно красивой, она не отождествляла себя со своим телом и сохранила повадки некрасивого подростка, стесняющегося и себя не любящего, хлебнувшего уже от людей разного. Он дрался за нее с ее самозванным женихом, припадочным изувером. Ее родители, узнав от того, в руках какого опасного типа оказалась их дочь, приехали за ней. Оформив в один день академотпуск в институте, они увезли ее в другой город, с помощью родственника в милиции пригрозили наркологическим отделением психдиспансера и взяли с нее подписку о невыезде. В тот единственный день она умолила их под честное слово отпустить ее на два часа попроситься с ним, ничего не говоря ему и не объясняя. Но видеться с ним не стала. Вместо этого ходила два часа с подружкой по городу — прощалась со всем сразу.

Он улетал на утро следующего дня и накануне оставил ей номера телефонов, по которым она должна была ему звонить. Но она не позвонила. Узнал он

обо всем только через несколько недель, когда, возвратившись, принялся ее разыскивать. Подруга поначалу морочила ему голову и рассказала, что произошло, далеко не сразу. Он обиделся тогда. То была единственная женщина, которая оставила его сама. Как-то раз она обмолвилась, что не хотела бы иметь такого мужа, как он. Он отшутился, и, хоть оба знали, что это и не входило в его намерения, это задело его тогда. Короче, он не поехал в другой город. И только много лет спустя, проснувшись посреди ночи в тысяче километров от того места, где разыгралась эта история — в другой уже стране, он понял вдруг, что на самом деле это была за история, понял, что сделала тогда она, и ужаснулся тому, что сделал — или не сделал — он. И она вошла в него навсегда и легла камнем на диафрагму, где-то под сердцем, где и откладываются в человеке такого рода истории.

А тогда он попросил друга, чья была квартира, подарить ему певчую птицу, и тот принес ему на день рождения чижику в клетке, купленного тем же утром на рынке. Чижики дичились первые дни. Он явно не одобрял табачного дыма. Отмалчивался и присматривался. Чижики — и даже канарейки — очень неохотно поют в тех домах, где нелады в семье. Чижику дали имя Петруха, одолжив его у солдата из фильма о солнце пустыни. Прошло время, прежде чем чижики освоились, стал брать зерна конопли с руки хозяина, которые тот для него добывал где-то в недрах города. Он дожидался теперь прихода хозяина. Не забивался в угол, когда через дверцу проникала внутрь клетки огромная хозяйская рука, наоборот, тщился уцепиться за кожу. Если тот приходил уставший и не обращал на чижику внимания, тот косился на него какое-то время, хохлился, а затем начинал прицельно метать ядрышки конопли в тарелку его вечернего супа или принимался расплескивать воду из блюдца, фыркая, отдуваясь и хлопая себя под мышками, как взрослый. По утрам, когда бывал включен приемник и никого не оставалось в комнате, он уже пробовал голос. Пока однажды, окрепнув голосом, он не распелся всласть, набирая воздуху каждый раз полную грудь взамен отпето, и не замолчал даже тогда, когда хозяйка вернулась в комнату, прибежала девчонка. Но чижики не обращали уже на них особого внимания, потому что в нормальной семье каждый делает что хочет.

Он радовался начинающемуся утру, торопил всех с завтраком, дожидался с работы, днем напевал сам себе иногда, если была хорошая погода или настроение или если что-то вдруг вспомнится или подумается. Иногда грустил или просто хандрил. Когда было пасмурно или дожди. Но и им вопреки он пел, когда захочется, особенно со своим другом радиоприемником, с которым любил только начинать, а дальше хотел петь сам. Наступала весна. Хозяин теперь приносил ему с прогулок с девчонкой — он видел в окно, как они уходили в поля, — вместо всякой сухомытки и прошлогодних шишечек одуренные березовые и ольховые сережки нежнейшего вкуса и запаха, который чижики втягивали своим костяным носом. Затем пошли желтые одуванчики. Чижики нещадно трепали их и потрошили, как подушку, как чучело противника, добираясь до сочных луковичек волос их не вполне созревших еще и распушившихся легкомысленных причесок.

Хозяин стал вывешивать на ночь клетку с чижикиком за окно, цепляя ее на антенну, направленную куда-то за край горизонта. Ночной воздух беспокоил и волновал чижику, ему снились тревожные и сладкие сны. Как оказалось, не к добру. Хозяин проснулся на рассвете от отчаянного крика чижики, в котором было все на свете. Голым, он выскочил в комнату, подбежал к окну. Чижики вжался спиной, перьями в ближний угол раскачивающейся клетки. С той стороны одной мощной лапой вцепилась в прутья клетки сорока, а второй, растопыренной, тянулась к тельцу чижики, чтобы вырвать сквозь прутья комок дымящегося мяса, — шелкая клювом, как секатором, издавая гортанный зычный крик. Сороки, как и медведи, становятся по весне всеядными. Хищница почти не испугалась хозяина, будто точно знала, что он накануне вынес из дому пневматическую винтовку. На его «кыш-кыш!» и размахивания руками сорока только отлетела на несколько метров и, кружа на месте, сердито щелкала клю-

вом: что-то о праве сильного и о том, чтобы «трахаться и убивать». Неподдалеку летал ее партнер. Хозяин подхватил не глядя со стола кусок черствого хлеба и запустил им в сороку — той не пришлось даже уворачиваться. Забравшись на подоконник, хозяин осторожно снял клетку, прижимая ее обеими руками к груди, так же осторожно спустился и поставил на стол в комнате. Тельце чижики перестало вскоре ходить ходуном, но он не пошел на руку, а будто впал в ступор, на время перестал все видеть и слышать — какие-то уменьшительные, нежные, виноватые слова: «Петрушенька... мальчик мой!» Сердце зажатой в руке маленькой птицы бьется в ладони так, словно там нет птицы, одно сердце.

Чижик онемел на несколько дней, но затем распелся опять. За лето он раздался в груди, растолстел от черных семечек, как тенор, — он полюбил их лузгать. В конце лета дом неожиданно опустел. Хозяйка с дочкой куда-то уехали, а хозяин стал возвращаться домой за полночь, когда чижику хотелось уже только спать. Когда же наконец хозяйка с дочкой вернулись — обе с выгоревшими волосами и потемневшей гладкой кожей, — в доме что-то такое стало происходить, что было уже не до песен, не до чижики и ни до чего вообще. О чижики позабыли. Раз или два он видел сквозь сон какие-то ночные сцены, доносились подмененные неприятные голоса — что-то такое, чего он видеть и слышать не желал бы. Вскоре хозяин исчез.

Была уже глубокая осень, когда он вновь возник. Он иззял клетку с чижилом, за руку — девчонку, и они вместе куда-то поехали. Хлопали и шипели двери, теснились чужие, страшные люди, любому из которых ничего не стоило навредить чижику. Если бы не хозяин, всю дорогу прикрывавший клетку собой, успокаивавший его той интонацией, которую чижики узнавал: «Петрушенька-мальчик, Петруша-умница!» Наконец они приехали. За дверью, в которую они позвонили, оказались мужчина и тоже девочка. Здесь было людно. Все сидели за столом, пили и ели, позвякивая посудой, негромко смеялись. Чижику тоже покормили — насыпали семян, налили в блюдце воды, клетку поставили на шкаф, — и через час-другой, привыкнув к ровному, похожему на отдаленное жужжание фону человеческих голосов, он задремал. Хозяин с дочкой пропали вечером того же дня и больше не появлялись. И чижики принял как данность, что будет жить отныне с другими людьми.

Новая девочка оказалась очень серьезной, с постоянно настороженными и красивыми, как у птички, глазами, она ухаживала за чижом, что-то рассказывала ему, и спустя какое-то время он без особого усилия со своей стороны принялся кое-что для нее насвистывать. Мужчину он видел редко. Девочка также исчезала куда-то на весь день. Чаще всего дома оставалась женщина, прятывшая глаза за толстыми линзами. Она тяжело ступала по пустой квартире и постоянно в ней что-то делала — передвигала, терла, гремела. И голос у нее был звенящий и напряженный. Чижики не любил этого голоса, не любил, когда она обращалась к нему, потому что не доверял ее голосу. Цветы на крохотной кухне, куда определили чижику, тоже недолюбливали этот ненатуральный голос и старались чуть отвернуться от его источника. Карликовое деревце самшита, росшее на подоконнике, однажды не выдержало — его разбил инсульт. Утром чижики увидел, как в одну ночь вся правая его сторона сделалась цвета глины, скукожилась и засохла, а левая продолжала зеленеть. Несколько дней еще оно простояло на подоконнике, а затем его куда-то вынесли. На кухню вернулся один пустой горшок. Хозяйка вымыла его под краном горячей водой с мылом и поставила на пол. Чижики продолжал еще иногда петь для девочки, когда у него было настроение, и утром в воскресенье, когда все были дома и подолгу валялись в постелях, а хозяин включал на кухне радиоприемник. Приближалась, однако, зима. Чижики хандрил. Что-то с ним было не так. Он почти не пел теперь. Весна также не принесла перемен. Ее прихода он почти не заметил. Как ни пыталась растормозить его деночка, он видел, что ей и самой не очень-то весело. Стойкое безразличие ко всему овладело им в конце концов. Звуки со двора, доносившиеся из форточки и прежде развлекав-

шие его, слились для него теперь в монотонный звон, распивавший изнутри крошечный птичий череп.

Одним воскресным утром посредине лета всех выдернул из постелей горестный крик и плач ребенка. Девочка, поднявшаяся первой, чтобы покормить чижика, взобравшись на стул, обнаружила его лежащим на дне клетки, тихо околелшим этой ночью. Успокаивая девочку, отец клял себя, что не встал раньше.

Днем девочка сходила за подругой на соседний этаж. С помощью матери они нашли вскоре в одном из шкафов подходящую картонную коробку, уложили в нее тело чижа. Взяв детский совок и лопатку, все вместе затем вышли во двор. Подыскав участок в углу двора, они выкопали сообща довольно глубокую ямку. Положив в нее коробку с чижом и присыпав яму землей, сделали холмик. Сверху положили крохотный, под стать чижу, букетик цветов, собранных поблизости под проржавевшей оградой детского сада. Постояли молча втроем.

Не оборачиваясь к матери, девочка сказала:

— Мам, ты иди домой. Я сама приду. Мы постоим здесь еще немного.

И неожиданно для себя самой мать повиновалась. Повернувшись на месте кругом и по обыкновению слегка ссутулившись, она пошла в сторону подъезда чуть косящей и преувеличенно решительной походкой человека, страдающего сильной степенью близорукости.

И было жизни чижика среди людей — считая от того базарного дня — один год, семь месяцев и три дня.

История Фили, черепашки

Черепаха возникнет почти десять лет спустя. По имени Филия — от греческого корня «любовь». Это мог быть Филипп или какое-нибудь женское имя на «Ф», скажем, Финоксера. Изначальное имя, однако, так и не развилось никогда до полного, оставшись чем-то вроде «филюкве» — неким недоразумением грамматического происхождения, по виду — задержавшись в краткой форме среднего черепашого рода. Поскольку пол черепахи так и не был установлен. В силу отсутствия наружных половых органов, других чертах поблизости, соответствующих указаний в биологическом энциклопедическом словаре советского периода, а также краткости человеческого века сравнительно с черепашим (хоть в данном-то конкретном случае дело обстояло как раз наоборот, но на одно вышло).

Хозяин, от сотворения мира поставленный господином над всяческой тварью, кроме себя самого, затосковал той осенью неожиданно и беспричинно. Причины-то, конечно, имелись, но их было так много и сплетшихся в такой клубок, что какие же тогда это причины?

Как-то, напиваясь среди бела дня вдвоем с приятелем в винном погребе на ратушной площади и выйдя освежиться на воздух, он вспомнил сегодня утром увиденное мельком объявление, хлопнул себя по лбу и, миновав по тротуару несколько ветхих фасадов, вошел в распахнутые двери магазина «Природа». Его провели в тесную подсобку, собственно, чулан, где на каменном полу возились донельзя вымазанные в глине сухопутные черепахи. Часть спала от усталости, часть была с вытекшим одним глазом, у части расслаивался и лущился, будто пораженный ноготь, панцирь. Вероятно, вся партия уместилась при перевозке в один большой чемодан, где в тесноте, темноте и удушье и изгвадалась так и нанесла себе увечья. Филию хозяин увидел почти сразу — размером с неглубокую тарелку, бегущего к нему на длинных лапах, вытянув шею, с уцелевшими в дороге обоими выпуклыми глазками — живыми, сообразительными, зелеными.

Подхватив его и расплатившись, хозяин спустился вновь в погребок, отмыл в туалете на скорую руку его панцирь от глины и к столу вернулся уже с «третьим», получившим немедленно имя:

— Третьим будешь, Филия?!

Тут же с приятелем они выпили за здоровье новоприобретенного товарища. Черепаха ползала по столу, обходя его по периметру, тыкалась в руки и стаканы, но ничего не роняла и срываться с края не собиралась, — здесь было все же привольнее и чище, чем в только что покинутом, пропахшем черепахами чулане. Не говоря о чемодане.

В тот день с приятелем и черепахой на ладони они обошли сколько смогли питейных заведений в центральной части города. Филя оказался идеальным собутыльником, наделенным даром общения без слов. Дети остолбеневали на улицах и тащили родителей за руку в магазин на старой площади. Встречные девушки не прочь были присоединиться к ним, и некоторых они брали с собой. Лица прохожих разглаживались, удивление сменяли неуверенные улыбки. Официанткам — всем — почему-то хотелось потрогать его. Люди за соседними столиками заметно оживлялись, принимались перешучиваться и заговаривать с ними. Стаканы тянулись вверх и сдвигались, то и дело слышался смех. В какой-то момент хозяин сказал себе: «Хватит, довольно этого безобразия, дома маленький сын. Черепашка для него, пора домой!..»

Домой он приехал, как ни странно, еще засветло.

Сын обалдел, когда на него пошла черепашка, и не двигался какое-то время с места. Затем, обежав ее, умчался на кухню и, погромыхав дверцами и шумно повозившись в ящике с инструментами, так же бегом вернулся в комнату с молотком. Черепаха тем временем доползла до балконной двери. На пороге встала жена:

— Ты видишь, чем это может закончиться? Завтра же заведи ее. Он еще мал для этого, а мне в доме не нужна черепаха. Будет ползать повсюду, гадить!

— Да ты чего?! Она же гадит раз в пятьдесят лет. Вот дай ей капустный лист, молока...

— Не хочу ничего слышать, чтоб завтра же ее здесь не было! Забирай ее, куда хочешь. Отвези обратно в магазин, пусть вернут деньги.

Война полов шла у них тогда уже в полный рост. Она выносила своего позднего ребенка, как меч, как месть, и, произведя на свет, теперь намеревалась посредством его покончить с миром, отыгаться за недооцененность в прошлом. И начать с малого — с установления господства в семье. В каком-то — отчасти переносном — смысле она сама была панцирной черепахой, кондуитом вселенной. Ей не нужна была в доме еще одна, такая же. Где-то был какой-то щелчок — он пропустил его. Ситуация уже вышла из-под контроля...

Хозяин все чаще напивался. Раньше, когда у него бывали женщины, он пил не в пример меньше. Он давно заметил эту обратную зависимость. Филя стал жить в мастерской, понемногу обживаясь. Хозяину приходилось теперь подолгу ее протапливать, из опасения, как бы тот не заполз куда-то и не впал в зимнюю спячку, — черта тогда найдешь его среди накопившегося за годы хлама. Филя привык вскоре выползать из-под стола, когда появлялся хозяин, зажигался свет и тепло начинало идти от батарей отопления. Но иногда принимался карабкаться на вертикальную стенку, будто скалолаз, упираясь всеми четырьмя лапами враспор, если было во что упереться, — уже несколько раз хозяин снимал его, как браслет, со стены. Или принимался скрестись часами у входной двери.

— Куда ты?! — говаривал ему хозяин. — Там зима на носу! А из подвала — лестница, ступеньки, все равно тебе их не одолеть.

Хозяин соорудил ему постель в эмалированном тазу, на подстилке, чтоб не начинать каждое утро с поисков черепахи. Однажды Филя порезался о прислоненный к стене лист стекла. И на его подбородке, на морщинистой, серой, как спекшийся вулканический пепел, коже выступила невероятно алая выпуклая капелька крови. Хозяин промакнул кровь и поднял черепаху на стол, под лампу, где та полюблила греться. Здесь он кормил ее обычно капустным листом, давал свой палец в клюв, любовался терпеливым и мудрым упорством ее движений, пантомимой гребли, где передние лапы, как у птиц, гнулись в обратную, нежели у человека, сторону. Загадкой являлся не только пол, но и возраст Фи-

ли. Хозяина бодрила мысль, что они могут оказаться ровесниками — если не в абсолютном исчислении, то хотя бы в пересчете.

Но все это не помешало ему однажды ступить не по-людски со своим любимцем и подопечным. Когда в какой-то вечер собралась в его мастерской толпа друзей-приятелей и было изрядно выпито. Как обычно, в перепитии обязательно находился кто-то азартный не в меру — или просто кого-то черт дернул вспомнить о «воздушке». На этот раз стреляли по пламени свечи — по фитилю. Попадавший в тело огарка выбывал. Когда осталось всего несколько участников, хозяин предложил неожиданно усложнить условия состязания. И, сняв с вытяжной трубы свечку, накапал парафина и укрепил ее на панцире черепахи. Филя, переваливаясь, ползал по подсобке и опять принимался царапать входную дверь, а из дальнего угла мастерской палили в темноте по перемещающемуся пламени, по жгутику фитиля.

Конечно, хозяину на следующий день было стыдно — и скверно, и тошно на душе. Он понял, что с ним что-то окончательно не в порядке. И что не вчера это началось. И что надо подумать, как ближайшим летом отвезти черепаху подальше на юг и отпустить. Что-то расстроилось в их отношениях. Если могут существовать отношения человека и черепахи.

И потому, когда еще через месяц впадшую в очевидную зимнюю апатию и оцепенение черепаху попросил отдать ему на время старинный приятель, у которого подрастали дети и были вполне приличные условия для ее содержания, хозяин, поколебавшись и подробно проинструктировав все семейство, пришедшее несколько дней спустя за черепахой, расстался со своим четвероногим товарищем — квадропедом, — повстречавшимся ему на жизненном пути. Условием он поставил, что заберет черепаху назад, как только чуть подрастет его сын, и рассказал о молотке. Он звонил несколько раз и все собирался проведать Филю. Ему говорили, что с ним все в порядке, но, когда он совсем уж было собрался пойти со своим сыном к ним в гости, ему вдруг заявили, что черепахи нет, она умерла почти сразу же, на вторую неделю. Ее нашли утром лежащей посреди комнаты на паркетном полу с раскинутыми лапами без всяких признаков жизни и вынесли на следующий день на помойку, выкинули в мусорный бак во дворе. Он спросил, почему же не сказали ему сразу, зачем обманывали, зачем на помойку, а не отдали ему костяное тельце?! Ему отвечали с чуть виноватой и снисходительной улыбкой, по телефону, что не хотели огорчать: ну, ты понимаешь, старик, ну, что поделаешь?

Он вспомнил о балбесе, старшем, совершенно неуправляемом сыне приятеля, у которого вполне могло достать ума, сил и злонамеренности расколоть молотком панцирь бедного Фили.

Филя рассчитан был и взведен на полтора года—двести лет жизни в песчаной и безводной пустыне, встречаться с кем-то раз в несколько десятков лет, расставаться не чаще. А здесь за несколько месяцев, начиная с того злополучного чемодана, свистопляска хозяев, неверных и суетных, чьего лица, запаха, присутствия не стоит труда и запоминать. И завод его истек.

Но даже если он только прикинулся мертвым — а этого уже никак нельзя проверить, — даже в этом случае ему было не выжить. Позвоночник, выпущенный им вовне и укрывший тело панцирем от всяческих неприятностей жизни, все равно не помог бы ему спастись — уберечься от преждевременной и скоропостижной смерти в пустыне людей.

...Сын иногда обращался к нему:

— Папа, поговори со мной.

Ему очень хотелось, чтобы отец ему что-то рассказывал, спрашивал, объяснял. Он замороженно следил чуть сбоку и снизу за движением зрелых губ, его волновал сам процесс порождения речи, тайна связи звука со смыслом. Самому ему легче повиновались пальцы, карандаш в них, пластилин.

— Когда я научился рисовать череп, я перестал его бояться, — сказал как-то.

— Мне легче нарисовать тебе, чем сказать, — отмахивался он не раз от взрослых приставал, ощущая физически, как невозможно своими коротеньки-

ми, куцыми, несвязными словами воссоздать что-то хоть приблизительно равное тому миражному, парчовому великолепию, которое так легко и без усилий вытягивается из их ртов.

Вскоре, оказавшись впервые в чужой стране, отец его смог в полной мере испытать — а точнее, воскресить в себе — это ощущение, когда его собственный язык оставался исключительно для еды и внутреннего пользования; в наружном же пространстве его выразительные способности колебались где-то между уровнем возможностей дебила и глухонемого.

Когда он впервые ушел из дому, сын придвинул к раковине табуретку и вымыл посуду. Вероятно, он подумал, что дело в нем и если он будет вести себя хорошо, то папа вернется. В тот же день он впервые что-то слепил маме из пластилина — непослушными пальцами. Это был слон, распластавшийся под тяжестью собственных ушей, — на коротеньких, разьежающихся, мышинных ножках. Вернувшись, отец не смог на него смотреть и, когда проходил мимо серванта, всегда старался отвернуться. Совсем не инстинктивно. У него не могло быть тени сомнения, что в свое время этот слон будет воскрешен во плоти и опять вылеплен детскими пальцами из пластилина, чтобы быть положенным на чашу тех страшных, ох, каких страшных весов!..

Сын обожал кувыраться, как и он сам когда-то в детстве. Это был самый доступный, дешевый и радостный способ опрокидывания мира. По утрам, топоча, сын бежал в дальнюю комнату отца и прыгал на отцовском животе без устали, словно на батуте, приговаривая: «Ты ж-живой очень!» — с нотой некоторого неодобрения. Однажды, напротив, пришел, едва не волоча ноги, клонясь головой под тяжестью непосильной работы мысли.

— Папа, тебе как ж-живется?

— Что? — не сообразил тот спросонок. — Живется?! А тебе, брат, как живется, трудно?

Сын ответил не сразу.

— Всем трудно, — убежденно сказал он, помолчав. — Даже игрушкам. Даже машинкам. — И рассудительно подвел черту: — Им трудно живется потому, что их так много.

Он «поведен» был на автомобилях. Увидав впервые в ночном небе полную луну, вскричал:

— Папа, стой, колесо на небе!

Все в квартире куда-то ехало — ко всем ножкам столов, стульев, буфетов приставлены были крышки кастрюль, круглые рассекатели пламени, сита. Вернуть их на кухню можно было только через слезы и крики последнего отчаяния. В бессильной злости он кусал себя за руку...

Что-то тревожило его. Мать жаловалась, что он спросил ее как бы между прочим, дожидаясь у магазина:

— А ты жизнь мою не сумеешь забрать?

Это было всегда неожиданно, вроде бы ни с того ни с сего. И не то чтоб он дожидался ответа, а как бы проверял реакцию. Чтобы продолжать соображать дальше. Как-то в трамвае безо всякого повода — возможно, проехали мимо одной из церквей — вдруг сказал легко и серьезно:

— А ты знаешь, если у тебя что-то не получается... Ты знаешь... Ты попроси у Бога, папа.

Откуда в нем это было, Господи!..

Нет, конечно. И повод, и причина — все было. Повторял, как заклятие, как упражнение, как домашнее задание:

— Я люблю тебя, маму и себя. Ты любишь маму, меня и себя. Мама любит меня, тебя и себя.

Купленного ему копеечного пластмассового сверчка с членистым брюшком тут же у прилавка тайком поцеловал в микроскопический красный рот и крепко сжал в кулаке. Сверчок был назначен главным героем игр, комендантом фантастических городов и генералом сражений, куда вовлекались все игрушки, переломанные машинки, разнокалиберные кубики, разделочные и гладильные доски, железные дороги, стулья, так что игра расплзалась на всю комнату.

— Ты опять меня надуракачил, папа! Сейчас я папу надуракачу!..

Как вкопанный останавливался перед строительным забором.

— Здесь нюхается поездом.

Слегка обескураженно, подняв перед тем тучу голубей:

— Такого простого мальчика поугались!..

Обходя лужу, собрав все душевные силы, крепко сжав игрушечный автомобиль в руке:

— Мальчик, который катает машинки по лужам, совсем не молодец, а дурак!

Когда уходил в последний раз, чтоб уже не вернуться, сбегал на кухню и утащил со стола, сколько смог унести во все еще маленьком кулачке, пригоршню нашинкованной свежей капусты — дал ему с собой. Отец так и унес ее — в кулаке...

Однажды дед подарил его сыну общую тетрадь в клетку, на треть заполненную пронумерованными записями — некой помесью книги рекордов и собрания казусов — «все о животных»: сколько шейных позвонков у воробья и какой длины обитающий в море червь *Linnea longissimus*. На клеенчатой обложке тетрадки наклеен был вырезанный из журнала «Техника — молодежи» фотоснимок, где человек-лягушка с аквалангом застыл распоркой в распахнутой вспененной пасти кашалота, упираясь одной рукой в верхнюю челюсть, готовясь прыгнуть. На поверхности и без того нечеткого изображения проступил желтыми пятнами силикатный конторский клей.

В посвящении на внутренней стороне обложки высказывалось пожелание, чтобы внук довел когда-нибудь записи в этой рукописной книге до конца. Всего записей насчитывалось 237. Предпоследняя, 236-я, была лапидарной. Она гласила: «Крокодилы не видят снов». Точка.

Очнувшись вдруг посреди ночи и сразу открыв глаза, будто и не ложился вовсе, в состоянии некой моментальной и резкой ясности, абсолютного бодрствования — будто ему поднесли нашатыря — он спокойно произнес:

— Господи, это же ясно, как Божий день!

Эта свекровь, она же просто убила свою невестку. Убила, чтоб не отдавать ей своего сына...

...Конечно, учитель знал, на что идет, беря квартиранта. Но давно уже следовало поменять котел и трубы, подключить солнечные батареи на крыше, под установку которых правительство предоставляло кредит. На следующей же неделе учитель взял отпуск и сорвал газовую колонку и ванну. Сантехники вынесли ванну в белом пенопластовом ложе в детскую комнату. Они перепаяли медные трубы и поменяли повсюду краны, навинтив на место старых новые — зверского приапического вида, — купленные учителем впрок, вероятно, еще на новоселье. Они приходили дважды, но на третий визит — для того, чтобы поставить ванну на место — у учителя не хватило денег. Да и в школе накопились дела. Установку ванны он решил отложить до следующего месяца.

Жилец поинтересовался, когда можно будет принять душ. Пришлось объяснить ему ситуацию, а на его недоумение — посоветовать ходить в бассейн. Жилец попросил к тому же поменять ему постельное белье и постирать кое-что из его вещей. Белье хозяин ему выдал, а стиркой вещей, сказал, сможет заняться только на следующей неделе: вещи разного цвета, в машину все равно столько за один раз не войдет. Глаза хозяина при этом были голубы, прозрачны и невинны.

Наутро, неожиданно для себя, хозяин обнаружил на кухне сдержанно-яростную записку, в которой жилец сообщал ему, что намерен разорвать контракт и в ближайшее время сменить квартиру. Это было совершенно некстати. Деньги мысленно были уже потрачены на всякие неотложные дела, а теперь при-

шлось бы либо опять переносить их на неопределенное время, либо искать другого постояльца, самому на этот раз давать объявление, и неизвестно, кем еще окажется новый квартирант. Этот все же был вполне сносен, ему не приходилось ничего объяснять дважды, в ведении хозяйства щепетилен, и, даже если он где-то выпивал, как все русские, по нему это было не слишком заметно. Ночной режим? — но и учителям тоже приходится иногда работать сверхурочно: то распечатать на компьютере расписание уроков, то составить вопросы контрольной работы на завтра. Тем более что и не слышно его по ночам вовсе — свет только горит, да изредка лестница проскрипит. Хозяин счел за благо извиниться: он не имел в виду ничего плохого, ванну он поставит на следующей же неделе сам с приятелем; также он договорился уже с соседкой: жилец сможет тем временем пользоваться ее душем и ванной; сегодня, кстати, он затевает стирку, и где те вещи, что надо было постирать? Разговор происходил в прибранной до блеска гостиной — днем приходила подруга учителя и навела образцовый немецкий порядок. Жилец подумал — и остался. Переезжать, опять привыкать, а здесь тихо, сосны, до центра двадцать минут на метро.

И все же что-то помимо малой уязвимости и самодостаточности квартиранта, помимо неразличения им дня и ночи, помимо денег немецких налогоплательщиков, черт бы их побрал, — что-то еще неуловимо задевало в нем хозяина. Не в способе поведения или манере держаться, а именно в нем самом. Коллеги на работе расспрашивали о его русском, останавливали соседки — на тихой улочке мало событий, — недоумевали по телефону друзья и знакомые. Раздражало свое какое-то, придаточное, что ли, подчиненное положение. Так он чувствовал себя иногда прежде, бывая в театре покойной жены. Тот, *КОГО ОН НЕ ЗНАЛ*, должен был быть таким же — той же породы. Ну почему все в природе норовит становиться с ног на голову?! Ведь это он, Герхардт, который сам себя сделал, который воспитывает дочь, который живет в Западном Берлине, в уважаемом районе, в собственной квартире, в объединенной Германии. Чего же не хватает ему? Да нет, всего довольно. Еще немного денег только. Одной Патриции — счастья его жизни — достанет ему до конца его дней.

Он пил по ночам.

На самом деле, как ни хотелось ему себе в этом признаваться, он ведь рассчитывал и на другое: много общаться с постояльцем, иногда выпивать с ним. Потому и откликнулся на объявление, и оживился, узнав, что будет русский, открытый, напористый, пусть бы даже оказался дикарь и дурак — это бы только шло на пользу и было ближе к цели: разговаривать с ним обо всем на свете, лишний раз убеждаясь, что люди повсюду не так уж разнятся, освежаться его vitalностью, заряжаться от него энергией. Может, даже, перебрав с ним как-то, выговориться самому, тем более что вряд ли бы тот все понял, как надо, а если бы что и понял, то все равно вскоре исчез бы без следа навсегда. Чтоб распустились наконец хоть немного эти петли полуторагового оцепенения. Самому чуть ослабить тиски самоконтроля, потому что иначе ведь можно просто повеситься. А вешаться нельзя.

У этого русского, однако, похоже, у самого было не все в порядке. Впечатление первого вечера оказалось обманчивым. В разговорах и общении он никогда не переходил невидимой черты. И то целыми днями не выходил из своей комнаты, то пил где-то по ночам в Берлине, как выяснялось иногда, в таких местах и таком обществе, куда вряд ли бы позвали простого берлинского учителя средней школы. Учитель еще в один из первых дней нарочно купил точно такую же, как была у русского, бутылку граппы, понадеявшись попить ее с ним понемногу, и теперь ему приходилось приканчивать ее в одиночку, мешая то с пивом, то с сухим вином, а когда засиживалась подруга, то и с немецким шампанским, иногда засыпая под утро в кресле у телевизора. Он мрачнел с каждым днем и в каждую следующую ночь выпивал все больше. Хотя проклятая граппа все никак не кончалась.

Однажды под утро, так и не дождавшись жильца, подключив уже солнечные батареи, он задумался: а не пора ли разом положить конец ненужным пе-

реживаниям и не разорвать ли контракт самому? Присутствие постороннего человека в собственном доме начинало действовать на него гнетуще. И если бы жилец вдруг возник сейчас на пороге, то уже этим утром был бы поставлен хозяином перед необходимостью подыскать себе другую квартиру. В то утро, однако, жилец так и не появился. А следующие два дня, вероятно, отсыпался, поскольку из своей комнаты не выходил и шагов не было слышать. Свет зажегся у него только к вечеру второго дня.

Мысли при погашенном свете

«Какое идеальное преступление — вместе с жертвой гибнет и исполнитель! Более того, до самой трагической развязки исполнительница эта не сознает своей роли, не видит далее следующего конкретного шага, преступный замысел не проникает в верхние слои сознания и не вносит помех в их работу — какой идеальный, не снившийся авторам триллеров и криминальных романов биоробот! И при бросающейся в глаза неэквивалентности обмена — погашения кредитов жизни начинающейся и молодой по векселям жизни исчерпанной и заканчивающейся,— сама возможность расследования в данном случае парализуется всем корпусом гуманитарных ценностей европейской цивилизации, всей системой табуирования. Есть мотив — один из самых глубинных и архаичных в человеческой, материнской психике,— есть жертва, есть исполнитель, есть слепая случайность, налицо улики, и нет преступления!

— Неужели же ты аж такой подлец?!

Что ж, это тоже не исключено.

Но тогда нет, значит, и железы по имени *чуйка* — нет интуиции,— или она лжет, что одно и то же. В любом случае, даже если ты окажешься прав, тебе нет прощения, и потому продолжим распутывать этот клубок.

Почему другая, молодая женщина, актриса, вдруг умирает, подбросив своего ребенка в свет, словно подкидыша, оставляет его на руках у отца? Ресурсы матери безграничны, вся история войн и бед тому подтверждением. Мать и актриса, однако, вступают в конфликт, и побеждает актриса, свивая веревку себе из астмы и умирая от удушья, как и подобает артисту. Почему к тому же она делает это всего полгода спустя после того, как всей семьей они поселяются наконец в собственной квартире?! Обременив мужа навсегда загадкой, от которой он не в состоянии ни отказаться, ни разрешить ее, потому что ключ от нее унесен на тот свет. Только ли по той тривиальной причине, что, судя по всему, не складывалась или складывалась не совсем так театральная карьера, что сумма притязаний оказалась завышенной и предостояло тридцать неромантических лет выплаты кредита? 35+30=65 лет. Это ли не растрата? Вероятно, совсем бездарной она не была, поскольку отказала себе в том, что до сих пор является самым бесплатным на свете,— в квинтэссенции дара, воздухе для дыхания.

Ни в какие случайности верить не приходится. В мире жизни и смерти случайностей нет. Они все значимы. Почти повсеместное отношение к самоубийцам как «сачковщикам», дезертирам предполагает и некоторую коррекцию вообще представлений о смерти — этом падишахе среди болезней,— требует признания человека каждый раз до определенной степени ее пособником и соучастником.

Твоя жена родила тебе сына в годовщину смерти своей матери, через несколько лет — баш на баш! Это какие же часы надо иметь и не догадываться, что они тикают в тебе, чтобы понести ровно за девять месяцев до назначенного срока — день в день! Довольно слепоты. Ты повинен в смерти ее матери, пережившей лагеря. Болезнь, сведшая ее в могилу, началась несколько недель спустя после того, как ты расстался с ее дочерью, не собираясь, а точнее, запретив себе на ней жениться. Возможно, у тебя были свои резоны; допустим, навсегда генетически перепуганная, она поколебалась скрыть твои бумаги от пристально интересующегося ими носа государства, но факт остается фактом: смерть матери стала ее отчаянной последней попыткой вернуть тебя своей до-

чери. И ты тогда еще, догадливый сукин сын, понял содержание ее послания тебе, свою повязанность отныне виной. Будем продолжать?

Придется многое вспомнить. Многолетнее сумасшествие одного, чью младшую сестру ты соблазнил и жил с нею в его доме. Мужчины свихиваются обычно на идеях, а женщины на «передке», и то, что он был уже наполовину помешанным, а она порочна еще гимназисткой, не меняет сути дела. Стоит ли удивляться, что вскоре тебя повыстригали из всех фотографий в этом доме? Еще одного — инвалида умственного труда, на каждом углу называвшего себя твоим учеником безо всяких на то оснований и выбросившегося в конце концов из окна. Стоило тебе взяться за веник с совком ненароком — он прочитывал это как знак «выметайся». А ему уже некуда было идти. Читал, стоя на пеньке, стихи алкашам и урлэ... С криком «Боже, бери меня!» вышел в окно от санитаров. Этому уж ты точно его не учил. Дылда-нескладеха, он не летел и пяти метров — и упал на перила балкона, выходящего в палисадник. У него лопнула печень. Услышав шум, соседи вышли на балкон и сбросили его с перил в палисадник. Там он пролежал еще часа два на прихваченной первым морозцем земле, пока не приехала «Скорая». Санитары уехали сразу же. Вряд ли он мог думать о чем-то в это время.

Ты простудился тогда на похоронах, и из проснувшейся почки посыпались камни, словно из Везувия. На снимках почка выглядела красиво, как звездная туманность с планетами и астероидами, точнее, как карта этой туманности, с какими-то мелкими буквами, условными обозначениями и указанием диаметра небесных тел. В миллиметрах. Если исходить из никем не опровергнутой теории бегства в болезнь, то простуда, как ты сам знаешь, не является никаким смягчающим обстоятельством.

Зубной врач, которая тебя лечила и с которой ты спал, говорила как-то, наваливаясь животом и орудуя бором:

— Если камни образуются на зубах, значит, они образуются повсюду — это общая тенденция организма: в почках, печени, других внутренних органах...

— Как, и в сердце тоже?! — вскричал ты тогда.

«Трус!» — сказала она тебе однажды. Ты не хотел их обманывать. Ты делал нечто гораздо худшее. Искал безуспешно мать, как все, но задача-то, возможно, заключалась в том, чтобы попытаться удочерить?!

Меланхолично подумал однажды, стоя на улице, простреленной утренним солнцем навывлет, и глядя на гормональный пух на лице встреченной старой любовницы, что если дело пойдет так дальше, то вскоре придется спать с покойницами.

Сколько их, носящих твой член в своем сердце?! Ну хорошо, не член, а образ, и не в целом сердце, а в одном из его желудочков и предсердий, внутренних карманов. Отключи время — и получишь гарем. Чур меня, чур! Все вроде целы, ан нет, все шло наперекосяк.

— Разве можно так, поднять человека, а потом отпустить?! — спрашивала больным, хриплым голосом та гонщица, что, отлежавшись несколько месяцев, до сих пор, наверное, гоняет по городу, которого больше на свете нет, в своем открытом, похожем на зарешеченное корытце автомобиле. Это ей ты — потому что любил — открыл как-то невыносимую тайну того, *что ее нет*. Самым ужасным было то, что она, кажется, поверила.

Так получается, что едва ли не лучшее из того, что можно сделать с мужчиной, является наихудшим из того, что можно сделать с женщиной: оставить их в покое.

Можно припомнить и кое-что еще, такого, что взовьешься еще, но это уже сам. Ты просто рушишься внутрь себя. Тебя ведь тоже почти что нет. Когда все перекрытия, стены и перегородки станут проницаемы для взгляда, тебе покажется, что теперь наконец тебе ясно все, но это будет означать только, что ты уже мертв.

А теперь — попробуй уснуть.

Можешь даже не пытаться.

Включи лучше свет, выпей немного, чтобы дотянуть до рассвета.

Только не напивайся — будет еще хуже...

Проснулся он перед полуднем. Все, что переспшишь, выходит потом бессонницей, как этой ночью. Не дал Бог таланта. Ему вспомнился киевский друг, у которого он провел неделю перед отъездом, — вот у кого способность спать по пятнадцать часов в сутки, — богатырский, нечеловеческий сон, Божий дар и черная зависть! Просто любимец богов! Бульвар за окном пролегал через голову, ты вставал уже раз десять, давился сигаретой с похмелья, сидел в сортире, отмокал в ванне, гремел посудой на кухне, а он все спит. Экая прорва сна! Есть еще такие люди в стране и на свете. Попадают в поездах иногда. Когда проводница пошла по вагону, как брехня по селу: «Киев, Киев! Сдавайте постели!» — и какая-то старушенция в платочке, с корзиной, подергав ее за форменную юбку, сказала:

— Деточка, не надо так кричать. Они сами щас встанут. Проснутся, встанут. А кричать не надо, бо будить людину — то великий грех!

Да и сам этот Киев, наружно созданный для жизни, а на деле вата в воде. Ни воды, ни ваты. А дальше — низкое небо России «Квас», спрятанный в слове «Москва», как в погребе, зубы ломит. В Берлине, впрочем, небо такое же. Ветер только другой, внезапно выворачивающий на прохожих переполненные дождевой водой тенты лотков. Бирли-бирли, берло, Берлин, Берлаг, берлога.

Здесь медведь с вьющимся огненным язычком и наманикюренными в крови котями. Тот — титульный зверь на воротах русской души — самый крупный из впадающих в спячку, хтоническая куча. Засыпает травоядным гедонистом, сладкожкой — просыпается всеядным хищником. Лопаются глазки, поднимаются ушки, тянется когтистая лапа, раздается голодный рев. А между тем легко поддается дрессировке. Сколько их водили по деревьям на цепочках сразу после гражданской, когда не было еще электрических розеток и некуда было включить телевизор. Многостаночник: рыбу ловит, пчел разводит, по деревьям лазит, безобразен, но быстр и ловок. Оборотень — лапу сосет, пайнкой прикидывается, мишуткой косолапым, дрищет сразу, чуть что не так. И на иконе Шишкина: косматая семейка и пейзаж бурелома, — в каждой душе, в каждом доме прежде, на конфетах, в школах.

У них в целях воспитания — Красная Шапочка. У нас — Маша и Медведь, несколько версий. Вот и прикидывай, на чьем примере дочку растить, как зверя из сына, как из коврика, выколачивать.

Он поднялся наконец, подошел к окну, чтоб впустить в комнату прохладный, свежий, еще утренний воздух, — произвольно отшатнулся. За одну ночь вспыхнуло красным листом одноногое деревце под окном, отсыревшее, похожее теперь на нахохлившуюся большую птицу, забредшую нечаянно в сад. Вероятно, ему сад поручил этой ночью открыть парад гибели растений.

Побрившись и умывшись, он вышел за покупками. Часть продуктов купил в дорогом магазине, а остальное, перейдя через дорогу, в дешевом. В дешевом кассирша его обсчитала, выбив на чеке килограмм сахара, которого он не брал, — но он заметил, и не моргнув глазом она вернула деньги. Прикупив еще на почте конвертов и марок, он не спеша вернулся домой.

Кот на этот раз проигнорировал его завтрак. У него имелось на то основание. Он возился на полу гостиной с мышью, принесенной, вероятно, из сада. Гладкошерстый и жирный, он относил ее в зубах на середину комнаты и выпускал. Он настолько при этом был уверен в себе — гестаповец с ремешком на шее и в белых перчатках, — что она, юная подпольщица, никуда не денется, что глядел в другую сторону, когда она ускользнула от него под скомканную ковровую дорожку и там затаилась. Кот, тупица, прослушивал дорожку, подлазил под нее с разных сторон, но пока не находил свою жертву. Выхода из комнаты все равно не было. Защилкающуюся кошачью дверцу, приподнятую над уровнем пола, мыши было не преодолеть.

Кофе жилец решил выпить у себя. Поднимаясь, он задержался ненадолго на лестничной площадке перед расклеенными на стене фотографиями актри-

сы. Фотографии были любительские, осенние: у парапета моста, под деревом, в голом поле — повсюду она была одна в кадре. По счастью, характер оказался у нее не мстительный, а может, просто она обессилена была еще не столь давней смертью и ночью в комнату свою с визитом не наведалься. Хотя жилец не мог припомнить ни единого сна этой ночи, ни даже обрывка сновидения. Он и не хотел воспоминаний. Бог миловал.

Попивая кофе, он снял с полки один из томов немецкой иллюстрированной истории. Гитлер в седле, с непокрытой головой, в виде белого рыцаря с красным флагом, с копошащейся на флаге, в круглой дырке, черной свастикой; штурмовики, изловившие и выставившие на тротуаре с табличками на шеях рослую немецкую девушку и коротышку еврея, держащего в руке котелок с таким видом, что вот он сейчас сфотографируется, получит свой поджопник и пойдет домой; диаграммы инфляции; карты Европы; породистые, преисполненные сознания собственной значимости лица писателей-олимпийцев, позирующих перед объективами вечности; военные и антивоенные плакаты; загадочные портреты человекообразных нелюдей, в мундирах и без, да нет, пожалуй, именно что людей; города, подчистую обращенные в щебенку, в строительный мусор.

«Зачем ты спрашивал, Герхардт, не воевал ли мой отец? — думал жилец, листая книгу и испытывая некую тошноту, мутоту с легкой примесью любопытства, как всегда от Истории.— Уж не воевал ли твой? Скажем, на Северном Кавказе, где мой двенадцатилетним пацаном, как заяц, петлял с дедом, бабкой и сестрой по Ставрополю, повсюду натываясь на вой с небес, бомбежку, шеренги инопланетян-автоматчиков, на дезертиров в пшенице, недоеных коров, беженцев таких же, как они, и со всех сторон танки, танки, которые — «наши! это наши!» — и все до единого оказывались «ненашими». Он начал умирать тогда на руках у деда — просто так, от отвращения, он же был совсем мальчишкой, — но дед вынес его, в бреду, они приткнулись на краю какой-то станицы и прожили под оккупацией полгода, пока немцев не погнали. Кому и когда он поверит теперь, кроме «наших»? Разве можно так пугать детей? И в конце семидесятых он все еще будет повторять сыну: «Если начнется, все бросай, немедленно приезжай, забирай маму, сестру — и на восток, только на восток! Наша ошибка в сорок втором была, что мы пошли на юг!..» Остальное он собирался доделать сам.

Он вернулся том на полку — в ряд таких же черных, с цветными картинками на корешках, еще одиннадцати. История, блеснув выправкой, щелкнув кабелями сапог, сомкнула строй...

Палец его прошелся по книгам по искусству, по полке кино. Взгляд задержался на обрывке газетной бумаги, который не раз попадался уже ему на глаза. Аккуратные корешки книг, стеклянные прозрачные полки и какой-то выдраный неряшливой рукой газетный клочок неправильной формы, — первым позывом его было отправить клочок в корзину для бумаг. Он потянулся за очками. Это оказалось некролог, подписанный, судя по фамилии, родителями умершей женщины — молодой, 1959—1994, — может, это актрисы? Но фамилия совсем другая, не такая, как у хозяина, и не такая, как у дочери. Может, родственница или знакомая?..

Он подсел к столу, допил кофе, закурил сигарету. Повертел газетным обрывком в пальцах и положил его на место. Вероятно, все же он там неспроста лежит. «Надо будет при случае спросить у Герхардта, если не забуду», — подумал он, и тут же мысли его перескочили на свои какие-то дела. Он просмотрел визитные карточки, которые надавали ему в изобилии за последние дни, перенес некоторые телефоны в записную книжку. Полистал фестивальные программки, временами заглядывая в крошечный, канареечного цвета словарь. Отметил кое-что птичками. Принялся выискивать нечто на схеме Берлина и углубился в ее изучение.

— Боже, какой ты тупой! — сказал он вдруг, распрямляясь.— Это же не его дочь!..

Перестаньте удивляться!

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

Занимательная диалектика

Году этак что-нибудь в 1963-м на протяжении двух месяцев сидели мы с Борей Слуцким в Коктебеле за одним столом. Вместе завтракали, обедали, ужинали и рассказывали друг другу разные истории, или, как сказано у Бабеля, замечания из жизни. Я расскажу — он расскажет. Истории цеплялись одна за другую, и казалось тогда, что сиди мы вот так хоть целый год, не оскудеет наш запас, не будет этим нашим историям ни конца и края.

В какой-то день случилось так, что все эти наши устные мемуары упорно, словно каким-то невидимым магнитом притягиваемые, склонялись к одной теме: причудам нашей родной социалистической экономики. Началось с того, что я рассказал про забавный казус, приключившийся с моим соседом по дому Рудей Бершадским.

Когда кооперативный дом наш на Аэропортовской еще только строился, мы, будущие его обитатели, то и дело приходили полюбоваться, как идет стройка, и уходили счастливые, увидав, что дом вырос еще на пол-этажа. Почти все мы до этого ютились по коммуналкам, и грядущее вселение в отдельную квартиру представлялось нам невысказанным счастьем. И вот, когда дом уже подбирался к последнему — восьмому — этажу, нам объявили, что каждый может заказать **индивидуальную планировку**. Скажем, увеличить кухню за счет прилегающей к ней комнаты. Или наоборот. Соответствующие расходы надо было, понятно, предварительно оплатить. Но цены тогда на все эти дела были божеские, а по нынешним временам так и вовсе символические.

Я тем не менее на эту удочку не клюнул. А Рудя Бершадский клюнул. Он заказал себе **тамбур**. Это значило, что длинную кишку коридора, тянущуюся через всю его квартиру, он решил перегородить: в полутора метрах от входа навесить вторую дверь. Получалось очень элегантно: входя в квартиру, вы попадали в крохотную прихожую, снимали там пальто, шапку и только после этого, отворив вторую дверь, попадали уже в собственно апартаменты. И вот, оплатив соответствующим образом эту свою индивидуальную планировку, Рудя стал чуть ли не каждый день навещать в свою будущую квартиру, чтобы поглядеть, не сделали ли ему этот его вожделенный **тамбур**. Но всякий раз ему отвечали, что нет, поскольку до сих пор не завезли дверей.

Но всякому ожиданию, как известно, рано или поздно приходит конец, и в один прекрасный день, явившись на свой пост, Рудя услышал, что его тамбур вроде бы наконец готов. Ликуя и содрогаясь, как сказано у того же Бабеля, он взбежал по лестнице, толкнул дверь своей будущей квартиры и... Нет, его не обманули! Прихожая была именно такой, какой он ее себе представлял. Но,

когда он сделал попытку открыть вторую дверь и пройти в квартиру, из этого ничего не вышло. Дело было в том, что первая, входная, дверь открывалась внутрь квартиры, то есть **от себя**. А вторая, та, которую рабочие наконец навесили, **на себя**. А поскольку тамбур, как я уже сказал, был крохотный, две двери — первая, входная, и вторая, ведущая в квартиру,— сталкивались друг с дружкой, и проникнуть в квартиру при такой раскладке не было никакой физической возможности.

— Мужики, вы это что же мне сделали? — спросил ошеломленный Рудя у неспешно копошившихся в его квартире работяг.

— Чего?.. А-а, это? — невозмутимо ответствовали они.— Да нам тут, понимаешь, завезли только левые двери. Правых, говорят, сейчас нету...

— Так ведь в квартиру же не войти... Как же я...

— Да ты, хозяин, не волнуйся,— успокоили его.— На той неделе завезут нам правые двери, и мы тебе ее навесим.

— Так какого же дьявола вы навешивали эту дверь, если она не годится? Зачем двойную работу делать?

Тут на него посмотрели, как на малолетку-несмышлениша.

— То есть как это зачем? Ведь если бы мы не навесили, нам бы ведомость не закрыли. Мы бы расчет не получили... Да ты, хозяин, не волнуйся! Все будет путем. Приходи на той неделе, увидишь: будет у тебя нормальная дверь.

Выслушав эту историю, Слуцкий в ответ рассказал свою.

До какого-то высокого начальства дошло, что наш отечественный трактор существенно тяжелее американского трактора той же мощности. Тут же в соответствующий НИИ было спущено задание: довести вес отечественного трактора до американского стандарта.

Ученые мужи в НИИ решили эту задачу просто. Всюду, где можно было, они заменили тяжелые металлы (железо? сталь?) на более легкие (дюраль? алюминий?). Себестоимость трактора при таком раскладе сильно выросла, но фирма не стояла перед затратами: задание-то было не удешевить машину, а сделать ее легче. А это было выполнено даже и с превышением: новый трактор, наполовину сделанный из цветных металлов, оказался даже легче американского. Выходило, таким образом, что наши конструкторы не только догнали, но и перегнали Америку. Но у нового трактора оказался один довольно существенный недостаток: он не мог нормально двигаться. Он не передвигался по земле обычным способом, как ему полагалось, а прыгал, как лягушка. Вероятно, новый вес трактора требовал какой-то новой, совершенно иной его конструкции.

Но ученые ребята из НИИ и тут не растерялись. Они стали загружать трактор балластом, подвешивать какую-то там чугунную гирьку, что ли. И в конце концов пришли к результату, при котором и волки были сыты, и овцы целы. Трактор стал хоть и не таким легким, как в начале эксперимента, но все-таки не тяжелее американского. И при этом нормально двигался.

Ну а что касается стоимости цветных металлов, пошедших на его «усовершенствование», так до этого, естественно, никому не было дела. Никто ведь за них не платил. Да и кому платить, если все свое, то есть государственное, то есть ничье.

Выслушав эту историю, я вспомнил рассказ своего приятеля, побывавшего на целине, о том, как они возили на грузовиках зерно по тамошнему бездорожью. Когда грузовик буксовал, черпали зерно ведрами, щедро сыпали его под колеса и двигались дальше, до следующей заминки.

Тут же, к слову, вспомнил и рассказ возившего меня таксиста, который раньше работал на грузовике. Выполненный план им считали не по числу сделанных ездов и не по пройденному километражу, а по количеству израсходованного за рабочий день бензина. Поэтому часть бензина они **сливали прямо на дорогу**.

Была, кажется, в ответ рассказана еще какая-то история — в том же духе — Борисом. Потом — снова мною. Потом пошли другие рассказы, уже не про экономику, а про дела писательские, литературные. Но и в них тоже открыва-

лась все та же нелепая, фантазмагорическая, уродливая, смешная и грустная, уникальная наша советская реальность.

А потом Борис вдруг спросил:

— Сколько вы знаете таких историй?.. Сто?.. Двести?.. Триста?.. Пятьсот?

Вопрос был совершенно в его стиле. Один наш общий приятель любил пародировать эту его офицерско-комиссарскую манеру знаменитой репликой Остапа Бендера: «В каком полку служили?»

Слуцкий между тем требовательно ждал от меня ответа.

— Ну откуда же я знаю, Боря? — сказал я. — Разве я их считал? Вот вы расскажете что-нибудь, и тут же, как сказано у Льва Николаевича, по странной филиации идей и у меня что-то всплывает. А так, по заказу, я, наверно, и десяти не припомню.

— Ну, хорошо, — подытожил Борис. — Возьмем минимум: сто. И у меня, я думаю, набралось бы столько же. Если бы мы не поленились и все их записали, получилась бы недурная книжка. А озаглавить ее можно было бы так: «**Занимательная диалектика**».

И тут я вдруг вспомнил своего отца. Когда я — или кто-нибудь другой — рассказывал ему о каком-нибудь очередном нелепом, идиотическом факте нашей советской жизни, он всякий раз отвечал на это одной и той же репликой:

— Перестаньте удивляться!

Этой классической фразой он как бы давал понять, что самая природа окружающей нас реальности представляется ему таким чудовищным **отклонением от нормы**, что никакое частное, конкретное безумие на фоне этого всеобщего, тотального безумия уже не может его удивить.

Но мой отец родился в 1892 году, революцию встретил взрослым человеком, поэтому нет ничего удивительного в том, что мир, созданный революцией, провозгласившей, что **кто был ничем, тот станет всем**, представлялся ему перевернутым вверх тормашками.

Слуцкий же был не просто частицей этого нового мира. Он был **плотью от его плоти**. Именно **этот** мир должен был представляться — и наверняка представлялся! — ему самым полным и последовательным воплощением того, что он считал нормой.

Прекраснодушным идиотом он, конечно, не был. Но на протяжении всего нашего долгодетного — довольно близкого — знакомства, даже в очень откровенных, безусловно, доверительных разговорах, он никогда не позволял себе и тени насмешки над **идеалами**. Он мог сколько угодно и как угодно глумиться над советской действительностью. Над Хрущевым. Над Сталиным. Но при одном-единственном непременном условии: глумление это неизменно исходило из представления, что и Сталин, и Хрущев, и «ареопаг мудрейших» — «наш славный ленинский ЦК», да и сама коммунистическая партия — «ум, честь и совесть нашей эпохи», что все это — не что иное, как **искажение, извращение** великого идеала.

Рассказывая (в стихах) о своем вступлении — на фронте, после боя — в коммунистическую партию, он заключил этот свой рассказ выводом:

Так я был принят в партию,

Где лгать нельзя и трусом быть нельзя.

Это означало:

— Вот в какую партию я вступал! Не в вашу нынешнюю, в которой удержаться могут только лгуны и трусы, состоять в которой — значит ежедневно лгать и трусить, трусить и лгать.

Предложив озаглавить собрание рассказываемых нами друг другу историй ироническим словосочетанием «Занимательная диалектика», Борис — кажется, единственный раз за все время нашего многолетнего знакомства — приотодвинул на миг маску, скрывающую от посторонних глаз его истинное лицо. Ведь святое слово «диалектика» в этом контексте — это был камешек уже не в Хрущева и не в Сталина, и не в советскую власть, а прямо и непосредственно

в основоположников великого учения: вот, мол, полюбуйте, бородачи, каким бредом обернулась ваша хваленая диалектика.

Комические истории, на протяжении двух месяцев рассказываемые нами друг другу, эти исполненные черного юмора анекдоты, в один миг вдруг представили передо мной все уродство нашего советского бытия не как **искажение**, а как **единственно возможное, закономерное и неизбежное воплощение** пресловутой маркс-энгельсовской диалектики в реальность.

Борис, быть может, вовсе и не вкладывал в эту свою реплику такой глубокий, обобщающий смысл. Он ведь говорил не всерьез. Это была не мысль, а всего-навсего **острота!**

Да, конечно. Но ведь острота, как объяснял Фрейд, — это «внезапный разряд интеллектуального напряжения», неожиданный даже и для того, у кого она родилась, выплеск из **бессознательного** — в **сознание**.

Вот и в этой внезапно сорвавшейся у него с языка остроте выплеснулось, я думаю, тайное, глубоко спрятанное, на протяжении многих лет тщательно вытесняемое в подсознание, подлинное отношение прославившегося своим «комиссарством» Слуцкого к его родной советской реальности.

Поэтому-то, решив на старости лет припомнить и записать некоторые из тех (а также и многих других) историй, отчасти моих собственных (то есть фиксирующих то, чему свидетелем был я сам), отчасти слышанных от других, а иной раз даже и вычитанных из книг, я долго не мог придумать для этого своего сочинения лучшего названия, чем то, которое ненароком сорвалось тогда с языка у Бориса. Однако, поразмыслив, я все-таки решил от этого названия отказаться, заменив его тем, под которым и предлагаю сейчас главы из этой книги вашему вниманию. Оно лучше хотя бы уже тем, что в отличие от первого не требует никаких предисловий.

Но в память о том, кто дал моему замыслу первый толчок, мне все-таки захотелось написать коротенькое предисловие. Думая о своей будущей книге, записывая для нее — впрок — какую-нибудь очередную вдруг припомнившуюся историю, я всякий раз помечал, что это — для нее, для моей «Занимательной диалектики». Привык к этому названию, сроднился с ним. И поэтому решил сохранить его если не для всей книги, так хотя бы для предисловия к ней.

Приступить к этой давно задуманной книге мне долго мешало отсутствие в ее замысле какого-то внутреннего стержня, который определил бы ее логику, ее внутреннее построение, ее композицию. Я все ждал, когда же он — этот стержень — появится. Но, поскольку он так и не появился, в конце концов решил, что не стану думать ни о какой логике, ни о каком построении, ни о какой композиции, а просто буду записывать эти истории в том порядке, в каком они будут мне вспоминаться. И пусть они цепляются одна за другую — так, как они цеплялись тогда, когда мы с Борисом рассказывали их друг другу на еще не застекленной, всем ветрам открытой веранде кокетельской столовой тридцать с лишним лет тому назад.

Посмотри на себя в зеркало

У Тодика Бархударяна было длинное, узкое лицо. Тонкие губы постоянно кривила ироническая усмешка. Такой же усмешкой светились его глаза под большими очками в роговой оправе.

В юности Тодик мечтал стать актером. Для этого у него вроде были все данные. Во всяком случае, руководитель их школьного драмкружка неизменно его хвалил и предрекал ему славное актерское будущее. Вот только роли он почему-то всегда давал ему какие-то неприятные. А Тодик, естественно, стремился заполучить хорошую роль. Он все ждал и надеялся, когда же наконец ему выпадет сыграть главного героя какой-нибудь пьесы. И однажды, не выдержав, прямо обратился с этой просьбой к руководителю.

Вслушав его, тот сказал:

— Тодик! Посмотри на себя в зеркало. Ведь у тебя умное, интеллигентное лицо. Ну сам подумай: разве ты можешь с таким лицом играть положительно-

го героя в советской пьесе? С таким лицом тебе надо играть троцкиста, меньшевика, эсера. В лучшем случае — иностранного шпиона.

Пусть думает, что я троцкистка

Эту историю рассказала мне Ольга Львовна Слиозберг, промыкавшаяся по сталинским тюрьмам и лагерям 17 лет.

В тюрьме она сблизилась с одной совсем простой, неграмотной женщиной, обвинявшейся, естественно, в троцкизме. И вот однажды эта женщина обратилась к ней за советом. Каким-то чудом дошло до нее с воли письмо от дочки. Дочке исполнилось пятнадцать лет, и ей предстояло вступать в комсомол. И она просила мать, чтобы та написала ей: правда ли, что она троцкистка, что злоумышляла против нашей страны, против товарища Сталина? Если правда, она проклянет ее и вступит в комсомол. Если же мать честно напишет ей, что ни в чем не виновата, то вступать в комсомол она ни за что не станет. Девочка признавалась, что ей, конечно, очень страшно думать, что при таком повороте она сразу станет изгоем. (Выражала она это, конечно, другими словами, но мысль была именно такая.) И все-таки — писала она матери — лучше бы мне узнать, что никакая ты не троцкистка, не враг народа.

Получив это письмо, мать девочки проревела всю ночь. А наутро попросила Ольгу Львовну написать дочери от ее имени, что все, в чем ее обвиняют, — правда. «Так прямо и напиши, — сказала она. — Вступай, доченька, с чистым сердцем вступай. У тебя перед комсомолом никакой вины нет, а за мать ты не ответчица. Сам товарищ Сталин сказал, что сын за отца не отвечает».

Ольга Львовна изо всех сил старалась уговорить ее не возводить на себя напраслину, не признаваться в несуществующей вине. Но та твердо стояла на своем.

— Ей жить, — сказала она. — Легкое ли это дело — девчонке знать, что мать сидит ни за что? Нет, пусть уж лучше думает, что я троцкистка.

А наш-то — забывает американца

Эту историю рассказала в одной из своих книг Светлана Аллилуева. На концерте приехавшего из Америки Йегуди Менухина она оказалась в одной ложе с Кагановичем: какой-то его родственник был скрипачом, и поэтому дети иногда затаскивали его на концерты. Этот вечер был настоящим праздником искусства, вспоминает Светлана. Менухин и Ойстрах играли концерт для двух скрипок Баха. Она наслаждалась необыкновенно гармоничным ансамблем двух виртуозов.

Вдруг сидящий рядом с ней Каганович наклонился к ее уху и, подмигнув, сказал:

— А ведь наш-то — забывает американца!

Во всем доме — только писатели?

Когда мы въехали в наш новый — писательский — дом, в квартире моего соседа работал старик столяр. Он сооружал ему полки для книг.

Время от времени хозяин квартиры заглядывал к нему — посмотреть, как идет работа. И они разговаривали.

Разговоры были вполне дружелюбные, но хозяин все время чувствовал, что старика сверлит какая-то навязчивая мысль. Какой-то вопрос, который он хочет ему задать, но не решается.

Но однажды он все-таки решился.

— А правда, — спросил он, — что в этом вашем доме одни писатели живут?

— Правда, — сказал хозяин.

Старик покрутил головой, хмыкнул.

— А что? — спросил хозяин.

— Да нет, ничего,— ответил старик.— Просто я подумал: мог бы я в таком доме жить?

— В каком таком? — не понял хозяин.

— Ну большущий дом, вот вроде вашего. А в нем — одни столяры...

Мы тебе другую найдем

То ли во внутренней тюрьме Лубянки, то ли позже, в ссылке, Эмка Мандель познакомился с одним белоэмигрантом, которого наши вывезли из Белграда и состряпали ему дело. Собственно, он был даже не белоэмигрант, а сын эмигрантов первой волны, то ли ребенком вывезенный за границу, то ли уже там родившийся.

По образованию он был юрист (окончил Сорбонну). И никак не мог понять, в чем, собственно, его обвиняют. Обвиняли его по статье, которая называлась «Измена родине». Он же полагал, что, не будучи гражданином СССР, изменить этой своей «родине» никак не мог. И изо всех сил пытался втолковать это своему следователю.

Но тот Сорбонну не кончал. Он был юристом совсем другой школы. И не мог понять, чего подследственный от него хочет. Когда же наконец понял, облегченно вздохнул и сказал:

— Тебе что, статья не нравится? Так мы тебе другую найдем!

На каком языке он поет?

Осенью 1956 года Константин Георгиевич Паустовский впервые в жизни оказался в Париже. Вспоминая об этих нескольких незабываемых днях, он с какой-то особой нежностью говорил об одной русской женщине, с которой ему там довелось познакомиться. Она принадлежала к так называемой первой эмиграции: родители увезли ее в Париж, когда ей было три года. Рассказывая о знакомстве с ней, Константин Георгиевич все время повторял, что он испытывал прямо-таки физическое наслаждение, слушая ее русскую речь — необыкновенно чистую и какую-то по-особенному певучую. Он сказал, что сперва даже стеснялся говорить с нею. Он выразился так:

— Мы отвыкли от такого языка. Мы говорить на нем уже не умеем.

А вот что рассказали мне про такую же русскую даму мои друзья уже из новой, третьей, эмигрантской волны. На концерте Галича, напряженно вслушиваясь в его песни, в эти привычные, такие естественные для нас галичевские словечки и выражения («Я возил его, падлу, на «чаечке»...», «Ты, бля, думаешь, напал на дикаря, а я сделаю культурно, втихаря...», «Схлопотал строгача — ну и ладушки...», «Тут его цап-царап — и на партком!..», «Индпошив — фасончик на-ка выкуси!..»), она обернулась к человеку, сидящему в соседнем кресле, и с искренним недоумением спросила:

— На каком языке он поет?

Какие прекрасные лица!

Теперь у нас многие объявляют себя монархистами. А лет тридцать назад монархист у нас был один: Володя Солоухин. Он, конечно, не кричал о своем монархизме на всех перекрестках, но довольно демонстративно носил на пальце золотое кольцо с изображением Николая Второго. Однажды, взяв его за руку и приблизив это кольцо к глазам, я спросил:

— Что это у тебя?

— Память от бабушки,— ответил он, улыбнувшись слегка сконфуженной улыбкой.— Бабушка мне пятерку царскую оставила, вот я на память о ней и ношу.

Но теперь Володя своих монархических взглядов уже не скрывает.

Недавно он читал (по телевизору) стихи Георгия Иванова и с особым чувством, с некоторым даже вызовом прочел такое его стихотворение:

Эмалевый крестик в петлице
И серой тужурки сукно...
Какие прекрасные лица,
И как это было давно.

Какие прекрасные лица
И как безнадежно бледны —
Наследник, императрица,
Четыре великих княжны...

Странное дело!

Я давно и хорошо знал эти стихи. При всей моей чуждости «миру державному» даже любил их. Но тут я словно бы услышал совсем другое стихотворение. Ничего общего не имело оно с тем, которое я так хорошо знал и помнил. Хотя в тексте стихотворения, читая его по памяти, Солоухин сделал только одну, на первый взгляд совсем несущественную, ошибку. У Георгия Иванова в первом четверостишии лица членов императорской семьи не прекрасные, а печальные: «Какие **печальные** лица!» И только во второй строфе — впервые! — возникает другой, новый эпитет: **прекрасные**.

Эта замена одного эпитета другим создает особую — и единственно возможную — интонацию прочтения этого коротенького стихотворения.

Много лет спустя после катаклизма, вышвырнувшего его за пределы родной страны, где-нибудь там, в Париже, попалась поэту на глаза — может быть, в подшивке старой «Нивы» — эта фотография. Он вглядывается в нее, и чувство, которое она рождает в его душе («... как это было давно!»), неотлично от того, которое выплеснулось в другом его стихотворении: «Мы жили тогда на планете другой!» Пока еще речь только об этом, о случайно оказавшемся в его руках осколке, обломке той, прежней, жизни, которая исчезла, ушла на дно — как некая новая Атлантида. Но вот первое и, пожалуй, главное из того, что замечает он, вглядываясь в эту старую фотографию, в лица изображенных на ней людей: «Какие **печальные** лица!»

Слово «печальные» — здесь ключевое. Оно означает, что, когда он глядел на эту фотографию раньше, в той, прежней, безмятежной петербургской своей жизни, эти лица вовсе не казались ему печальными. Печальными они кажутся ему сейчас, когда он смотрит на них из будущего, уже зная их грядущую судьбу, и ему чудится, что на их лицах, в выражении этих лиц тоже отразилось это **знание** будущей своей судьбы: оттого они и печальные. (Невольно тут приходят на ум строки Ахматовой: «Когда человек умирает, изменяются его портреты. По-другому глаза глядят, и губы улыбаются другой улыбкой».)

Конечно, тогда они знать не знали и думать не думали о грядущей трагической своей судьбе. Не могли знать! Вот почему в этом неожиданном восклицании поэта — «Какие печальные лица!» — слово «печальные» звучит словно бы удивленно. В нем как бы слышится вопрос: «Почему **уже тогда** они были печальными, эти лица?» И то же удивление, пожалуй, даже слегка усиленное, слышится во второй строфе, в этом новом, другом эпитете: «Какие **прекрасные** лица!»

Этим удивленным эпитетом поэт как бы говорит: оказывается, они прекрасны, эти лица! Почему же я не замечал этого раньше? Как мог я раньше глядеть на эти же самые лица и не видеть, как они прекрасны?

А не мог он увидеть это раньше, потому что в той, прежней, жизни эти лица ассоциировались у него с Ходынккой, с Кровавым воскресеньем, с Распутиным, с шепотком о предательнице-царице, немке, тайно сочувствующей заклятому врагу России — Вильгельму, со всей той атмосферой глубочайшего, тотального неуважения к царствующему дому, какой было пронизано тогда все общество, весь тот круг, к которому он принадлежал, частью которого был.

Чтобы увидеть эти лица **прекрасными**, надо было пережить трагический финал той исторической драмы. И еще: надо было увидеть лица новых властителей России, пришедших на смену этим.

Для Солоухина это стихотворение Георгия Иванова, судя по тому, как он его прочел (с пафосом: «Какие прекрасные лица!» и с двойным, возрастающим упором на слово «прекрасные»), — просто славословие батюшке-царю, государыне-императрице, наследнику и великим князьям. Весь тонкий и сложный подтекст стихотворения до него не дошел.

Да он и не мог до него дойти: ведь ему и лицо Сталина, которого он охранял в юности, когда был кремлевским курсантом, тоже, наверное, кажется прекрасным.

Я ж коммунист!

Эту историю мне рассказал Володя Войнович. И, хотя она вполне в «войновичевском» духе, я не сомневаюсь, что она подлинная. Выдумать, как любили говорить в таких случаях Ильф и Петров, Войнович мог бы и посмешнее. На то он и Войнович.

А история такая. Один человек должен был получить квартиру. Все у него уже было на мази. И документы все были в порядке, и решение всеми мыслимыми и немыслимыми инстанциями давно уже было принято. А ордер ему все не выдавали. И тянулось это бесконечно долго. И он не понимал, что происходит. Так бы, наверно, и не понял, если бы какой-то сведущий человек ему не объяснил, что надо дать взятку. И не только объяснил, но и свел его с тем, кому надо было дать.

И вот они сидят в ресторане «Арагви» — потенциальный, так сказать, «взяткодатель» и потенциальный «взятковзятель». На столе — сациви, лобия-мобиа, цыплята табака, хванчкара или, там, киндзмараули, а может, коньяк, — в общем, все, что полагается в таких случаях. А потенциальный «взяткодатель» томится, мнется, не знает, как приступить к делу.

Наконец, не придумав ничего лучшего, он сказал:

— Вы знаете, я взятку никогда не давал, не знаю, как это делается, поэтому не будем валять дурака. Вы мне прямо скажите: сколько? Кому? Где? Когда?

Тот ответил:

— Две тысячи. Мне. Здесь. Сейчас.

У «взяткодателя» прямо камень с души свалился.

Быстро совершив операцию, они радостно стали выпивать и закусывать. И тут вдруг «взяткодатель» хватился.

— Послушай, — озабоченно сказал он, — а это дело верное? Не выйдет так, что деньги я тебе отдал, а все как было, так и останется на мертвой точке?

— Ты что? — обиделся тот. — Я ж коммунист!

Я хочу платить!

Мой друг Борис Балтер лежал с инфарктом в Боткинской больнице. Рядом маялись такие же, как и он, привыкшие к неудобствам советского больничного быта страдальцы. Но на беду среди них оказался один иностранец — кажется, канадец. Его привезли в Боткинскую по «скорой» с острым приступом аппендицита.

Положили его — то ли не разобравшись, то ли по причине отсутствия низкопоклонства перед иностранцами, — как и всех новичков, в коридоре.

Описывать обстановку, в которой оказался не привычный к таким передрягам иноземец, я не буду: кто лежал в советской больнице (а кто в ней не лежал?!), легко домыслит все это сам.

Короче говоря, едва только наш канадец пришел в себя, как тут же потребовал, чтобы вызвали к нему представителя канадского посольства. Тот прибыл. Канадец объяснил, что болезнь в Советском Союзе категорически отказывается: пусть его сейчас же везут домой, в Канаду.

Тут весь персонал Боткинской больницы всполошился. Забегало все больничное начальство. Стали объяснять — и пациенту, и посольскому служаще-

му, — что везти больного в таком состоянии никуда, а тем более так далеко ни в коем случае нельзя. Опасно. Необходима срочная операция. Но канадец на все эти уговоры не поддавался и твердо стоял на своем: немедленно домой, в Канаду. И тогда кто-то из больничного начальства пустил в ход самый, как ему казалось, веский аргумент.

— У вас в Канаде, — сказал он, — такая операция стоит очень дорого. А у нас в стране медицина бесплатная, и вам ничего не придется платить ни за самую операцию, ни за уход, ни за пребывание в больнице...

И тут наш канадец, до этого момента державшийся хоть и настойчиво, но корректно, заорал что было сил на весь больничный коридор:

— Я хочу плати-ить!

Друзья и враги Пушкина

В 1937 году вся наша страна с большой помпой отмечала столетие со дня гибели Пушкина.

Естественно, не осталась в стороне от этого события и школа. Были торжественные вечера, концерты. Ну, и на уроках литературы, конечно, тоже постоянно толковали о Пушкине. И вот однажды наша учительница принесла в класс большой рулон, торжественно развернула его и достала два больших — каждый величиной с нашу школьную стенгазету — листа. Попросила дежурных по классу помочь ей прикрепить эти листы кнопками к стене. Вид у нее при этом был такой, точно она приготовила нам приятный сюрприз. Мы с интересом ждали.

И вот наконец долгая процедура прикрепления учебных пособий к стене закончилась, и перед нашим взором открылась такая картина.

Слева висел плакат, на котором — вверху — красовалась надпись: «ДРУЗЬЯ ПУШКИНА». Под надписью размещались портреты людей, многие из которых были нам хорошо знакомы: Пущин, Кюхельбекер, Пестель, Рылеев, Чадаев...

Справа был укреплен другой плакат, на котором такими же крупными буквами была выведена другая надпись: «ВРАГИ ПУШКИНА». Под ней красовались портреты людей, многие из которых тоже были хорошо нам известны: Николай Первый, граф Бенкендорф, Дантес... Замыкала эту галерею врагов Пушкина прелестная женская головка. То была красавица Натали, Наталья Николаевна, жена поэта.

Побег из тюрьмы

Эту историю мне рассказал мой приятель Акпер Бабаев — литературовед, доктор наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы им. А. М. Горького Академии наук СССР.

Узкой его специальностью была то ли турецкая, то ли азербайджанская литература. Точно не помню. Помню только, что между азербайджанцами и турками Акпер не желал видеть никакой разницы: решительно утверждал, что это — одно и то же.

То ли потому, что он искренне причислял себя к турецкой нации, то ли потому, что это входило в круг его профессиональных занятий и интересов, Акпер считал своим долгом познакомиться с Назымом Хикметом. Ну а познакомившись, они довольно быстро сблизились и даже подружились. Так что историю эту Акпер узнал от самого Назыма, так сказать, из первых рук.

Назым Хикмет, как известно, был коммунистом. В его родной Турции это не поощрялось, и за свою коммунистическую революционную деятельность он был посажен в тюрьму. Турецкая тюрьма — это, конечно, не Лефортово и не Бутырка. Условия в сравнении с нашими там были просто санаторные. Разрешались, например, регулярные свидания с женой. Поэтому семейство Назыма

на воле все росло: чуть ли не каждый год появлялся на свет очередной его отпрыск — сын или дочь.

И все-таки тюрьма — это тюрьма. И товарищи по партии решили устроить Назыму побег.

План побега был разработан во всех деталях. И поначалу все шло в строгом соответствии с этим планом. В назначенный день, оказавшись за тюремными воротами (как именно — не знаю, об этом Акпер мне не говорил), Назым появился в условленном месте — на берегу моря. Там его ждала заранее снаряженная шлюпка, в которой он нашел все необходимое для побега: одежду, еду, запас питьевой воды, компас... Среди других предметов первой необходимости были ракетница и мегафон: согласно плану Назым должен был уйти на этой шлюпке в открытое море, плыть некоторое время по заданному курсу, а там уж его подберет какой-нибудь советский пароход.

Не помню, то ли на второй, то ли на третий день своих скитаний по морю — во всяком случае, вымотался он изрядно — Назым наконец увидел вдали пароход, идущий под милым ему сердцу красным флагом. Обрадовавшись, он стал подавать сигналы. Хоть и не сразу, его заметили. Подчиняясь его сигналам, пароход замедлил ход. Приблизившись, Назым достал мегафон и прокричал, обращаясь к людям, столпившимся на палубе:

— Я турецкий коммунист Назым Хикмет. Бежал из турецкой тюрьмы. Прошу взять меня на борт!

С палубы в ответ раздались ликующие крики:

— Слава верному ленинцу, героическому сыну турецкого народа Назыму Хикмету!.. Ура-а!

Назым понял, что его узнали. Ну, узнать, может быть, и не узнали, но, судя по этим ликующим крикам, имя его пассажирам и команде парохода, во всяком случае, известно. А надо сказать, что имя его в ту пору в Советском Союзе действительно было на слуху. Его портреты печатались в «Огоньке». Статьи и очерки о нем то и дело появлялись чуть ли не во всех тогдашних советских периодических изданиях.

Убедившись, что на пароходе поняли, кто он такой, Назым облегченно вздохнул, решив, что дальнейшее — уже дело техники. Но дальше события стали развиваться как-то странно. Точнее — никак.

На палубе, правда, народу все прибавлялось. И радостные крики все усиливались. Но никто почему-то не спешил брать его на борт. У Назыма мелькнула мысль, что его, быть может, не так поняли. Может быть, они там решили, что он просто совершает этакую морскую прогулку...

Он снова прокричал в свой мегафон, стараясь на этот раз объяснить ситуацию как можно понятнее, чтобы она не вызывала уже никаких недоумений и кривотолков:

— Я турецкий коммунист Назым Хикмет. Совершил побег из тюрьмы с целью получить политическое убежище в Советском Союзе. Прошу взять меня на борт!

— Да здравствует Назым Хикмет!.. Слава верному ленинцу, выдающемуся борцу за свободу!.. Пламенному революционеру!.. Замечательному революционному поэту!.. Великому сыну турецкого народа!.. Ура-а! — кричали ему с борта.

Прошел час, другой. Время от времени Назым подносил к губам свой мегафон и уже вконец охрипшим голосом снова и снова повторял все те же объяснения и ту же просьбу. И всякий раз в ответ раздавались ликующие здравицы в его честь. Но дело не двигалось.

Так прошло несколько часов. Назым уже вконец отчаялся. Все это было похоже на какое-то изощренное издевательство. Он даже уже начал опасаться, что, прокричав напоследок еще несколько таких же здравниц и революционных лозунгов, обитатели парохода сделают ему ручкой — и отчалят. И он останется в своей шлюпке в открытом море...

И вот тут, когда у него уже не оставалось почти никаких надежд на благополучный исход всего этого безнадежного предприятия, ситуация вдруг разре-

шилась. Его наконец подняли на борт, провели в кают-компанию, где уже был собран народ для торжественной встречи — митинга. А на стене, увитый цветами, висел его портрет — как видно, наспех разысканный и вырезанный из «Огонька».

Ну а дальше все пошло как по маслу. Были приветственные речи, рукопожатия, объятия, поцелуи. Потом — как водится — застолье...

Назым терялся в догадках. Он никак не мог взять в толк: что все это значило? Почему его промурыжили в шляпке чуть ли не полдня? Задавал этот вопрос одному, другому, третьему... Но внятного ответа добиться не мог. Кто блудливо отворачивался и переводил разговор на другую тему, кто нес какую-то невразумительную чепуху... Наконец кто-то сжалился над ним и объяснил — шепотом, на ухо, как бы доверяя важную государственную тайну:

— **Согласовывали!**

Сколько стоил партийный билет

Фазиль Искандер на сухумском базаре заговорил с человеком, который продавал водительские права. Покупать он их не собирался (у него и машины-то не было), но из любопытства спросил:

— Сколько?

Тот ответил:

— Пять тысяч.

— А за три не отдашь? — спросил Фазиль. (Тоже, разумеется, из чистого любопытства.)

Продавец обиделся:

— Что, я тебе партийный билет продаю?

Самое интересное в этом ответе, как объяснил мне Фазиль, было то, что цена партийного билета в его родном Сухуми составляла тогда ровно три тысячи рублей. В партию принимали преимущественно рабочих. И интеллигенту, которому для карьеры или по иным каким-нибудь причинам (скажем, чтобы избежать очередного сокращения штатов) приспичило вступить в железные ряды, надо было уплатить (в виде взятки) именно такую сумму.

Волшебник Яхве

Корней Иванович Чуковский мечтал издать для детей книгу библейских сюжетов — наподобие знаменитой, любимой многими поколениями детей книги В. Куна «Что рассказывали древние греки о своих богах и героях». Он даже пытался сколотить коллектив авторов, чуть ли не каждому из своих литературных знакомых предлагая переложить для детей какую-нибудь из библейских историй — на выбор.

Затея по тем временам была совершенно нереальная. Другого автора, явись он в издательство с такой идеей, сразу бы завернули. Но авторитет Корнея Ивановича был высок, и ему отказать не посмели.

— Мне, — рассказывал он, — поставили только одно жесткое условие: ни в одном из рассказов ни при каких обстоятельствах не должны были упоминаться два слова: — «Бог» и «евреи». Представить себе изложение библейских сюжетов, не упоминая об евреях, я с грехом пополам еще мог. Но обойтись в этом случае без упоминания Бога? Это, по-моему, было просто невысказано.

Но нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики. Посовещавшись, многоопытные и изобретательные советские литераторы придумали для Бога псевдоним. В их переложениях библейских сюжетов Вседержитель именовался — «Волшебник Яхве».

Это, впрочем, им не помогло. Книгу все равно запретили.

Лифт работает?

Это рассказал мне один мой приятель, который был родом из Кишинева. В тот день, когда Кишинев (как и вся Бессарабия) стал советским, в одном из лучших отелей города разместилась военная комендатура. Военный комендант пригласил к себе хозяина отеля и спросил:

— Лифт работает?

Тот несколько растерянно ответил, что да, конечно, работает.

— Смотрите, чтобы лифт работал! — строго сказал военный комендант и кивнул, давая понять, что аудиенция окончена.

Хозяин отеля, как говорил мой приятель, долго потом терялся в догадках. Он никак не мог понять: что, собственно, имел в виду этот странный русский офицер? Почему вдруг у него возникла мысль, что **лифт может не работать?**

Ведь мы теперь живем совсем иначе!

В середине 60-х мы втроем (Л. Лазарев, С. Рассадин и я) сочинили пьесу, предназначавшуюся для московского Театра сатиры. Главный режиссер этого театра Валентин Николаевич Плучек очень хотел поставить Зоценко. Ничего удивительного в этом его желании не было: Зоценко — признанный классик советской сатиры. И, как говорится, сам Бог велел ставить его на сцене театра, именуемого Театром сатиры.

Проще всего, конечно, было бы взять для постановки какую-нибудь пьесу Зоценко. Но пьесы этого писателя не шли ни в какое сравнение с его прозой. И Плучек решил на смелый эксперимент: обратился с этой своей идеей не к профессиональному драматургу, а к трем литературным критикам, о которых ему только и было известно, что они пламенные поклонники таланта Михаила Зоценко и более или менее прилично знают все им написанное.

Мы вдохновились этим предложением театра, и пьеса была сочинена. В финальной сцене, помню, мы использовали рассказ про старичка, который заснул летаргическим сном, а все думали, что он умер. Возникла большая суматоха, старичка никак не могли похоронить: то не могли найти катафалка, то не было лошадей. Когда же наконец и катафалк, и лошади нашлись, старичок «воскрес». Но в его «воскресении» никто не поверил, и приехавшие похоронщики, а также соседи по коммуналке, где все это происходило, потребовали, чтобы старичок подал голос. Не отличаясь, как пишет Зоценко, большой фантазией, старичок сказал:

— Хо-хо!

Когда мы прочли нашу пьесу на труппе и артистам предложено было высказаться, наступило долгое молчание. Мы похолодели, решив, что это провал. Но длинная, томительная пауза была наконец прервана репликой молодой актрисы, сидевшей в первом ряду. Она сказала:

— Хо-хо!

Все рассмеялись, и пьесу в один голос стали хвалить.

Реплика актрисы оказалась, однако, пророческой. Пьеса была одобрена, принята к постановке, вот-вот уже должны были начаться репетиции. Но тут вдруг разразилась непредвиденная катастрофа.

Как раз в это время молодой Марк Захаров поставил на сцене Театра сатиры спектакль «Доходное место». Спектакль этот оказался до такой степени злободневным, все происходившее на сцене так крепко и точно «рифмовалось» с нашей тогдашней жизнью, что старая пьеса А. Н. Островского наделала шуму куда больше, чем столетие назад, когда она впервые была представлена на сцене Александринского театра. Пьеса игралась чуть ли не в современных костюмах. Во всяком случае, в костюмах, не слишком отличающихся от современных. И Аристарх Владимирович Вышневецкий в исполнении Георгия Павловича Менглета куда больше походил на какого-нибудь номенклатурного работника ЦК КПСС, нежели на русского чиновника середины прошлого века.

Скандал разразился грандиозный. Екатерина Фурцева, бывшая тогда министром культуры, просто билась в истерике. Кажется, именно тогда и стало мелькать это знаменитое слово, надолго определившее мрачную атмосферу нашей художественной жизни: «аллюзии». Было даже, если не ошибаюсь, специальное постановление, предусматривавшее, как именно следует интерпретировать творения классиков, дабы не возникало у зрителя вот этих самых «аллюзий».

О том, чтобы после такого скандала ставить на сцене того же театра нашу пьесу, само собой не могло уже быть и речи: она вся, от начала и до конца, была **сплошная аллюзия**.

Речь (в лучшем случае) могла идти только о том, чтобы заплатить ни в чем не повинным авторам причитающийся им скромный гонорар.

Но и это тоже оказалось совсем непросто.

— Понимаете, — сказал нам Плучек, — договор у вас с театром. Но деньги платит министерство. Мы вам заплатить не можем. Поэтому вы подайте на нас — то есть на театр — в суд. Театр этот судебный процесс, разумеется, проиграет, и тогда вы получите свои деньги.

Судиться с театром нам, понятное дело, не хотелось. Но Плучек убедил нас, что это чистейшей воды формальность. И мы согласились.

Оказалось, однако, что суд вовсе не склонен был превращаться в простую формальность. Адвокат, представлявший интересы театра, отнесся к своей миссии весьма ревностно. Он тщательно изучил не только злополучное постановление ЦК о Зощенко и Ахматовой, не только знаменитый доклад Жданова, но и всю критическую литературу тех незабвенных лет, когда Зощенко именовали подонком, злопыхателем, очернителем, клеветником и другими словечками того же смыслового и стилистического ряда.

Но эти словечки мелькали только на первом этапе — когда дело слушалось в народном суде. Убедившись, что весь этот джентльменский набор в новой исторической ситуации уже не очень действует, и потерпев в связи с этим сокрушительное поражение, к следующему акту драмы — слушанию дела в городском суде — адвокат решил изменить тактику. Теперь он уже говорил о Зощенко как о замечательном советском писателе, не скупился на комплименты не только в его, но даже и в наш адрес. Да, говорил он, Зощенко — классик советской литературы, выдающийся наш сатирик. И авторы пьесы добросовестно и даже талантливо инсценировали его рассказы. Но их постигла творческая неудача, потому что сегодняшняя наша жизнь не имеет решительно ничего общего с той, которую изображал в своих произведениях этот писатель.

— Ведь мы теперь живем совсем иначе! — то и дело повторял он.

Это был как бы постоянный рефрен, пронизывающий всю сложную систему его аргументов. Что рисовал Зощенко в своих сатирических рассказах? Какие картины он изображал? Он изображал узкий мещанский мирок, темных, невежественных и диких людей. Он был правдивым бытописателем эпохи нэпа. Но сегодня, сейчас мы живем совсем в другой действительности. И жизнь наша ничуть не похожа на ту, которую описывал Зощенко.

— Разве духовный мир современного советского человека так жалок и убог? — патетически восклицал он. — И разве наши люди говорят сегодня таким корявым, уродливым, безграмотным языком?

— Зощенко был замечательным писателем, — сказал он в заключение. — Но произведения его не выдержали испытания временем. Сегодня они имеют для нас лишь историческую ценность, как отражение быта и нравов давно минувшей эпохи. Что же касается сегодняшнего, духовно и интеллектуально выросшего советского зрителя, то для него Зощенко **безнадежно устарел**.

Речь адвоката несколько затянулась, и судья, извинившись перед нами, объявил, что слушание дела будет продолжено несколько позже, а пока он просит нас подождать: суду предстоит заслушать другое дело, не такое сложное, как наше. Мы же, если хотим, можем не покидать зал судебного заседания. Посоветавшись, мы сперва хотели было выйти погулять, но как-то замешкались — и остались в зале. Жалеть об этом нам не пришлось.

Суть разбираемого нового дела была такова.

Истец и ответчик жили в одном доме. Кажется, даже в одном подъезде. Но истец в отличие от ответчика был обладателем «Москвича», который за неимением гаража оставлял прямо у подъезда, как раз под окнами ответчика. Ответчика это возмущало. Как выяснилось по ходу дела, возмущало его не столько то обстоятельство, что автомобиль соседа ему мешал, как то, что он занял место, где ответчик мог бы ставить свой собственный автомобиль — в том случае, если бы он у него был.

— Но ведь у вас автомобиля нет? — спрашивал его судья.

— Пока нет. Но я стою в очереди на «фиат»,— отвечал тот. (Вошедшие позже в наш повседневный быт слова «жигуль», «лада», «шестерка» и т. п. тогда еще не были в ходу.)

Итак, ответчик был до глубины души возмущен тем, что истец своим стареньким «Москвичом» занял то место, которое он мысленно уже запланировал для своего будущего новенького «фиата». Возмущение это разрешилось тем, что он облил машину истца чернилами. Между соседями произошла по этому поводу небольшая перепалка. Но истец не внял предостережению: его «Москвич» по-прежнему стоял под окнами ответчика, всем своим гнусным, неприглядным видом отравляя ему жизнь.

И тогда ответчик решился на крайнюю меру. Под покровом ночной темноты он старательно обмазал машину истца **фекалиями**. (Именно это деликатное выражение употребил судья. Истец пользовался другим, более употребительным и общепонятным выражением, что время от времени вынуждало судью призывать его к порядку.)

Поступок ответчика был, конечно, из ряда вон выходящим. Но тут надобно принять в расчет, что совершен он был, как выражался в таких случаях писатель Зощенко, в минуту сильного душевного волнения.

Короче говоря, перед нами разыгралась драма в совершенно зощенковском духе. С той, правда, разницей, что в речи ее действующих лиц то и дело мелькали слова и понятия, зощенковским героям незнакомые.

— Я тогда как раз сдавал кандидатский минимум,— объяснял свои сложные жизненные обстоятельства истец.

— Я стою в очереди на «фиат»,— отстаивал свои позиции ответчик.

Безусловно, это был он, бессмертный зощенковский герой. Но как, однако, он вырос! Какой приобрел лоск! Как изменились его потребности и весь образ его жизни! Какие слова он научился произносить!

Нет, подумал я, что ни говори, а он все-таки прав, этот адвокат. Мы и в самом деле теперь живем совсем иначе.

Я бы так не смог!

В первые же месяцы войны обнаружилась полная профессиональная несостоятельность всех советских маршалов. «Первый красный офицер» Клим Ворошилов и создатель Первой Конной Семен Михайлович Буденный не могли воевать с танками Гудериана. Необходимо было не только заменить стариков новыми, молодыми командармами, но и как-то объяснить народу, почему легендарные полководцы гражданской войны, о воинских доблестях которых слагались оды, гремели песни и марши, оказались вдруг профнепригодными.

Эту задачу выполнил Александр Корнейчук своей пьесой «Фронт». Пьеса печаталась в «Правде» и по своему значению смело могла быть приравнена к постановлению ЦК. Ходили слухи, что Сталин сам, лично правил текст пьесы, вымарывая одни реплики и заменяя их другими. Когда один из любимых учеников поэта Ильи Сельвинского рассказал об этом учителю, тот сказал:

— Настоящий художник никогда не согласился бы на это. Я бы, во всяком случае, не смог.

— А что бы вы сделали на его месте? — спросил ученик.

— Если бы я оказался в положении Корнейчука,— ответил Сельвинский,— я бы сказал: «Товарищ Сталин! Вы сформулируйте вашу мысль, а я выражу ее своими словами».

А нас за что?

С. И. Липкин рассказал мне однажды о том, как секретарь Дагестанского обкома Даниялов спас свой народ от судьбы, постигшей чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар...

Во время войны Берия был представителем ставки Верховного Главнокомандующего на Северо-Кавказском фронте и жил у Даниялова, который и тогда уже был секретарем Дагестанского обкома. Вряд ли можно сказать, что они подружились, но, во всяком случае, отношения были не только официальные. Поэтому, почував, что дело пахнет керосином, Даниялов сразу кинулся в Москву, к своему другу Лаврентию. Тот ничего не скрыл от него.

— ОН все уже решил,— сказал Берия.— Вся территория до Дербента отойдет к РСФСР, а от Дербента — к Азербайджану. Народ будет выслан. Готовься.

— Неужели ничего нельзя сделать? — спросил Даниялов, прекрасно понимая, что, если ОН уже решил, любые разговоры на эту тему бесполезны.

Но Берия вдруг подал ему некоторую надежду.

— Один я ничего не могу,— сказал он.— Но я устрою тебе встречу с Георгием. (Имелся в виду Маленков.) Если Георгий согласится, вдвоем мы попробуем... Оставайся пока в Москве и жди.

И Даниялов стал ждать. И вот в один прекрасный день ему объявили, что товарищ Маленков его примет. Встреча, которую он так долго ждал, к которой с трепетом готовился, наконец состоялась. Восточный человек, он начал издалека. Рассказывал о трудовом подъеме, с которым народы Дагестана приступили к весеннему севу. О строительстве железной дороги, которая должна была пройти через Дагестан...

Маленков слушал его вполуха. Вопрос был решен, и все, о чем говорил секретарь обкома обреченной республики, не имело никакого значения. Тем же деловым, будничным тоном Даниялов сказал:

— Собираемся отметить круглую дату выступления товарища Сталина, лично провозгласившего в 1922 году независимость Дагестана.

Маленков встрепенулся:

— Как это — лично?

— Лично. Выступал в Темир-Хан-Шуре, в местном театре.

— Речь опубликована?

Даниялов достал и положил на стол соответствующий том из собрания сочинений Отца народов, где специальной закладкой уже была отмечена названная речь. Быстро проглядев заложенную страницу, Маленков встал, протянул Даниялову руку для рукопожатия и сказал:

— Езжайте, товарищ Даниялов, домой и спокойно работайте.

Вопрос о выселке народов Дагестана в места не столь отдаленные больше не поднимался.

Этот рассказ С. И. Липкина я вспомнил однажды в разговоре со своим другом — дагестанским (точнее, кумыкским) писателем Магометом-Султаном Яхъяевым. Магомет-Султан жаловался, что Даниялов, который возглавлял Дагестанский обком на протяжении четверти века, будучи по национальности аварцем, всячески выдвигал аварцев и оттеснял на второй план кумыков (самый многочисленный из сорока народов, населяющих Дагестан). Несправедливость эта коснулась и истории Дагестана: всячески подчеркивалась роль Махача Дахадаева, даже столицу республики назвали его именем (Махачкала), потому что Махач был аварцем. А именем кумыка Уллубия Буйнакского назвали Темир-Хан-Шуру, заглохшую и прозябающую ныне бывшую столицу края. Поэтому и книга Магомета-Султана, главным героем которой был Буйнакский, обкомом не очень поддерживалась. Хотя это явно несправедливо: ведь Уллу-

бий Буйнакский был большевик, а прославленный Махач даже и большевиком-то не был: был он то ли меньшевик, то ли эсер. (Исторический писатель, сочинивший несколько романов о революции и гражданской войне на Северном Кавказе, разницу между меньшевиками и эсерами Магомет-Султан представлял себе смутно. На мой вопрос: кем же все-таки был Махач, меньшевиком или эсером, он ответил: «Это ваши русские дела, я в этом плохо понимаю».)

И вот, когда Магомет-Султан завел однажды в очередной раз эту свою пластинку про Даниялова, при котором вся дагестанская партийная элита состояла исключительно из аварцев, а кумыкам, лезгинам и представителям прочих народов республики ходу не давали, я сказал:

— Что ни говори, а ведь этот Даниялов, которого ты так не любишь, все-таки вас спас.

— Кого спас? От чего спас?

— От ссылки.— Я уже предвкушал, как поразится Магомет-Султан, услышав в моем пересказе рассказ С. И. Липкина.— Ведь Сталин и вас собирался выслать. Как чеченцев, как ингушей, как крымских татар...

Магомет-Султан поднял на меня глаза, в которых светилось искреннее изумление:

— А нас за что?

Он что-то знает...

Писатель Николай Вирта написал пьесу «Заговор обреченных» и, как тогда полагалось, представил ее в Комитет по делам искусств.

Спустя некоторое время он пришел к заместителю председателя Комитета за ответом.

— Прочел вашу пьесу,— сказал тот.— В целом впечатление благоприятное. Финал, конечно, никуда не годится. Тут надо будет вам еще что-то поискать, додумать... Второй акт тоже придется переписать. Да, еще в третьем акте, в последней сцене... Ну, это, впрочем, уже мелочи... Это мы уже решим, так сказать, в рабочем порядке...

Вирта терпеливо слушал его. А потом вдруг возьми да и скажи:

— Жопа.

— Что? — не понял зампред.

— Я говорю: жопа,— повторил Вирта.

Зампред, как ошпаренный, выскочил из своего кабинета и кинулся к непосредственному своему начальнику — председателю Комитета Михаилу Борисовичу Храпченко.

— Нет! Это невозможно! — задыхаясь от гнева и возмущения, заговорил он.— Что хотите со мной делайте, но с этими хулиганствующими писателями я больше объясняться не буду!

— А что случилось? — поинтересовался Храпченко.

— Да вот пришел сейчас ко мне Вирта. Я стал высказывать ему свое мнение о его пьесе, а он... Вы даже представить себе не можете, что он мне сказал!

— А что он вам сказал?

— Он сказал... Нет, я даже повторить этого не могу!..

— Нет-нет, вы уж, пожалуйста, повторите.

Запинаясь, краснея и бледнея, зампред повторил злополучное слово, котрым Вирта отреагировал на его редакторские замечания. При этом он, естественно, ожидал, что председатель Комитета разделит его гнев и возмущение. Но председатель на его сообщение отреагировал странно. Вместо того чтобы возмутиться, он как-то потемнел лицом и после паузы задумчиво сказал:

— Он что-то знает...

Интуиция (а точнее, долгий опыт государственной работы) не подвела Михаила Борисовича. Он угадал: разговаривая с его заместителем, Вирта действительно знал, что его пьесу уже прочел и одобрил Сталин.

Умный поймет

Эту историю рассказала Анна Давыдовна Миркина, редактор всех прижизненных изданий мемуаров Г. К. Жукова. Привожу ее рассказ дословно.

«Брежнев очень хотел попасть в мемуары Жукова. Но Жуков писал только о тех людях, с которыми встречался лично. Брежнева же он за время войны не видел ни разу.

Кто-то из помощников подсказал генсеку выход. Жукову предложили вставить в его воспоминания эпизод примерно такого содержания: при обсуждении возможности расширения новороссийского плацдарма маршал захотел посоветоваться с начальником политотдела 18-й армии Леонидом Ильичом Брежневым, но не застал его, поскольку тот «как раз находился на Малой земле, где шли тяжелейшие бои».

Реакции Жукова на эту вставку я боялась так, что не решилась повезти ему визировать текст. Вместо меня поехал адъютант Прядухин.

Конечно, на даче Жукова была буря. Я приехала после ее окончания: всем было ясно, что без этой вставки книга не выйдет. Георгий Константинович был мрачный, как тень. Он долго молчал, а потом сказал:

— Ну, ладно, умный поймет.

И подписал текст».

Плакать, но не слишком

Эту историю я слышал от Володи Лакшина. А он — от Твардовского.

Когда Сталин умер, всех, как тогда говорили, ведущих писателей собрали в Колонном зале, за сценой. Первым секретарем Союза писателей был тогда Алексей Сурков. Он то появлялся, то исчезал — уезжал в ЦК за руководящими указаниями. И вот, вернувшись в очередной раз, объявил:

— Внимание, товарищи! Я только что **оттуда!** — Он показал пальцем в потолок.

Все, разумеется, сразу поняли, откуда — оттуда. И поняли, что на сей раз он наконец имеет сообщить нечто важное. Так оно и было. В мгновение наступившей тишине Сурков объявил:

— Сказали: плакать, но не слишком.

Если бы победил Троцкий

Натану Эйдельману рассказывал его отец. В лагере, у костра, каждый день отчаянно спорили сталинцы с троцкистами. К этим спорам с интересом прислушивался один зек — старый еврей, не принадлежавший ни к ортодоксам, ни к поклонникам Троцкого. После нескольких таких политдискуссий он сказал отцу Натана:

— Знаете, Яков Наумович, я наконец-таки понял, в чем разница между Троцким и Сталиным.

— ???

— Вот вы сколько писем имеете право посылать домой?

— Два письма в год.

— А если бы победил Троцкий... Что ни говорите, а Лев Давыдович в отличие от Сталина был человек интеллигентный. Если бы победил он, вы имели бы право посылать не два, а три письма в год.

Святые люди

Рассказывают, что на дверях квартиры Бриков какой-то их недоброжелатель нацарапал такое двустишие:

Вы думаете, здесь живет Брик — исследователь языка?

Нет, здесь живет шпик и следователь Чека.

Рифма хорошая, глубокая. Что же касается содержания...

Пастернак однажды признался, что не любил бывать у Бриков, потому что их дом напоминал ему отделение милиции.

Насчет того, был или не был Осип Максимович следователем Чека, мне ничего не известно. Но вот история, которой я был свидетелем.

Мы сидели у Лили Юрьевны и пили чай. Неожиданно пришел академик Алиханян с молодой женщиной. Слишком молодой, чтобы быть его дочерью, но все-таки недостаточной молодой, чтобы приходиться ему внучкой. Разумеется, это была его жена.

Он сказал, что торопится, долго засиживаться не может. Заглянул с единственной целью — дать прочесть одну коротенькую самиздатскую рукопись, которую сегодня же должен вернуть владельцу. Это был небольшой рассказ Солженицына — «Правая кисть». Чтобы ускорить дело, решили не передавать друг другу страницы, а прочесть рассказ вслух. Читать попросили меня.

Подробно этот рассказ я сейчас уже не помню: помню только, что главный его персонаж был «исполнитель», попросту говоря — палач, перетрудивший на своей «работе» правую кисть, отчего она у него постоянно болела. Я дочитал рассказ до конца. Слушатели подавленно молчали. Первой подала голос Лили Юрьевна. Тяжело вздохнув, она сказала:

— Боже мой! А ведь для нас тогда чекисты были святые люди!

И вас действительно били?

Известная киноактриса О. — женщина редкой красоты и редкого очарования — незадолго до войны была арестована. В лагере ей досталось особенно тяжело. А до ареста — на воле — за ней ухаживали, благосклонности ее добились многие, в том числе и весьма высокопоставленные люди. В числе тогдашних ее «светских» знакомых был и Абакумов — народный комиссар Госбезопасности. И, доведенная до отчаяния, она решила написать ему письмо, напомнить о давнем знакомстве и попросить разобраться в ее деле.

Письмо было написано. Это была не вполне официальная просьба. Это было очень личное письмо. И предельно откровенное. Она подробно рассказывала в нем обо всех издевательствах, которым подвергалась за все время своего тюремного и лагерного бытия.

Письмо было отправлено, разумеется, не по официальным каналам, и каким-то чудом дошло до адресата. В один прекрасный день ее подняли с самого лагерного дна, отмыли, подкормили, приодели и повезли в Москву. И привезли на Лубянку. И не куда-нибудь, а в кабинет наркома. Нарком вышел навстречу, поцеловал ей руку — так, словно дело происходило на каком-нибудь кремлевском банкете. В глубине комнаты был уже накрыт стол на два куверта: коньяк, шампанское, фрукты, пирожные...

Нарком сделал актрисе приглашающий жест, сел напротив нее, разлил вино в бокалы. И полилась непринужденная светская беседа — о том о сем. Вспоминали прошлое. Актриса ожила и уже совсем поверила, что все мытарства ее позади. Наконец нарком, оставив пустую светскую болтовню, заговорил о деле.

— Я прочел ваше письмо,— сказал он.— Неужели все, о чем вы там пишете, правда?

— Правда,— подтвердила актриса.

— И вас действительно били? — спросил нарком.

— Били,— снова подтвердила она.

— А как тебя били? — спросил нарком.— Так? — И он дал ей кулаком в зубы.— Или так? — Последовал еще один зубодробительный удар.— Или может быть, так?

Натешившись вволю, нарком вызвал охрану. Избитую, окровавленную актрису унесли. Бросили в камеру, а спустя несколько дней отправили назад, в зону.

Ты понимаешь, что произошло?

С этим взволнованным вопросом вбежал однажды к своему другу критику Семену Трегубу поэт Михаил Голодный.

— Что? Что случилось? — испугался Трегуб.

Но Голодный, вместо того чтобы ответить на этот вполне естественный вопрос, уселся на стул, уставился безумным взором куда-то мимо собеседника и повторил несколько раз ту же загадочную фразу:

— Нет, ты понимаешь, что произошло?

— Да скажешь ты, что там у тебя стряслось? — разозлился Трегуб.

Но Голодный не реагировал, уйдя мыслями куда-то далеко-далеко. Как выяснилось, так оно и было.

— Мне было семнадцать лет, — сказал он. — Я жил тогда в Екатеринославе. И напечатал в тамошнем журнале «Юный пролетарий» свои первые стихи...

— Ну? — подстегнул его Трегуб.

— Я был молодой поэт. Я шел по городу и на каком-то доме видел вывеску: «Райком...» Нет, тогда это называлось уком... «Уком комсомола». Я заходил. Меня встречали: «О, Миша! Ну что, написал новые стихи?... Сейчас мы попьем чайку и ты нам считаешь!» Мы пили чай, и я читал новые стихи... Теперь ты понимаешь, что произошло?

— Ничего я не понимаю! — раздраженно сказал Трегуб.

— Выйдя из укома комсомола, я шел дальше, — продолжал вспоминать Голодный. — Я видел вывеску: «Уком КП(б)У». Я заходил. И там мне тоже говорили: «О, Миша! Наш молодой поэт! Сейчас мы попьем чаю и он считает нам свои новые стихи!» И мы пили чай, и я опять читал стихи. И все хлопали меня по плечу. И говорили: «Молодец!» Потом я выходил на улицу и шел дальше. И мне в глаза бросалась вывеска: «Чека». И я заходил. И там меня тоже поили чаем, и просили считать новые стихи, и хлопали по плечу, и говорили «молодец!» Теперь ты понимаешь, что произошло?!

Трегуб растерянно молчал.

Тогда, наклонившись к самому его уху и понизив голос почти до шепота, Голодный сказал:

— Теперь я их всех боюсь.

Адмирал Исаков и Буденный

У Георгия Николаевича Мунблита возникли какие-то отношения с адмиралом Исаковым. Адмирал в ту пору начал писать свои мемуарные очерки и рассказы, а Георгий Николаевич оказался то ли их внутренним рецензентом, то ли редактором.

Впервые придя к адмиралу домой, он увидел у него в кабинете огромный писанный маслом портрет Буденного.

Будучи человеком весьма нелицеприятным, Мунблит спросил:

— Почему у вас здесь висит этот портрет?

— Мне подарил его Семен Михайлович, — объяснил адмирал.

Приглядевшись, Мунблит увидел под портретом теплую дарственную надпись, адресованную маршалом хозяину дома. Казалось бы, вопрос был исчерпан и щекотливую эту тему можно было бы и не развивать. Но не таков был Георгий Николаевич Мунблит.

— Дело в том, — пояснил он, — что у нашего брата-литератора свой счет к этому человеку. Мы не можем простить ему Бабеля.

И он рассказал адмиралу о знаменитой статье Буденного «Бабизм Бабеля из «Красной нови», в которой создатель и командующий Первой Конной изничтожал бабелевскую «Конармию», обвинял писателя в злостной и грубой клевете на буденновцев. Несколько дней спустя он даже отыскал в своем архиве эту давнюю статью (она была напечатана в № 3 журнала «Октябрь» за 1924

год) и притащил ее адмиралу. Заставил прочесть, буквально ткнув адмирала носом в самые пахучие ее места:

«Гр. Бабель не мог видеть величайших сотрясений классовой борьбы, она была ему чужда, но зато он видит со страстью садиста трясущиеся груди выдуманной им казачки, голые ляжки и т. д. Он смотрит на мир, «как на луг, по которому ходят голые бабы, жеребцы и кобылы»...»

Для нас все это не ново, эта старая, гнилая, дегенеративная интеллигенция грязна и развратна. Ее яркие представители: Куприн, Арцыбашев (Санин) и другие,— естественным образом очутились по ту сторону баррикады, а вот Бабель, оставшийся благодаря ли своей трусости или случайным обстоятельствам здесь, рассказывает нам старый бред, который переломился через призму его сацизма и дегенерации...

...Отнюдь не безызвестны фамилии тех, кого дегенерат от литературы Бабель оплевывает слюной классовой ненависти».

Проведя всю эту пропагандистскую работу, Георгий Николаевич в заключение намекнул адмиралу, что давняя эта буденновская статья сыграла в судьбе Бабеля весьма зловещую роль, в какой-то мере даже предопределив его трагический конец.

Адмирал на все эти сообщения никак не прореагировал. Но две или три недели спустя, когда Мунблит снова оказался в адмиральском кабинете, он с чувством глубокого удовлетворения отметил, что портрета Буденного там уже не было.

— А-а,— не удержался он,— я вижу, мой рассказ все-таки произвел на вас впечатление?

— Нет,— покачал головой адмирал.— Я снял портрет не поэтому. Семен Михайлович утверждал, что до революции у него было четыре Георгия. То есть что был он, как тогда говорили, полный Георгиевский кавалер.

— Да,— кивнул Мунблит,— я тоже что-то такое слышал.

— Но оказалось,— невозмутимо продолжал адмирал,— что это липа. И вот поэтому-то,— закончил он,— я и не считал более для себя возможным держать в своем кабинете портрет этого человека.

Могила декабриста

Корреспондент «Комсомольской правды» приехал в Таллин с заданием написать очерк о каких-нибудь особенно интересных формах комсомольской (а может, пионерской?) работы.

В ЦК комсомола ему сказали, что комсомольцы республики взяли шефство над могилой декабриста. И это наверняка может стать хорошим материалом для его будущего очерка.

— А в чем выражается шефство? — спросил журналист.

— Постоянно ухаживаем за могилой. Сажаем цветы. По праздникам пионеры и комсомольцы стоят там в почетном карауле.

Выяснив, кто был инициатором этого мероприятия, кто разыскал могилу, записав все нужные ему для очерка сведения и имена, журналист напоследок спросил:

— А как фамилия этого декабриста?

Ему ответили:

— Бенкендорф.

Вернувшись в Москву, журналист расспросил знакомых историков: кто его знает, может, помимо известного ему Бенкендорфа, был еще и какой-то другой? Но знакомые историки заверили его, что никакого Бенкендорфа-декабриста они не знают. А под Таллином похоронен тот самый Бенкендорф, Александр Христофорович, шеф жандармов.

Справа налево

В Еврейском центре (есть теперь такой в Москве) шла презентация альманаха «Цомет» (по-русски — «Перекресток»). В альманахе этом были собраны

сочинения писателей, живущих в России и уехавших (давно или совсем недавно) в Израиль.

Произведения российских литераторов занимали первую половину альманаха, израильских — вторую. И эту вторую надо было читать наоборот — с конца альманаха к началу. В связи с этим кто-то из устроителей всего этого мероприятия рассказал такую историю.

В один из самых критических моментов существования государства Израиль (кажется, это было во время войны Судного Дня) в Иерусалим приехал Генри Киссинджер, тогдашний Государственный секретарь США. Израильцы, естественно, возлагали на него большие надежды — не только как на Государственного секретаря, но и как на еврея: будучи их соплеменником, он должен был, по их мнению, прилагать особые старания к тому, чтобы Соединенные Штаты создавали Израилю в этом конфликте режим наибольшего благоприятствования. Киссинджер этим давлением был недоволен. И, выступая в Кнессете (израильском парламенте), недвусмысленно это недовольство выразил.

— Во-первых, — сказал он, — я американец. Во-вторых, Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки. И только в последнюю, третью, очередь я еврей.

— Это верно, — откликнулась Голда Меир. — Но ты забыл, что мы читаем справа налево.

Рассказ о рабочем классе

Эту историю мне рассказал Александр Альфредович Бек.

Позвонил ему как-то один писатель, живущий в соседнем — тоже писательском — доме, и сказал, что он сейчас составляет для одного крупного столичного издательства сборник рассказов о рабочем классе. Так вот, не найдется ли у Александра Альфредовича какого-нибудь рассказа на эту тему?

Александр Альфредович вспомнил, что да, действительно, есть у него небольшой рассказ. Обещал разыскать рукопись. Разыскал. Договорились встретиться в нашем дворе.

Встретились, сели на скамейку. Бек достал обещанный рассказ и вручил его соседу. Тот поблагодарил. И стал жаловаться.

Издательство поручило ему составить сборник рассказов о рабочем классе. Он взялся. Но дело это оказалось совершенно неподъемное. О рабочем классе, как выяснилось, никто из писателей сейчас не пишет. А это такая важная тема. Быть рабочим — это самая высокая, самая прекрасная должность человека на Земле. Но молодые люди этого не понимают. Мы обязаны воспитывать молодежь в этом духе...

Бек вежливо выслушал монолог и хотел было уже распрощаться. Но ему было неудобно прервать встречу, ограничившись, так сказать, официальной частью. Поэтому — прежде, чем уйти, — он спросил у своего собеседника:

— Ну а как вообще жизнь?

— Плохо, — ответил тот. — Сын еле-еле тянул на тройки, а сейчас совсем бросил школу. В институт не поступит. Будет простым рабочим...

Выразив свои соболезнования отцу будущего представителя рабочего класса, Бек простился с ним и пошел домой — писать свой многострадальный роман «Новое назначение».

Продолжение истории Павлика Морозова

В 1955 году в моей жизни случились два важных события: у меня родился сын, и я устроился на работу.

Сразу лезут в голову знаменитые строки Пастернака:

Я бедствовал. У нас родился сын.
Ребячества пришлось на время бросить.

Но к моему случаю они не подходят.

Если даже мне и было свойственно то, что Пастернак, говоря о себе, называл ребячествами, то я эти свои ребячества готов был бросить давно — еще четыре года тому назад, как только кончил институт. Но о том, чтобы устроиться на какую-нибудь штатную работу, я не мог тогда и мечтать. А тут даже и искать не пришлось: меня **пригласили**.

Мой отец утверждал, что главной причиной этого неслыханного везения было рождение сына. Появился на свет новый человек, которого надо было кормить, растить и все такое прочее. И высшие силы — там, наверху, — следящие за тем, чтобы все было правильно в этом мире, распорядились найти для меня какие-то средства пропитания.

На самом деле, конечно, причина была другая: умер Сталин, началось медленное таяние ледника, под тяжестью которого мы жили... Мое объяснение выглядит, конечно, суше и прозаичнее. Но оно, как мне кажется, ближе к истине. Впрочем, дело не в объяснениях, а в сути. Суть же заключалась в том, что я, вчера еще отвечавший на письма детей в «Пионерской правде» по 10 копеек за ответ и считавший этот мизерный и непрочный заработок величайшим благом, стал **заведующим отделом художественной литературы журнала «Пионер»**.

У меня был отдельный кабинет — и телефон, по которому мне звонили самые разные люди, в том числе и те, до которых раньше мне было не дотянуться. Всем им я был нужен. Все они обращались ко мне с просьбами. Кто-то хлопотал за талантливого молодого человека, пишущего стихи, и молил напечатать хоть одно, хоть самое маленькое его стихотвореньице. Кто-то — за старушку, которая отыскала и перевела на русский язык неизвестный, никогда прежде не печатавшийся в России рассказ Марка Твена (или Джека Лондона, или Конан Дойла.)

И вот однажды позвонил Лев Эммануилович Разгон и сказал:

— Не сердитесь, пожалуйста! Я послал к вам одну женщину. Она пишет рассказы... Рассказы, между нами говоря, довольно слабые. Но я вас прошу: будьте с нею поласковее. Если не сможете ничего отобрать, так хоть откажите ей как-нибудь помягче: она, бедняга, только-только вернулась. Отсидела двадцать лет...

Двадцать лет! Это произвело на меня впечатление.

Оттуда возвращались тогда многие. Но максимальный — и чаще всего мелькавший в разговорах на эту тему — срок отсидки определялся почему-то цифрой 17. Сам Лев Эммануилович, кстати, кажется, тоже отсидел ровно 17 лет. А тут двадцать!

Естественно, я ожидал, что по этой рекомендации Разгона ко мне явится изможденная, быть может, даже дряхлая старуха.

Явилась, однако, весьма привлекательная молодая женщина. Молодая даже по тогдашним моим понятиям.

— Сколько же вам было, когда вас?.. Когда вы?.. И как вы ухитрились загреметь на целых двадцать лет? — не удержался я от вопроса.

И она рассказала такую историю.

Дело было в 1934 году (а не в 37-м, как у всех, отсюда и двадцать лет вместо семнадцати). Ей было 19 лет, она была, как говорили тогда, на пионерской работе. Попросту говоря, была пионервожатой. Пописывала разные очерки и статейки, печаталась иногда в «Пионерской правде». То есть была уже как бы на виду. И вот в награду за все эти ее комсомольско-пионерские заслуги послали ее на лето пионервожатой в знаменитый пионерский лагерь «Артек».

Работа ей нравилась, детей она любила, легко и хорошо с ними ладила, поскольку и сама была не намного старше своих питомцев.

Но однажды произошел такой случай. Созвал всех вожатых к себе в кабинет начальника лагеря и сделал им такое сообщение.

— Завтра, — сказал он, — к нам прибывает **партия детей, повторивших подвиг Павлика Морозова**. И мы должны устроить им торжественную встречу.

Все приняли это как должное. А если кто и удивился, то виду не подал, понимая, что возражать тут не приходится. Не смолчала только она.

— Понимаю! — прервал я ее рассказ. — Вы не удержались, наговорили им сорок бочек арестантов, сказали, как это чудовищно, когда сын доносит на родного отца, а общество не только поощряет доноительство, но даже объявляет это подвигом...

— Нет, — покачала она головой. — Ничего подобного я им тогда не сказала. Да, по правде говоря, я тогда так и не думала. Я сказала всего лишь, что дети эти, конечно, герои: они действительно совершили подвиг, поступили, как подобает настоящим пионерам, верным ленинцам. Но все-таки, сказала я, донести на родного отца или на родную мать непросто. Для нормального ребенка это огромная душевная травма. Поэтому, сказала я, мне кажется, что не следует устраивать этим детям торжественную встречу. Да и вообще не стоит им напоминать об этом их подвиге. Надо просто принять их в наш коллектив и сказать всем нашим ребятам, чтобы они были к ним повнимательнее, чтобы ни в коем случае не заводили никаких разговоров на эту деликатную тему.

Ей, конечно, дали суровый отпор. Начальник лагеря сказал, что выступление ее, по существу, является антипартийным, что его даже следовало бы рассматривать как вылазку классового врага. Но, зная ее как хорошего работника, комсомолку, преданную делу партии Ленина — Сталина, он считает возможным на первый раз ограничиться замечанием. Тем бы дело и кончилось. Но упрямая девчонка не успокоилась.

Под впечатлением услышанного она сочинила рассказ о мальчике, который донес на своего отца, а когда отца арестовали, промучившись несколько дней угрызениями совести, кинулся в озеро — и утонул. Сочинив рассказ, она прочла его своим питомцам на пионерском костре. Ну, и тут, конечно, уже ничто не могло ее спасти.

Не ловится, но — характеризует

Камила Икрамова посадили очень рано. Ему, кажется, даже и шестнадцатилетнему еще не стукнуло. Причина ареста была проста: он был сыном Акмаля Икрамова — секретаря ЦК Узбекистана, расстрелянного вместе с Бухариным и Рыковым. По тюрьмам и лагерям Камил мыкался много лет и мыкался бы всю жизнь, если бы не смерть Сталина и последовавшая за ней хрущевская «оттепель». Много страшного довелось ему повидать и пережить за те годы. Но почти все его лагерные и тюремные рассказы (а рассказчик он был блистательный) искрились юмором и вообще тяготели скорее к жанру комическому.

Вот, например, такая история. Быстро сообразив, что никакие отрицания своей мнимой вины ему все равно не помогут, Камил почти сразу принял условия игры, предложенные ему следователем. Следователь вызывал его для очередного допроса, отправлял конвоиров, после чего они с подследственным играли в шахматы. А к концу сеанса Камил без колебаний подписывал всю ерунду в заранее заготовленном протоколе.

Время от времени, прислушавшись к каким-то звукам, доносившимся из коридора, следователь, быстро смахнув шахматную доску и фигуры в ящик стола, начинал орать:

— Колись, гад! Колись, вражина!.. — И четырехэтажный мат.

Дверь отворялась, и на пороге возникал, судя по всему, начальник. Широкая при этом у него всегда была расстегнута: очевидно, неподалеку от комнаты, где проходил допрос, был туалет, и, направляясь туда или возвращаясь оттуда, начальник Камилова следователя и осуществлял попутно свои инспекторские функции.

— Что, не колетса? — спрашивал он. И поощрительно кидал на прощание: — Давай, давай, так его, падлу!.. Расколется! Куда он, сука, денется?

После чего удалялся, а следователь и подследственный возвращались к шахматам. Но шахматы следователю вскоре надоедали. И тогда он требовал, чтобы Камил рассказал ему какой-нибудь анекдот. Камил рассказывал.

Посмеявшись, следователь говорил:

— Хороший анекдот. Смешной. И не ловится... Но все-таки он тебя характеризует... А вот, послушай, я тебе расскажу...

Собственный его репертуар был крайне узок: он, как правило, сводился ко всякого рода непристойностям.

— Ну что? Ведь, верно, смешной? — спрашивал он, рассказав очередной затасканный анекдот из цикла «муж, жена, любовник».

— Смешной, — соглашался Камил.

— И заметь, — удовлетворенно говорил следователь, — не ловится и никак меня не характеризует.

Это, сообразил Камил, была их профессиональная терминология. Может быть, даже был у них какой-нибудь спецкурс или практические занятия, на которых их натаскивали, как различать и сортировать анекдоты по признаку: «ловится — не ловится», «характеризует — не характеризует», «не ловится, но — характеризует».

Картонная поэма

В начале 60-х в Малеевке — писательском Доме творчества — я познакомился и довольно близко сошелся с Иосифом Ильичом Юзовским.

Тогда ходила по рукам еще не опубликованная повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича», и мы оба — одновременно — ее прочли. На мой вопрос, какое впечатление произвела на него эта вещь, Юзовский сказал, что очень сильное. И вдруг добавил:

— Но ведь это нельзя!

— Что нельзя? — удивился я.

— Она против социализма, — объяснил он. — А это нельзя.

Сперва я даже не понял: как нельзя? Почему нельзя? Нельзя, потому что не пропустят, не напечатают? Потому что писать в таком духе — дело заведомо безнадежное? (Как сказал мне однажды в разговоре на эту тему Виктор Борисович Шкловский: «Понимаете, когда мы уступаем дорогу автобусу, мы делаем это не из вежливости!»)

Оказалось, однако, что Юзовский имел в виду совсем другое. Он искренне полагал, что писать вещи, направленные против социализма, нельзя по более важным, отнюдь не внешним причинам. Что тут должен действовать гораздо более мощный, сугубо внутренний запрет.

Поясняя эту свою мысль, он рассказал мне такую историю.

В 1927 году, когда Маяковский опубликовал свою поэму «Хорошо!», он, Юзовский, жил в Ростове. Был он молодой (очень молодой) критик, но местная газета его статьи охотно печатала. Никакого культа Маяковского тогда еще не было и в помине, и без особых сложностей он опубликовал в той же ростовской газете о новой поэме Маяковского очень резкую статью. Статья была просто разгромная, даже издевательская. Достаточно сказать, что называлась она «Картонная поэма». Во время космополитической кампании, в которой Юзовский шел первым номером, главным злодеем, эту статью ему, разумеется, припомнили. Она стала едва ли не основным пунктом вменяемых ему в вину преступлений: пигмей поднял руку на гиганта!

Гигант, однако, не счел для себя унижительным, приехав в Ростов, встретиться с осмелившимся поднять на него руку «пигмеем». Более того, он сам разыскал его, зазвал в какой-то шалман, что-то там такое заказал и сурово потребовал объяснений.

Юзовский, хоть и был тогда очень молод и, естественно, глядел на Маяковского снизу вверх (не только метафорически, но и буквально: он и в самом деле был очень маленького роста), отречься от своей статьи не стал.

Сбивчиво, но очень взволнованно, убежденно он заговорил о том, какая страшная жизнь вокруг и как она непохожа на ту, какую изобразил Маяковский в своей поэме. Вчера, говорил он, стреляли в секретаря крайкома. В округе, по лесам бродят вооруженные банды. На улицах города валяются трупы. Люди пухнут от голодухи. А у вас? «Сыры не засижены... Цены снижены...» Ка-

кие сыры? Где вы их видели, эти сыры? «Землю попашет, попишет стихи...» Где это, интересно знать, вы увидели этих ваших опереточных крестьян?!

Маяковский слушал не перебивая. Долго и мрачно молчал. А потом сказал:

— Значит, так. Через десять лет в этой стране будет социализм. И тогда это будет хорошая поэма... Ну а если нет... Если нет, чего стоит тогда весь этот наш спор, и эта поэма, и я, и вы, и вся наша жизнь...

Какой счет?

Я работал тогда в «Литературной газете». Номер часто запаздывал, и иногда я засиживался в редакции допоздна. Но в тот день я почему-то засиделся особенно долго: когда я собрался домой, была уже глубокая ночь. В вестибюле я столкнулся с Валей Островским: он работал в международном отделе. Метро уже закрылось, троллейбусы и автобусы не ходили, мы стали ловить такси.

— А почему ты такой спокойный? — спросил вдруг Валя.

— А почему я должен быть беспокоен? — удивился я.

И тут Валя рассказал мне о том, что происходит в мире в эти минуты. Идут, сближаясь друг с другом, наши и американские корабли. Вот-вот будет нажата кнопка — и Земля взорвется в пламени ядерной катастрофы. Пресса и радиоэфир воят сейчас об этом на всех языках. По планете прокатилась волна самоубийств: тысячи людей, не в силах вынести это неслыханное психологическое напряжение, предпочли добровольно отправиться в мир иной. Короче говоря, это был Карибский кризис.

— Какое счастье, — сказал я Вале, — что мы живем в информационной гиле и знать не знаем обо всех этих ужасах.

И, признаюсь, даже с некоторой долей благодарности подумал об отцах нации, оградивших нас от волнений, взявших их целиком на себя.

А спустя много лет один человек, приближенный тогда к тем высоким сферам, рассказал мне. Он сидел в «предбаннике» — комнате, непосредственно примыкающей к той, где шло заседание Политбюро. Прямо около двери, за которой в эту минуту решалась судьба человечества.

Вдруг дверь отворилась и из нее выглянул Брежнев. Это был не тот Брежнев, которого мы узнали потом («сиськи-масиськи» и все такое прочее). Это был еще далеко не старый человек, бодрый, полный энергии и боевого задора. Но в эту минуту лицо его выражало не бодрость и не задор, а глубочайшее волнение. Оглядев «предбанник», он остановил свой взор на моем знакомом и быстро спросил:

— Какой счет?

На всякого мудреца довольно простоты

Вдова поэта Николая Дементьева («Коля, не волнуйтесь, дайте мне!..»), по слухам, покончившего с собой из-за того, что его вербовали в стукачи, сама, кстати сказать, отсидевшая свой срок, рассказывала про такой свой разговор с Бабелем.

— Двух вещей мне не дано испытать, — сказал он ей. — Я никогда не буду беременным и никогда не буду сидеть в тюрьме.

— Ох, Исаак Эммануилович, — вздохнула она, — вспомните пословицу: от тюрьмы да от сумы...

— Ну что вы! — сказал Бабель. — При моих-то связях.

«А я все думаю о Достоевском...»

Юрия Олешу поражали изощренная чуткость советского редактора, его абсолютный слух, мгновенно улавливающий любой намек на крамолу. Приносите в редакцию рукопись, говорил он, и, каким бы тугодумом и даже тупицей

ни был редактор, он сразу, безошибочно точным движением своего редакторского карандаша **выкалывает ей глаз**.

Когда до меня дошло это замечательное высказывание классика, я подумал, что в его основе — естественная для художника аберрация. Олеша ошибся, подумал я. Он поменял местами следствие и причину. Вся штука тут в том, что у настоящего художника, куда ни ткни, **всюду глаз!** Вот почему, какую бы строчку ни вычеркнул у несчастного автора редактор, тот испытывает такую боль, как если бы у него и в самом деле выкололи глаз.

Но жизнь показала, что прав был все-таки Олеша. Советский редактор действительно обладал уникальным, поистине собачьим чутьем.

Взять хоть такой случай. Книга литературоведа Б. Бурсова начиналась фразой: «А я все думаю о Достоевском...»

Редактор сразу сделал стойку. Что-то его в этой фразе смущало. Виноват, я оговорился: не «что-то». В отличие от меня он (редактор) совершенно точно знал, что именно в этой фразе его смущает. Легким мановением руки он вычеркнул одно-единственное словечко — и все стало на место. Какое же это было слово? Попробуйте угадать... Нет, не «все». И не «думаю». И не «о Достоевском». (О Достоевском в описываемую эпоху думать уже разрешалось.) Изъят был союз «а».

И в самом деле, сообразите: что же это у автора получалось? Весь советский народ думает о нашем поступательном движении к заветной цели, и только один он, злосчастный автор, думает о Достоевском! А без этого противительного союза фраза выглядела уже более или менее нормально: «Я все думаю о Достоевском». Ну что ж. На то ты и литературовед, чтобы думать о таких вещах. Это пожалуйста. Это можно...

Нет, Олеша, конечно, был прав. В иных случаях советский редактор проявлял просто поразительную тонкость. Но, сделав стойку перед какой-нибудь насторожившей его строкой или словом, он (редактор) далеко не всегда мог сам справиться со своей редакторской задачей. Ведь сплошь и рядом надо было не только выколоть глаз, но и сделать какую-никакую пластическую операцию, чтобы этот выбитый глаз был не слишком заметен. С прозаическим текстом редактор еще мог справиться, заменив — для связки — кусок живой авторской ткани какой-нибудь своей суконной фразой. Труднее было со стихами: ломался ритм, пропадала рифма.

В особо важных случаях, конечно, можно было и пренебречь этими пустяками. Вот, например, С. И. Липкин рассказывал мне о редакторской правке, которой подверглось однажды сочиненное им стихотворное «Письмо узбекского народа товарищу Сталину». Перед публикацией этого письма в «Правде» текст был послан адресату, и тот слегка прошелся по нему своим редакторским карандашом.

В письме говорилось:

Вы землю крестьянам отдали навеки,
За что говорят вам спасибо узбеки.

Сталин поправил: вместо «навек» написал «навечно».

Показывая автору контрольную газетную полосу с личной правкой вождя, Мехлис (тогдашний редактор «Правды») великодушно разрешил ему взять ее себе на память. Поглядев на замененное слово, Липкин с сожалением заметил, что пропала рифма. И тут же выразил готовность исправить этот огрех. Скажем, так:

Вы землю крестьянам отдали навечно,
За что говорим вам спасибо сердечно.

Мехлис в ответ холодно осведомился:

— Вы идиот? Или притворяетесь?

Нечто похожее произошло и с другим, гораздо более важным рифмованным текстом. Сочиненный Михалковым и Регистаном новый советский гимн начинался так:

Союз нерушимый республик свободных
 Сплотила навеки великая Русь.
 Да здравствует созданный волей народной
 Великий, могучий Советский Союз.

Сталин поправил: вместо «волей народной» сделал «волей народов». То ли хотел этим сказать, что Советский Союз населен не одним, а многими народами. То ли ему показалось, что в михалковском варианте может возникнуть нежелательная ассоциация с «Народной волей», с ненавистными ему террористами-народовольцами. Как бы то ни было, рифма и тут пострадала. Но Михалков — гораздо более опытный царедворец, чем Липкин, — разумеется, не посмел даже и пикнуть, что готов после сталинской редактуры еще слегка повозиться с исправленной строкой.

Но эти два случая не в счет.

Во-первых, и в том, и в другом столь бесцеремонной правке подвергся не поэтический, а политический текст. На художественных его достоинствах эта правка никак не отразилась, поскольку никаких таких достоинств у него и не было. Ну а, кроме того, Сталин — это Сталин. Он ведь был не только корифеем всех наук, но и сам в юности писал стихи, так что, как говорится, ему и тут были все карты в руки.

Рядовой советский редактор так грубо вторгаться своим редакторским карандашом в поэтические тексты не мог. Тут приходилось звать на помощь автора. Автор сам должен был проделать необходимую операцию: не только собственноручно выколоть своей рукописи глаз, но и заменить этот выколотый глаз другим, искусственным, чтобы нанесенное ей в ходе редактуры увечье было не слишком заметно.

Было, например, у Николая Асеева стихотворение с таким рефреном:

Да здравствует революция,
 Сломавшая власть стариков!

В конце брежневского правления от этих строк, понятное дело, уже за версту несло бы отъявленной крамолой. Но чуткий редакторский нос уловил в них запах крамолы еще задолго до полного торжества геронтократии. И рефрен стихотворения стал звучать так:

Да здравствует революция
 И партия большевиков!

Еще комичнее была замена, произведенная однажды — под нажимом редактора, конечно, — Евгением Евтушенко. В его стихотворении «О, свадьбы в дни военные...» были такие строки:

Летят по стенкам лозунги,
 Что Гитлеру капут,
 А у невесты слезыньки
 Горючие текут.

Что-то тут редактору померещилось нехорошее, и вторая строка была заменена. Четверостишие стало звучать так:

Летят по стенкам лозунги,
 И с русским пьет якут,
 А у невесты слезыньки
 Горючие текут.

Это, конечно, была грубая работа. Сразу видно, что вместо живого глаза вставлен стеклянный или пластмассовый протез.

Но иногда протезирование делалось и более искусно. Так что искусственный глаз было почти невозможно отличить от настоящего, живого.

Вот, например, у Багрицкого в его «Стихах о поэте и Романтике», в первом (никогда не публиковавшемся) их варианте, который назывался «Разговор поэта с Романтикой», Романтика говорила:

Фронты за фронтами. Ни лечь, ни присесть!
 Жестокая каша да сытник суровый;
 Деша из Питера: страшная весть
 О том, что должны расстрелять Гумилева.
 Я мчалась в телеге, проселками шла,
 Последним рублем сторожей подкупила,
 К смертельной стене я певца подвела,
 Смертельным крестом его перекрестила.

Столь явное сочувствие расстрелянному «белогвардейцу», выплеснувшееся в этих строчках, делало совершенно невозможным появление их в тогдашней советской печати. Неудивительно поэтому, что в опубликованном варианте они выглядели уже несколько иначе:

Деша из Питера: страшная весть
 О черном предательстве Гумилева...
 Я мчалась в телеге, проселками шла;
 И хоть преступленья его не простила,
 К последней стене я певца подвела,
 Последним крестом его перекрестила...

В устах «механиков, чекистов, рыбоводов», с которыми братался потом Багрицкий, слова «о черном предательстве Гумилева», быть может, были бы уместны. Но здесь ведь это говорит Романтика! Если бы Гумилев даже и участвовал в белогвардейском офицерском заговоре (чего на самом деле не было), это как раз свидетельствовало бы о его верности Романтике. Романтику Гумилев, во всяком случае, не предавал, по отношению к ней никакого преступления не совершал, и прощать или не прощать его ей было не за что.

Да, конечно, этот новый вариант, в угоду цензуре созданный поэтом, отдавал фальшью. И «швы» для внимательного глаза были видны. Но общий тон сочувствия расстрелянному поэту сохранился. Как бы то ни было, Романтика все-таки признавала Гумилева своим кровным, хотя и блудным, сыном. Гораздо хуже обстояло дело с другими строками того же стихотворения:

Я знаю, как время уходит вперед,
 Его не удержишь плотиной из стали,
 Он взорван, подземный семнадцатый год,
 И два человека над временем стали...
 И первый, храня опереточный пыл,
 Вопил и мотал головою ежастой;
 Другой, будто глыба, над веком застыл,
 Зырянин лицом и с глазами фантаста...
 На площади гомон, гармоника, дым,
 И двое встают над голодным народом.
 За кем ты пойдешь? Я пошла за вторым —
 Романтика ближе к боям и походам...

Хоть никогда и не приходило мне в голову, что это **протез**, но что-то в этих строчках всегда вызывало некоторое недоумение. Керенский (это ведь он, «храня опереточный пыл, вопил и мотал головою ежастой»), как к нему ни относиться, для многих все-таки был фигурой романтической. Чего о Ленине никак не скажешь. Ленин в стихах даже самых горячих его поклонников всегда представлял олицетворением самого трезвого реализма. И почему Романтика, которая «ближе к боям и походам», из этих двоих должна была выбрать Ленина, провозгласившего немедленный мир «без аннексий и контрибуций», а не Керенского, призывавшего к войне до победного конца?

Это мое недоумение разъяснилось, когда я узнал, что вместо строк про Керенского и Ленина в стихотворении раньше были совсем другие.

Вот эти:

Я знаю, как время уходит вперед,
 Его не удержишь плотиной из стали,
 Но грянул суровый семнадцатый год
 И два человека над временем стали...
 И первый из них был упрям и хитер.

Бочком пробирался, стыдась и робея.
 Другой, волосатый — провизор иль черт,—
 Широкий в плечах и с лицом иудея.
 На площади гомон, гармоника, дым,
 И двое горланят над шалым народом.
 За кем ты пойдешь? Я пошла за вторым...

Теперь понятно, почему Романтика, которая «ближе к боям и походам», пошла за вторым: ведь этим «вторым» из тех двоих, что «над временем стали», на самом-то деле, оказывается, был у Багрицкого не Ленин, а Троцкий.

Откуда они вели свой репортаж

В конце 60-х или в самом начале 70-х Григорий Чухрай снял документальный фильм о Сталинграде. Главные события фильма, однако, происходили не в Сталинграде, а... в Париже.

По замыслу режиссера главная изюминка фильма должна была состоять в том, что группа советских кинематографистов с камерой подходит на какой-нибудь из центральных улиц Парижа к одному парижанину, к другому, к третьему и задает им всем один и тот же вопрос: знают ли они, что такое Сталинград? Ни один парижанин, естественно, ответить на этот вопрос не может. Мораль: вот, дескать, мы их спасли от гитлеровской чумы, а они даже не помнят название легендарного города на Волге, где решалась, между прочим, и их судьба тоже. Если вдруг среди прохожих оказывался какой-нибудь дотошный француз, готовый ответить на этот провокационный вопрос правильно, съемочная группа мгновенно теряла к нему всякий интерес. Говорят, что некоторые парижане были этим крайне обескуражены, а самые настырные из них даже бежали за иностранными русскими репортерами, пытаясь все-таки донести этот свой правильный ответ до зрителя будущего фильма.

Так или иначе фильм был отснят и даже смонтирован. И тогда Чухрай обратился к своему — и моему — другу Науму Коржавину с просьбой написать текст для закадрового голоса. Не избалованный литературными заказами, почти начисто отлученный от печатного станка, Коржавин охотно взялся за эту халтуру. Фильм вышел на экраны.

И тут Коржавин, привыкший к почти подпольному существованию и вдруг оказавшийся одним из создателей произведения, получившего некоторый как бы даже государственный резонанс, сильно возбудился и стал приглашать всех своих друзей, приятелей и знакомых (а их у него было пол-Москвы) сперва на премьеру, а потом и на все другие официальные просмотры.

Это его возбуждение дошло до такой высокой точки, что некоторых наиболее покладистых приятелей он стал даже приглашать по второму кругу. И тут я не выдержал и сказал ему:

— Эма! Тебе Чухрай дал слегка подзаработать, и я очень за тебя рад. Но ты все-таки должен понимать, что гордиться этой своей творческой продукцией тебе особенно нечего. В сущности, ты ведь принял участие в довольно-таки бл...ском мероприятии.

— То есть как? — обиделся он.

— А вот так,— сказал я.— Ты сообрази: откуда твой Чухрай со своей ки-ногруппой приехал в город Париж? Явились, понимаешь, из фашистского государства к свободным людям и учат их высокой нравственности...

— А-а,— сказал Эмка.— Это конечно. Это я Чухраю и сам говорил. Я даже соответствующее название для этого фильма придумал: «Репортаж из жопы». И даже эпиграмму сочинил... Погоди... Вот!

И он прочел:

Мы о том, что вся Европа —
 Это полное говно,
 Репортаж ведем из жопы,
 Где находимся давно.

Глас народа

Ночью того дня, когда сняли Хрущева, во внутреннем дворе нашего писательского дома раздался зычный мужской голос:

— Писатели!.. Слышите меня?!

Проснувшиеся писатели приникли к окнам. Некоторые даже высунулись из форточек. Голос внятно, раздельно произнес:

— Гов-ню-ки!

Возражений не последовало. Писатели отпрянули от окон и легли спать.

Здесь есть коммунисты?

Узнав, что Гриша Поженян собирается снимать фильм, я спросил его, как он отважился: он ведь всего лишь автор сценария, а не режиссер.

— Я, — ответил он, — не хуже, чем любой из них, смогу трахать актрис и кричать: «Мотор!»

Ну-ну, иронически подумал я, если профессия кинорежиссера сводится только к этим двум действиям, тогда что ж... Я почти не сомневался, что из этой его нахальной затеи ничего не выйдет. Но я недооценил Гришу. Фильм он все-таки снял. И в роли режиссера, как рассказывали очевидцы, чувствовал себя вполне уверенно. Начал свою деятельность в этом новом для него качестве он так.

Приехав в Ялту, где должны были проходить съемки на натуре, велел собрать всю съемочную группу. Оглядев собравшихся, спросил:

— Здесь есть коммунисты?

— Да, да... Есть... — раздался голоса.

Члены правящей партии, естественно, решили, что им сейчас скажут, что они должны быть всегда впереди, что командир производства возлагает на них особые надежды и особую ответственность, — в общем, всю ту муру, которую они привыкли слышать в подобных случаях.

Но слышали они совсем другое.

— Так вот, — сказал Поженян. — Запомните: чтобы на все время съемок ваша партия ушла в подполье!

Последнюю радость отымаете...

Это мне рассказал К. И. Чуковский.

Зашел он как-то на дачу к своему переделкинскому соседу — Леониду Максимовичу Леонову. Тот молча, ни слова не говоря, повел его в самый дальний конец участка. А участки там у них, на их переделкинских дачах, громадные: чуть ли не по два гектара, так что идти пришлось довольно долго. Наконец пришли. Леонов — так же молча — указал Корнею Ивановичу на какое-то полусгнившее бревно. Сели.

К. И. огляделся и увидел, что они сидят у небольшого прудика, почти сплошь заросшего ряской. Он хотел спросить у Леонова, зачем тот его сюда привел, но Леонид Максимович все так же молча приложил палец к губам. И тихонько, вполголоса позвал:

— Иван Тихоньч!

На середину пруда вылезла и утвердилась на какой-то коряге огромная лягушка.

— Ну как дела, Иван Тихоньч? Как она, жизнь-то? — спросил Леонов.

Лягушка забормотала что-то в ответ на своем лягушачьем языке. Задав еще несколько вопросов и получив на них соответствующие ответы, Леонов сказал:

— Ну ладно! Бог с тобой, Иван Тихоньч. Ступай!

И лягушка послушно бултыхнулась обратно в воду.

— Леонид Максимыч! — вскричал экспансивный Чуковский. — Да ведь это же чудо! Что же вы молчали?! Это должны видеть все. Особенно дети! Я

сейчас созову сюда детей со всей деревни! Вы представляете себе, как они будут счастливы, увидав такое!

Леонов поднял на него глаза и жалостно вздохнул:
— Последнюю радость отымаете, Корней Иваныч!

В сущности, они были правы

Перед самой войной (мне было четырнадцать лет) я читал роман Фейхтвангера «Изгнание». Эпиграфом ко второй части этого романа был 66-й сонет Шекспира.

Так я прочел этот сонет впервые.

Позже я читал и перечитывал его много раз, в самых разных переводах — Маршака, Пастернака, Бенедиктова и разных других поэтов, старых и новых. Но самое сильное впечатление он произвел на меня именно тогда. Может быть, поэтому тот перевод (О. Румера) и сейчас мне кажется едва ли не лучшим:

Я смерть зову, глядеть не в силах боле,
Как гибнет в нищете достойный муж,
А негодяй живет в красе и холе;
Как топчется доверье чистых душ,
Как целомудрию грозят позором,
Как почести мерзавцам воздают,
Как сила никнет перед наглым взором,
Как всюду в жизни торжествует плут,
Как над искусством произвол глумится,
Как правит недомыслие умом,
Как в лапах Зла мучительно томится
Все то, что называем мы Добром.

Но поразил меня тогда этот перевод не поэтическими своими достоинствами, а прямо-таки потрясающим совпадением всего того, о чем в нем говорилось, с окружающей меня реальностью. Вряд ли я так уж хорошо осознавал тогда всю полноту этого совпадения. Ведь то, что «над искусством произвол глумится», тогда меня еще мало волновало. И о целомудрии, которому «грозят позором», я тоже не задумывался. Но о том, «как топчется доверье чистых душ», кое-что уже знал. И строка о почестях, которые «мерзавцам воздают», не была для меня абстракцией: она сразу наполнилась живым и вполне конкретным смыслом.

Может быть, я сейчас и преувеличиваю степень моего тогдашнего понимания всех этих аллюзий. Но, как бы то ни было, стихи эти меня тогда поразили до глубины души. Поразили настолько, что я даже переписал их в какую-то свою тетрадку.

Сорок лет спустя я узнал, что точно так же поразили они тогда еще одного московского мальчика, моего сверстника, — Гену Файбусовича. (Теперь он известный писатель — Борис Хазанов.) Гена прочел этот шекспировский сонет в той же книге Фейхтвангера. И тоже был потрясен совпадением нарисованной в нем картины с окружающей его реальностью. И тоже переписал его в какую-то свою тетрадку. Но у меня дело на том и кончилось. А в судьбе Гены этот его поступок сыграл впоследствии весьма важную роль.

Когда несколько лет спустя Гену арестовали, в его бумагах — при обыске — нашли и этот сонет. И в числе прочих изъятых документов инкриминировали его арестованному как **прямую антисоветчину**. Когда Гена рассказал мне об этом, я, естественно, посмеялся над тупостью и невежеством советских следователей, принявших стихи, написанные великим англичанином четыреста лет тому назад, за сочинение московского школьника. Но Гена пожал плечами и сказал:

— В сущности, они были правы.

Я не спорил. Да, конечно. Разумеется, они были правы. Ведь само желание **переписать** этот сонет — и у меня, и у Гены — было вызвано тем, что выражен-

ные в нем мысли и чувства совпали с нашими, которые иначе как антисоветскими назвать было нельзя.

Только снег

Было это, если не ошибаюсь, году в 58-м или 59-м — в Ялте. Дело было зимой, и в ялтинском Доме творчества — во всем этом довольно поместительном доме — жили всего-навсего шесть человек. И вот сидели мы как-то на набережной, болтали о каких-то пустяках. И кто-то из нас вдруг возьми да и брякни:

— А ведь именно отсюда в двадцатом году драпали врангелевцы. Представляете себе, что тут тогда творилось?

И тут раздался спокойный голос:

— Вы ошибаетесь. Войска барона Врангеля не драпали. Мы отступили в полном боевом порядке.

Так я познакомился с Игорем Александровичем Кривошеиным.

Был он сыном Александра Васильевича Кривошеина — того самого, ближайшего сподвижника Столыпина по аграрной реформе, до революции — члена Государственного Совета, а в 20-м — председателя правительства Юга России (официальное наименование его тогдашней должности было такое: Председатель Совета при Главнокомандующем Вооруженных Сил Юга России).

О том, как эвакуировались из Крыма войска барона Врангеля, Игорь Александрович знал не по рассказам отца: он и сам был тогда уже не свидетелем, а активным участником происходящих событий. Если не ошибаюсь — штабс-капитаном.

Оказавшись в Париже, он окончил Сорбонну, стал инженером-энергетиком. Во время войны участвовал в Сопротивлении. Близко знал мать Марию, Вики Оболенскую, других русских героев французского Сопротивления: их фотографии он показывал мне, когда про этих замечательных женщин у нас еще никто и не слыхивал.

После войны Игорь Александрович взял советский паспорт и вернулся домой. Дома его, естественно, посадили. Сидел он в разных местах, одно время был даже на той самой шарашке, которую описал Солженицын. В начале 70-х он уехал в Париж, откуда прислал письмо, в котором была такая прелестная фраза: «Я доживаю последнюю, самую прекрасную, четвертую треть моей жизни».

Четвертая треть! Можно ли сказать лучше, выразительнее об этих последних его годах, выпавших ему, так сказать, сверх плана: в подарок?

А здесь, у нас, когда длилась еще не четвертая, а третья треть его жизни, мы каждый год встречались с ним в Коктебеле, где и он, и я любили бывать поздней осенью, в октябре: в этом месяце Коктебель был прекрасен своим малолюдством. Однажды, прощаясь, я сказал ему:

— Ну что? На следующий год в Иерусалиме?

Он кивнул:

— Да... В Париже мы повторяли это постоянно. Но тогда Иерусалимом для нас была Москва.

Об эмиграции я его никогда не расспрашивал, хотя очень хотелось. Один только раз отважился задать ему такой — не слишком простодушный — вопрос:

— Когда вы вернулись сюда в сорок шестом, как вам тогда показалось: стало в этой новой, неведомой вам России что-нибудь от той, старой, которую вы знали когда-то?

Он ответил:

— Только снег.



Костыль Татьяныч

РАССКАЗ

Костыль Татьяныч ногу деревянную ставил впереди себя далеко, опираясь на палку, шагал быстро, и каждый, заметив крупную, всегда спешащую фигуру в неизменном зеленом пальто, похожую отчасти на толстую птицу, отмечал: «Вот и Костыль Татьяныч!» — и опускал глаза в программку с лошадиными именами, услышав первый звонок, собиравший лошадей к старту.

Костыль Татьяныч, или Юра, или просто Костыль — каждый раз и всякий человек выбирал одно из трех названий для оплывшей, крупной фигуры, соотносясь с моментом или природой собственной. Но и человек грубый, обращаясь запросто: «Костыль», — в душе не имел чувства враждебного, оттого что шагавший на одной ноге Костыль Татьяныч был душою добр, покладист, не жаден на деньги, имея лишь азарт и страсть к игре, — именно эти качества позволяли наблюдать зеленое пальто в день рысистых испытаний, и потому заметная фигура оставалась принадлежностью ипподрома, как вылепленный гипсовый конь на фронтоне. Хотя кто знает? Слишком высоко стоял конь, а зеленое пальто — вот оно, спешит, выкидывает деревянную ногу далеко, вспотело от шага лицо с длинным носом, но обязательно успеет Костыль Татьяныч к окошку тотализатора, хоть и прозвучал первый звонок и выстроились лошади с колысками на месте старта.

Конечно, была и профессия — невозможно без ремесла, — шил сапоги и туфли Костыль Татьяныч, и хорошо шил, но подводил заказчиков не раз и не два: снимет мерку, получит аванс — и нет Костыля, напрасно ждет отдавший аванс человек, зря ждет — беговой, бедовый сегодня день, исчезает полученный аванс в узком окошке тотализатора: сбилась лошадь в галоп, а ведь все, казалось, высчитал накануне вечером, сидя над программкой, Костыль Татьяныч, верная была лошадь.

Мал был пятачок, усыпанный билетами тотализатора, на котором существовала фигура в зеленом пальто, приметная любому, будь то завсегдашней или человек новый, случайный, который, обернувшись, услышав разговор о кобыле, интересной ему, бежавшей в заезде следующем, увидев потное, красное лицо с глазами приветливыми и без всякой хитрости обращенными и к нему, случайному здесь, думал: «Добрый, видать, малый, отчего занесло его сюда?» Оплывшая фигура в зеленом пальто представляла в определенном смысле цель, никак не защищенную, заметную, и каждый в любой беговой день, только чуть повернув голову, мог сказать: «Да вот он!»

Дурных людей немного — всякие есть: нервные, грубые, даже обозленные, но дурных по-настоящему, от рождения, мало, и, может, потому безмятежно существовал и спешил, налегая сильно на палку, рассчитавшись сшитыми сапогами с заказчиком и взяв аванс новый, Костыль Татьяныч к окошку тотализатора.

Как и откуда он появился, никто не знал: малого роста, сухощавый, в одежде обычной и с обычным лицом, не замечен был пришелец, но, оказав-

шись вдруг рядом с крупной фигурой Костыля Татьяныча и уже не отходивший ни на шаг, будто прилипший к зеленому животу — на голову ниже Костыля был новый его приятель, — замечен стал сразу всем, и знавшим, и не знавшим лично Юрия Николаевича, — именно таким было настоящее имя носившего яркое, будто весенняя ядовитая зелень, зеленое пальто с разными плечами, похожего оттого на птицу человека.

Анатолий, а короче Толик, появившись на ипподроме, отыскав легко зеленое пальто, подходил, заглядывал снизу в лицо во всегдашней испарине и, расставив локти и потирая руки, говорил: «Вижу, Юрий Николаевич, есть лошадка! Говори, пойду поставлю!» — и с этого момента уже не отходил от заметного пальто до окончания заездов. Подобная прилипчивость даже нравилась не привыкшему к вниманию Костылю Татьянычу, хотя уже заметил он, что Толик предпочитает ставить на лошадку темную, чтобы выиграть денег много, одним разом, но, зная игроков и сам игрок, не видел в том ничего дурного. «У каждого свой характер», — думал Костыль Татьяныч, играл темную лошадь и, зажав пальцами билет, щелкал по нему снизу — билет пропеллером вкручивался в небо, а Костыль Татьяныч возвращался домой на троллейбусе без гроша в кармане.

Прошла зима, Костыль Татьяныч переменял зеленое пальто на ковбойку и за это время, узнав напористый, даже агрессивный характер неразлучного своего партнера, по доброте душевной и покладистости уступал тому раз за разом все больше. «Монополизировал кудрявый Костыля», — говорили завсегда-тай, замечая, как отгоняет со злобой Толик знакомых давних от Костыля Татьяныча, будто то вещь была, ему до конца дней принадлежащая.

Но в один прекрасный день исчез вдруг с пяточка ипподромного Костыль Татьяныч — исчез, будто в воду канул. Худого, однако, ничего не произошло, даже наоборот: смерили тщательно врачи оставшиеся сантиметры ноги и потому, что сантиметров осталось не больше нужного и потерял ногу Юрий Николаевич Потапов в сорок третьем году на фронте, выдали документ, по которому получил бесплатно Потапов автомобиль «Запорожец». В дальнейшем история развивалась совсем фантастически: усевшись в собственный автомобиль, отмеривая квартал за кварталом без натуги и испарины на лбу, заметив у тротуара голосовавшую лет сорока пяти женщину, Юрий Николаевич без всякого умысла, только по причине хорошего, доброго настроения машину остановил, пригласив гражданку сесть в автомобиль, и на вопрос: «Сколько?» — махнул рукой отрицательно, довез гражданку до вокзала. Что произошло между ними — каков был разговор, в чем суть была его, — на этот счет Юрий Николаевич никогда потом не распространялся, но, выйдя вместе с женщиной из машины, назвал имя «Лидия Петровна», на что Лидия Петровна приветливо взмахнула рукой и скрылась в потоке людском, двигавшемся к электричкам.

Слухом земля полнится — Толика, метавшегося в поисках напарника по ипподрому, остановил рыжебородый завсегда-тай, стоящий в проходе на лестнице у трибун второго яруса: «Зря мечешься — испарился Костыль Татьяныч, с бабой живет, за городом». Хмуρο выслушав новость, Толик спустился к кассам, к окошку тотализатора, где делал ставки всегда, заглянул в программку, отыскал кобылу с именем «Пустяшная», сунул деньги в кассу и, когда прозвонел последний звонок, хрия в топоте пронесли кучно лошади, не поглядел даже, что за лошадь, билет на которую держал в кулаке, и обернулся к полю, к дорожке, лишь когда загудел ипподром недовольно: «Жулики, жулье...» — впереди, выигрывая корпус, шла лошадь с номером, что был на его билете, и вместе с ударом колокола на финише понял — выиграла Пустяшная.

Получив за темную лошадь деньги, в течение следующей недели проиграв их все до копейки, Толик появлялся на бегах от случая к случаю, жалел деньги, рассуждая так: «Что Костылю? Мерку снял, взял аванс, почему не сыграть на

дармовые?» Знал точно — встретит Костыля. «Любит лошадей — не усидеть ему за городом. Объявится!»

Дом, одноэтажный бревенчатый, стоял в семидесяти километрах от Москвы, на краю совсем небольшого городка, так что картофельные гряды выходили прямо в зеленое поле, и Костыль Татьяныч, медленно передвигаясь вдоль гряд, окучивал картофель с высокой ботвой тяпкой с длинной ручкой, окучивал справа и слева, — тяпка под правой рукой, описав круг, переходила на грядку слева, и потому казалось, будто на лодке с одним веслом медленно плывет вдоль темной зеленой ботвы красная в белую клетку ковбойка.

У края картофельного ряда, положив тяпку рядом с вытянутой вперед ногой, Костыль Татьяныч смотрел внимательно: тут ли, на месте, зеленое поле и небо в вечерних лиловых стрелах, и, убедившись, что тут, на месте все, вставал, опираясь тяпкой в упругую землю, шагал по краю поля, поднимая голову с длинным носом — нездешний то был человек, шагавший темным силуэтом в гаснувшем небе, пират с деревянной ногой, не иначе, — спешил, выкидывал далеко ногу с острой туфлей, но кто не спешит, когда только село солнце и опустились на землю вместе с росой тишина и покой?

В доме на террасе горела желтая лампа, на столе стоял стакан с молоком, Юрий Николаевич пил молоко, забытый вкус молока уносил мысли далеко назад, в довоенную пору, в юность, и странные, приятные то были мысли: поделила война жизнь надвое, жил одним днем Костыль Татьяныч, жил так, будто жил так всегда, затерялась где-то первая половина, существуя сама по себе, безымянная, никак не касавшаяся Костыля Татьяныча.

Утром, проснувшись с головой ясной, принимался Юрий Николаевич за работу — сапоги не шил, не было в городке заказчика, но подшить подошву или каблук поставить — такой работы хватало, и сапожникчал до прихода Лиды с фабрики, здешней, в полтора этажа: каменный первый этаж со временем ушел в землю, зарос лебедой, чертополохом, так что видно было только половину оконного проема, в котором и днем горела электрическая лампочка, освещая стол Лидии Петровны, второго, или, точнее, младшего, бухгалтера фабрики.

Лидия Петровна овдовела — и тридцати не было, — жила с тех пор одна, повстречав Юрия Николаевича и скоро узнав его близко, доверилась доброму человеку полностью, жила со спокойной радостью и если о чем мечтала, то о том, чтобы каждый день встречал ее живой звук вбиваемого умелой рукой сапожного гвоздя в каблук.

За обедом Лидия Петровна больше молчала — говорил Юра, о пустяках говорил, то и дело вытирая взмокший от горячих щей лоб большим красным платком. «Похудеть бы ему — сердцу тяжело, износится сердце». И, словно улышав, говорил в ответ Юра:

— Ваши городские другое строение имеют, хоть и старый, но маленький город, смотришь: то сено убирает или копает в огороде, — мышцы при такой работе, Лида, длинные, выносливые, не городские, потому у вас худых, но плечистых чаще встретишь, моя же работа сидячая — одним словом, сапожник.

Проходил день, и оба знали цену дню этому и разговору обычному — высокая то была цена.

В сентябре Лида, вернувшись с работы, пообедав и отдохнув с полчаса, шла копать картошку, картошка уродилась крупная, и, работая в огороде, Лида думала: «Продадим картошку — купим костюм Юре, нет у него костюма хорошего», — и радовалась крупным клубням, как никогда раньше. В мешки просохший от сырой земли картофель укладывала тоже сама — ее это была забота, никак не Юрия Николаевича, и в субботу, погрузив в «Запорожец» тяжелые мешки, тут только приняла шоферские услуги Юры, сев с ним рядом на перед-

нее сиденье в маленькую, не под стать серьезным, завязанным крепко под самый верх мешкам машину.

— Доедем — как иначе? Обязательно доедем, — улыбнулся Юра, включил двигатель и выехал на проселочную дорогу, что вела к шоссе.

Продав на ближайшем рынке картошку, ездили в город и торговали в воскресенье опять, а во вторник купили костюм зеленого цвета.

— Отчего же зеленый? — спросила Лида. — Яркий костюм очень.

— Не зеленый — защитного цвета костюм, — отшутился Юра. — У меня и пальто зеленое — везет мне на зеленый цвет.

Вечером того же дня выпили водки, и с лицом розовым, в испарине, Юрий Николаевич, расстегнув верхнюю пуговицу нового пиджака, посмотрел в темное стекло террасы, будто увидел в квадрате темном прошедшее когда-то и давно случившееся, заговорил, глядя туда же, в черный переплет террасы:

— В сорок третьем, после госпиталя, в Москве уже пошел я на рынок, были костюмы разные, а я купил зеленый — не было никого в округе в таком костюме, и потому узнавать меня стали скоро, получил я прозвище — Костыль. Видели люди медаль мою «За отвагу» — носил я тогда медаль, однако прилепилась кличка, не со зла звали — коротко и понятно — Костыль! А что без ноги — так что? Многие там лежать остались, и это тоже люди знали.

Лида сидела прямо — словно клин вбили, — а в горле ком обиды за Юру, за обидную общую судьбу: и верно, не со зла все, и вот на тебе — Костыль!

По вечерам, еще длинным в сентябре, Лида копала картошку, когда же темнело, поднималась на террасу за коричневой двухлитровой кринкой и возвращалась скоро — рядом, через двор, хозяйка держала корову, — парное, теплое молоко наливала в толстую фаянсовую кружку Юрия Николаевича, садилась на табуретку у стола, смотрела, как пьет Юра молоко и, допив, красным платком вытирает молочные усы. Парное молоко Лида не любила и потому только улыбалась молча, когда в зеркале, круглом, умещавшемся в широкой ладони, проверял, хорошо ли вытер белый молочный след над губой сидящий напротив родной человек.

В субботу и на следующий день, в воскресенье, возили картошку на рынок, и как раз в воскресенье произошел случай, никак Лиде не понятный, а потом оказалось — и вовсе худой.

Хорошую, крупную картошку раскупали быстро, Лида нагнулась к последнему неполному мешку, набирая картофель в железную тарелку весов, услышала быстрый шепот:

— Управисься? Я мигом. Беговой день сегодня — рядом ипподром. Туда и обратно. Как?

Шепот горячий, настойчивый, чужой будто шепот не понравился Лиде так, что посыпался картофель назад в мешок, Лида застыла с растопыренными руками, застигнутая врасплох чужим, незнакомым голосом, кивнула согласно в ответ, потому что — а как иначе — свободный человек Юрий Николаевич, и видела переваливавшуюся, словно подбитая с одним торчащим крылом птица, далекую уже фигуру, скоро пропавшую совсем.

— Никак Костыль Татьяныч? — посмотрев поверх программы, без удивления всякого сказал завсегдатай.

— Куда он денется? — ответил рядом стоящий, и оба обратились к распisanному, помеченному загодя листу с именами лошадей, забыв тут же знакомую фигуру, существовавшую всегда и не означавшую ничего, то есть приметную обычную, постоянную, естественную здесь.

Толик заметил со второго яруса трибун Юрия Николаевича раньше нелюбопытных завсегдатаев, кинулся вниз бегом, но внизу перешел на спокойный шаг и поздоровался с Юрием Николаевичем хмуро, и Юрий Николаевич будто в чем-то провинился, почувствовав неведомую какую-то вину свою, начал бы-

ло рассказывать о деревенской жизни, о картошке, но смешался, замолчал рядом с не слушавшей его малорослой фигурой листавшего программу, и, только когда умолк расстроенный Юрий Николаевич, указав в программе лошадь, подчеркнув ногтем номер ее, поднял глаза Толик: «Играем?» Юрий Николаевич, даже не посмотрев внимательно на подчеркнутое Толиком и все так же чувствуя, будто обидел чем-то того, кивнул, достал деньги, увидел спину Толика, идущего к окошку тотализатора, и, достав красный платок, вытер мокрое, вспотевшее лицо.

— Знал я, не придет, собьется жеребец! — со злостью, как только прозвенел колокол на финише, поглядев на Юрия Николаевича со значением, сказал Толик, словно жеребца выбрал никак не он — кто-то рядом стоящий выбрал. — Картошку небось копал вчера, не подумал о программке — загодя программку люди покупают. На, держи.

Толик протянул скатанную в трубку программу сегодняшних заездов, Юрий Николаевич зашарил по карманам и вспомнил, что попросил Лиду положить в сумку очки его собственные за ненадобностью их на рынке. Толик внимательно, молча смотрел, как ищет очки Костыль, развернув скатанные листы, начал читать имена лошадей следующего заезда вслух и негромко: лошадей знал Костыль Татьяныч до третьего колена, разбирался в игре не чета Толику, потому Толик читал вятно и, закончив, ждал совета напарника.

Невезучий был день — проигрались в пух, — швырнув под ноги проигрышные билеты, пошел Толик за Костылем к выходу, к машине его и, обойдя «Запорожец», увидел, что в хорошем состоянии небольшой красного цвета автомобиль, сел в машину рядом с Юрием Николаевичем с некоторой мыслью, еще до конца не ясной, но в которой уже занимал свое место красный «Запорожец». «Он же игрок, — медленно, словно тропку нащупывая, думал Толик, — азартный, в кураже до копейки все спустит...» Поглядев на длинноносый профиль Юрия Николаевича, повернувшего ключ зажигания и ждавшего, когда прогреется двигатель, сказал, протянув программку:

— Погляди! Один заезд остался — из интереса попробуй! — Но, вспомнив, что нет очков у Костыля, начал читать имена лошадей, идущих в заезде, сам, а кончив читать, спросил: — Как тебе Пустяшная?

— Не Пустяшная — есть лошадь! — ответил Юрий Николаевич и выключил двигатель. — Есть! Пустельга. Верная лошадь! — Повернувшись всем большим телом к партнеру, повторил: — Хорошая лошадь: голову руби — придет первой!

Глаза Юрия Николаевича светились весело, ожили словно, и, посмотрев под ноги, на резиновый коврик, лениво сказал Толик:

— На деньгах сидишь, голову рубить не надо! Двое черных — видишь? — давно глаз на машину положили, почему, не знаю, но спросить могу. — И, не ожидая ответа, вышел из машины.

Юрий Николаевич видел, как подошел Толик к двум высокого роста мужчинам, видел, как завязался разговор общий, как в конце хлопнули по рукам Толик и неизвестные с тонкими усами под горбатыми носами люди, и услышал быструю напористую речь Толика, как только открыл тот дверь «Запорожца»:

— За настоящую цену тачка им не нужна — хапнуть хотят бесплатно, дают тысячу на последний заезд, если денег не вернем — их тачка. Как — брать деньги? Говоришь, твоя лошадь верная... Они деньги — ты ключ от машины. Давай думай — уйдут!

Юрий Николаевич через стекло машины увидел, как, засмеявшись, пошли в сторону от «Запорожца» незнакомцы, положил в подставленную ладонь Толика ключ, выбравшись из красного своего автомобиля, пошел, выкидывая ногу вперед за Толиком, догнавшим отошедших высокорослых людей. Один из них полез во внутренний карман, а через минуту Юрий Николаевич, получив деньги, вместе с напарником вновь вошел в широкие двери ипподрома.

Первый звонок прозвенел — наездники в колясках поворачивали лошадей к старту. Толик развернул скатанную программку, в которой под шестым номером значилась Пустельга, а под пятым Пустяшная, внимательно снизу посмотрел на Юрия Николаевича, спросил: «Смотри — эту играем?» — ногтем большого пальца подчеркнул так, что видна была белая длинная глубокая борозда под номером и именем лошади, и, взяв тысячу рублей, зашпешил к окошку тотализатора.

Лошади, разом взяв с места, ушли со старта плотной группой; знакомый азарт, словно живое существо, не зависящее от Юрия Николаевича, забился внутри, под ребрами. Юрий Николаевич кричал что-то далеким силуэтам лошадей, после первого поворота шедших уже не кучно, но вытянувшись цепочкой на противоположной прямой большого поля, кричал, еще не видя верную лошадь Пустельгу, и, схватившись за сердце, чтобы унять бушующее внутри существо, ринулся к парапету, когда, сделав второй поворот, лошади вышли на последнюю прямую.

— Доведи! — кричал наезднику Юрий Николаевич и, когда, выиграв два корпуса, пришла Пустельга первой, вытирая красное лицо большим платком, улыбаясь, выбрался из толпы и, поднимая палку над головой, направился к Толику.

— Видел? — издали еще кричал Юрий Николаевич. — Соображает Костыль в лошадях — пришла Пустельга! За рубль два дадут!

Бросив окуроч, аккуратно растерев его подошвой и только тут подняв глаза, сказал Толик слова неожиданные:

— Дадут, говоришь? Как же! На, разуй глаза, — протянул Юрию Николаевичу программку. — Что помечено — видишь? Помечали мы с тобой Пустяшную, не Пустельгу. — Толик вынул из кармана кучу билетов. — Билеты — один к одному — Пустяшная. — Окрикнув знакомого общего, сказал подошедшему: — Иван, рассуди!

Иван, взглянув на черту, подведенную под пятым номером, посмотрев на кучу билетов с жирной пятеркой, засмеялся обидно:

— Ну, Костыль, от тебя не ожидал! Пустяшной в этой компании делать нечего — слабая лошадь. Жадность тебя губит.

Но Юрий Николаевич, не слыша последних обидных слов, шагал быстро, как мог, к выходу, к месту, где стоял его «Запорожец», и, пройдя под трибунами, выйдя на площадку, своей маленькой красной машины не увидел, будто и не было здесь ничего похожего.

Нахохлившись, уже совсем со спины похожий на птицу, стоял Юрий Петрович на пятачке автомобильной стоянки, обернулся, когда сзади тронул его за локоть Толик:

— Очнись! Сделанного не поправишь. Выпить бы — оно и полегчает.

Юрий Николаевич, тяжело опираясь на палку, зашагал к рынку, в пути останавливался, вытирал взмокшее лицо красным большим платком, повторял дымившему сигаретой Толику:

— Невезучий я, Толик, совсем невезучий.

На что Толик только молча ждал, когда отдохнет тяжело дышащий партнер его.

Лида стояла у входа нелюдного в такой час рынка. Увидев Юрия Николаевича, пошла навстречу и, выслушав историю про забытые очки и проигранную машину, сказала:

— На поезде доедем, Юра, а там от станции недалеко до дома. Доберемся.

По дороге на вокзал купили две бутылки водки и, сев в электричку, через полтора часа сошли на станции тихого, будто уснувшего в воскресный вечер раньше обычного городка: еще катился рыжий клубок солнца, над крышами нитка разматывалась медленно, застревая в листве деревьев, в палисадниках, и

осенний и тоже сонный рыжий клубок плыл над задремавшим городом, скрываясь на миг за черной кирпичной трубой или узорным коньком железной крыши.

Миновав две застывшие в дремоте улочки, пройдя по тропке вдоль высокого глухого забора, вышли к дому. Лида, пропустив мужчин в комнату, спустилась в погреб и скоро появилась в дверях с большой миской салата, поставила ее на стол, нарезала крупно колбасу и хлеб. Юрий Николаевич разлил в стопки водку, молча выпили и, едва закусив, выпили еще; два окна в комнате потемнели, запахло из кухни вареной картошкой. Лида, задернув шторы, ушла на кухню. Толик, посмотрев ей вслед, сказал негромко:

— Гладкая баба, стоящая.

Юрий Николаевич поднял глаза от тарелки, внимательно посмотрел на Толика.

— Не баба, Лида имя ее. Так и называй: Лида.

— Лида так Лида. Ничего обидного я не сказал,— миролюбиво ответил Толик, а когда в дверях появилась со сковородкой обжаренной вареной картошки женщина, Толик, подскочив, галантно принял тяжелую чугунную большую сковороду, поставил на железную подставку в середине стола.

От усталости, водки, от горячей вкусной картошки Юрий Николаевич опершись на широкую ладонь, совсем уже спал за столом, и, когда Лида крепко обхватила его тяжелое тело и подвела к кровати, он лег молча и заснул тотчас крепко.

Лида сидела за столом, доедала остывшую картошку, слушала Толика, говорившего много, часто смеявшегося смехом неестественным, и, как всякая женщина, поняв скоро, что маленький ловкий в движениях незнакомый человек, сидящий за столом в ее доме, хочет понравиться ей непременно и оттого говорит вычурно, манерно, не слушая больше слов его, сидела будто одна за столом, под желтым абажуром — свет от лампы падал узким конусом на скатерть с черной сковородкой посередине, оставляя в полутьме комнату и кровать со спящим Юрием Николаевичем.

— Проиграл Юра машину — обидно, конечно, но ведь его это была машина... — И так вдруг стало жаль Юру, что навернулись слезы, и Лида встала из-за стола — не нужно постороннему видеть непрошенных слез, — повернувшись спиной к Толику, сказала: — Пойду постелю вам в соседней комнате,— и, не слушая возражений Толика, вышла из комнаты.

Застелив гостю большую, широкую кровать чистым бельем, Лида прошла на застекленную, еще хранившую тепло террасу и здесь на старом диване легла, укрывшись ватным одеялом. Лида лежала с открытыми глазами, видела темные высокие кусты бузины за стеклом террасы и никак не могла забыть непонятных, но почему-то тревожащих слов Толика, сказанных за столом, когда уже спал Юра: «Приди первой Пустышная, не на «Запорожце» — на «Волге» приехали бы». Так и не поняв смысла слов из неизвестного, загадочного, чужого ей мира, Лида закрыла глаза и скоро заснула.

Начало рассветать, когда сквозь сон она почувствовала легкое прикосновение к бедру своему, чужая жесткая ладонь поднималась вверх под ночную рубашку. Лида открыла глаза, увидела рядом с собой Толика в трусах, села, опершись спиной о высокую подушку на валике дивана, и со сна, еще не понимая, что делает здесь вчерашний приятель Юры, спросила:

— Толик? Чего тебе?

— Тсс, тихо! Ложись!

Но еще до слов его, лишь взгляд жадный заметив у плеча своего, вскочила с постели и ударила наотмашь похотливое воровское лицо, ударила еще раз уже пятившегося к двери Толика, а потом, стоя у притолоки, ждала, когда оденется подлый человек, и, открыв входную дверь, вышла вслед за ним на крыль-

цо и палкой Юриной, первой попавшейся под руку, била мерзавца, пока не побежал тот от ступенек крыльца и не скрылся за кустами.

Взбешенная, даже не за себя — больше за Юрия Николаевича, стояла Лида в сером рассвете, не чувствуя утреннего холода, и только гудок первой электрички — звук знакомый, обычный — унял злое напряжение. Лида поднялась с нижней ступеньки на крыльцо, чужой голос остановил ее у двери, и, обернувшись, увидела стоявшего у кустов Толика.

— Пентюх твой Костыль! Думаешь, я два рубля за рубль хотел получить? Он хотел — не я. Подчеркнул ему, кроту слепому, вместо его Пустельги свою лошадь и сыграл на всю тысячу! Пентюх он деревянный! Вот так-то.

Лида молча слушала насмешливый голос и, когда исчез за кустами дрожащий от злобы Толик, вошла в дом, накинула на плечи ватное одеяло, села на диван, с нежностью подумала о безмятежно спавшем трепанном жизнью немолодом уже человеке и вскоре задремала.



Л. В. СКВОРЦОВ

Толерантность: иллюзия или средство спасения?

Природа толерантности

В общественном сознании распространены некоторые неопределенные понятия, истинность которых полагается очевидной. Например, понятие «свобода» все считают выражением истины бытия человека: никто не хочет быть рабом, все стремятся к независимости. Когда же это понятие конкретизируется, возникают вопросы и сомнения. Например, кто будет защищать свободу убийцы? Большинство, наверное, выступит против такой свободы.

«Толерантность» (терпимость) относится к числу понятий, сходных в своей сущности с понятием «свобода». На самом деле кто может смириться с нетерпимостью, проявляемой к его личным качествам, естественным и социальным свойствам? В этом смысле все — за толерантность: но как только ставится вопрос о толерантности в отношении специфики образа жизни, привычек, ментальности **конкретных** индивидов, возникает немало проблем.

Например, трудно проявлять толерантность в отношении сидящего в общественном транспорте бомжа, носителя педикулеза, инфекций или дебошира, нарушающего общественный порядок. Это очевидные явления. Но существует и такая несовместимость, которая порождает неоднозначную реакцию. Это относится к феноменам духовной, культурной, нравственной жизни.

Толерантность является важнейшим условием нахождения компромиссов, преодоления конфликтов. Нетерпимость ведет человечество к братской могиле, поэтому проблема толерантности сегодня обрела международный смысл. Не случайно Генеральная Ассамблея ООН в декабре 1992 года приняла резолюцию, приветствующую инициативу ЮНЕСКО провести год Организации Объединенных Наций, посвященный терпимости. Этот год был приурочен к пятидесятой годовщине образования ООН и ЮНЕСКО.

В контексте этой идеи был проведен ряд международных мероприятий, в том числе региональная научно-практическая конференция «Толерантность как способ выживания народов в условиях Севера» (Якутск, апрель 1994 г.), а также международная конференция «Толерантность как культурная универсалия» (Харьков, май 1996 г.).

Содержание этих конференций, обсуждение на них проблемы толерантности показывает, сколь широко интерпретации этого понятия — от медицинских и экологических до социально-политических и духовных. Все эти интерпретации имеют свои «достаточные основания».

В специфике российской ситуации на передний план выдвигается проблема терпимости как основы демократического процесса. И здесь встает немало сложных теоретических вопросов. Главный из них состоит в следующем: означает ли толерантность как выражение сущности демократической ментальности терпимость ко всему? Вопрос закономерный, так как терпимость ко всему может привести к разрушению самой демократии. Если же толерантность включает в себя лишь мо-

Лев Владимирович Скворцов, доктор философских наук, профессор, заместитель директора ИНИОНа РАН.

Статья подготовлена при содействии Дома наук о человеке (Франция) и Британской Академии.

● Толерантность: иллюзия или средство спасения?

мент определенной нетерпимости, то не означает ли это, что она отрицает тем самым самое себя?

Как представляется, адекватное толкование толерантности возможно лишь в том случае, если принимается во внимание ее конкретное содержание. Одно дело — толерантность в структуре межрелигиозных отношений, другое — толерантность в идеологической сфере. Особая проблема толерантности в структуре научного мышления. Смешение различных видов ментальности может иметь поистине трагические последствия. Если религии и идеологии дают свои ответы на вопросы, которые не имеют однозначных решений, то в науке два взаимоисключающих ответа на один вопрос представляются несовместимыми.

Наличие различных типов ментальности и соответственно различных форм толерантности — это та проблема, адекватное решение которой создает предпосылки установления таких социальных и политических отношений в обществе, которые обеспечивают стабильность демократии.

Толерантность как тип индивидуального и общественного отношения к социальным и культурным различиям, как терпимость к чужим мнениям, верованиям и формам поведения можно рассматривать в качестве одного из фундаментальных признаков цивилизованности, уровня политической культуры.

Несмотря на видимость общего согласия в необходимости культивирования толерантности, в современном мире идут глубинные процессы, подрывающие международное сотрудничество, порождающие острые межэтнические и межкультурные конфликты. В чем причина усиления нетерпимости, и есть ли путь преодоления или смягчения межкультурных противоречий? Не давая ответ на эти вопросы, трудно рассчитывать на выработку адекватного стратегического мышления, позволяющего определять ориентиры долгосрочной государственной политики.

Этим объясняется необходимость нового осмысления проблемы толерантности и определения контуров ее решения применительно к современной исторической ситуации.

Чтобы ответить на эти вопросы, обратимся к природе толерантности. Исторически толерантность — духовное, а не физиологическое явление — осмысливается и получает свое определение как реакция на последствия мировоззренческого конфликта, становящегося предпосылкой религиозных войн. Религиозные войны провоцировались людьми, убежденными в том, что именно они владеют абсолютной истиной. Разве это не благородная и спасительная для человечества цель — утвердить абсолютную истину всюду, где это возможно?

Логика абсолютной истины обязывает быть последовательным. Это и нравственный императив. Нарушая его, человек проявляет слабости, недопустимые колебания, неуверенность в себе. Он становится жертвой общественного презрения.

Кто судит с абсолютных позиций, тот легализует право судить и себя аналогичным образом. Вера в абсолютную истину — это бритва, которая безжалостно режет по живому. Значит ли это, что во имя сохранения жизни людей следует отречься от истины? Такая постановка проблемы кажется неприемлемой. Истина придает жизни смысл. Истина присутствует в сознании человека даже тогда, когда он занимает скептические позиции. На признании общей истины держится упорядоченная общественная жизнь.

Однако доступна ли человеку **абсолютная** истина? Может ли он считать реальным претензию религиозного мировоззрения на абсолютную истину? Ведь человеку, ограниченному существу, противостоит бесконечность, которая в принципе не может быть познана до конца.

Оправданный и философски осмысленный скептицизм становится логической и нравственной основой толерантности, а затем и политики терпимости, отделения церкви от государства, однако государственная толерантность не легитимизирует терпимость ко всему, к любым социальным явлениям и формам практического поведения. Под понятие толерантности нельзя подводить и требование **абсолютной свободы индивида**. Абсолютная свобода человека и деспотизм — это две стороны одной медали.

Государственная легитимизация толерантности несет в себе возможность утверждения демократической формы правления. С этим связаны и новая интерпретация духовной эволюции человечества, и сомнение в адекватности идеи священной истории, основанной на откровении, одномоментном постижении истины бытия человека. Истина бытия осмысливается теперь как процесс: она естественным образом соединяется с толерантностью.

Наиболее убедительную попытку соединения абсолютной истины с признанием многообразия мировоззренческих позиций предпринял Гегель. Согласно Гегелю, абсолютная истина есть конечный результат движения идеи, которая последовательно проходит стадии, зафиксированные в исторически сформировавшихся философских системах. Все они несут в себе моменты истины и поэтому не могут отвергаться с порога: истина многогранна и прекрасна, как алмаз. Соединение абсолютной истины с толерантностью следует рассматривать как выражение философского разума, той мудрости, которая выше религиозной веры в силу своей универсальности.

С такой трактовкой философского разума связано важное умение находить общий критерий, благодаря которому воздается **должное каждому** народу. Диалектическая логика разума и есть универсальный критерий оценки исторической роли личностей и государств как носителей и средства реализации Абсолютной идеи.

Вместе с тем выделяется общая субстанция **всемирной истории**, закладываются предпосылки глубинного преодоления ксенофобии, разного рода предрассудков и предрассудков.

Эмоционально декларируемый принцип толерантности сегодня нередко сводится лишь к возбуждению сочувствия к людям иной этнической, религиозной принадлежности либо к выявлению несоответствия тех или иных общепризнанных прав человека реальной политике в конкретном государстве. Такой эмпирический подход ведет к смешению нетолерантности с различными видами дискриминации. Толерантность требует видения общественной жизни как **позитивного целого**. Понимание этого целого и есть объективное основание подлинной толерантности. Толерантность — это не беспринципность, не социальный эклектицизм; это глубинное понимание необходимости иного, различий и особенностей как моментов целого. Нетолерантность — это игнорирование истины социальной жизни.

В отличие от толерантности дискриминация — это искусственное культивирование особенностей, оправдывающих ограничение прав, возможностей экономической, социальной, политической и духовной активности, вытеснение, подавление иного субъекта. Дискриминация основана на субъективной воле, устанавливающей такую иерархию ценностей, которая ставит в привилегированное положение определенного субъекта.

Толерантность имеет свой механизм самореализации. Член общества как гражданский субъект удостоверяет свое достоинство через признание достоинства иного и находит в этом подтверждение своей собственной политической культуры. Политическая культура обретает характер **общего разума**, сужающего сферу действия дискриминации по мере того как все большее число граждан усваивают универсальные принципы и признают их **своими**, что удостоверяется конкретными формами их конструктивного взаимодействия.

В обществе социальной дискриминации складывается атмосфера **равнодушия** к универсальным критериям оценки достоинств человека. Если даже они признаются на словах, индивиды продолжают стремиться использовать возможности своего положения для получения привилегий за счет других. Если в таком обществе нет черных негров, то обязательно возникают «белые негры».

В атмосфере социальной дискриминации индивиды не знают критериев своего достоинства. Существует и нравственный аспект этой проблемы: социальному достоинству не учат в семье, оно не формируется и в системе образования. В итоге граждане видят в качестве реалий лишь свои естественные и социальные различия. Люди, являющиеся друг для друга «продуктами природы», никогда не увидят своей универсальной сущности. Соответственно перед ними не встает и проблема толерантности.

Проблема толерантности возникает лишь тогда, когда члены общества начинают «видеть» свою универсальную сущность. В зависимости от доминирующего в государстве общественного сознания складываются и различные типы толерантности.

Типы толерантности

Любое общество, не имеющее этнической, социальной и культурной однородности для обеспечения своей стабильности, нуждается в толерантности.

Эффективность толерантности зависит от того, насколько ее форма соответствует характеру доминирующего — мифологического, религиозного, секулярного или научно-общественного сознания.

Толерантность в структуре мифологического сознания. В структуре мифологического сознания возникают предпосылки абсолютной истины. Парадоксальным образом ее признание находит свое выражение в реакции на движение философской мысли, которая дает разумное истолкование мифа. Процесс такого истолкования — это форма логического или фактического доказательства. Неопровержимое обоснование мифологического представления и есть путь к абсолютной истине.

На первых порах мифологическое сознание и философия легко уживаются друг с другом. Это состояние можно назвать скрытой толерантностью. Толерантность здесь еще не осмыслена концептуально. Общество терпимо относится к специфике философского мышления, поскольку оно еще не ведет к разрушению образов мифологического сознания. В итоге, однако, возникает тенденция **подавления** философии.

Распад античной толерантности тесно связан с попытками предотвратить эрозию духовного и социального единства полиса, общины, в структуре которых она возникает, устранить причины, которые становятся ферментом социального хаоса. Но эрозия мифологического сознания уже не могла быть предотвращена путем подавления философии. Для социальной консолидации стал необходим **новый тип сознания**, формирование которого как раз и требовало толерантности. Нетерпимость и гонения инакомыслящих лишь углубили кризис античного общества. На почве разлагающегося мифологического сознания с его политеизмом вырастает христианская монотеистическая религия.

Монотеизм и толерантность. Утверждение монотеистического сознания связано с историческим парадоксом: испытав на себе жестокие гонения язычников и нуждаясь в общественной толерантности, христиане, завоевав господствующие позиции в общественном сознании, добиваются двух фундаментальных результатов в духовной жизни: во-первых, они утверждают понятие Абсолюта, высшего и совершенного Бытия как Демиурга всего существующего, его начала и конца; во-вторых, они превращают философию в служанку религии, ограничивая движение мысли рамками основной догмы.

Утверждение полученной через откровение единственной абсолютной истины делает толерантность логически и нравственно невозможной. В структуре абсолютной веры толерантность невозможна в принципе, поскольку она разрушает абсолютность.

Утверждение абсолютной истины оказывается предпосылкой преодоления социального хаоса, создания социально-психологического климата для восприятия общего закона, сковывающего обручем субъективную волю и представителя низов, и тирана. Утверждение абсолютной веры стало путем к социальному миру. Вместе с тем очевидно, что встреча абсолютных верований чревата опасным и непримиримым конфликтом.

Постоянное очищение веры от потенциальных носителей внутреннего конфликта с течением времени оказывалось все более трудной задачей. Ферментом разрастания внутреннего конфликта оказывался конфликт внешний, где противостояли друг другу взаимоисключающие доктрины, в равной мере претендующие на абсолютность.

Религиозные войны и подготовили легитимизацию толерантности. Но, естественно, толерантность неслы бы на себе неизбежную печать беспринципности, если бы не философская критика метафизики. Именно эта критика позволила придать толерантности легитимность и вполне осмысленный характер. Критика метафизики — это отрицание претензий любой веры на окончательную и абсолютную, единственную истину, а вместе с тем и ключевой этап в установлении духовно зрелого общества. Отношения с религией, которые позволяют сохранять ее нравственные функции и вместе с тем достаточно определенно очерчивают границы ее компетенции, превращают толерантность в постоянную черту жизни общества. Толерантность, однако, укрепилась не везде. Она оказалась поставленной под удар критики, но теперь уже не с позиций религиозной догматики, а с позиций идеологии, не допускающей компромисса принципов.

Секулярное сознание и толерантность. В структуре секулярного сознания эрозия толерантности происходит в силу абсолютизации социальной роли определенного исторического субъекта, которому приписываются черты совершенства, исторического превосходства и универсальности.

Определенность исторического субъекта — этноса, нации, класса, цивилизации — это эмпирический факт. Однако утверждение универсальной мессианской

роли субъекта и соответственно определение его особых качеств — это идеологический постулат.

Идеологический продукт секулярного сознания и порождает нетерпимость. Догматические постулаты в секулярном сознании не требуют эмпирического подтверждения и логических доказательств. Они обладают свойством самоподтверждения, поскольку совпадают со скрытым массовым устремлением. Любые выводы и суждения, противоречащие принятой догме, автоматически попадают в категории «клеветнических», «очернительских», «подрывных» представлений. Соответственно они служат основанием для того, чтобы общественные организации и государственные органы выполняли особые очистительные функции, определяли систему мер для предотвращения распространения враждебных влияний.

Серьезная трудность в понимании секулярной нетерпимости заключается в характере **открытия**, на которое опирается идеологическая доктрина. Это не открытие нового явления и не обоснованный логически вывод, а открытие **истинного будущего**. Поэтому в принципе ни одна идеологическая доктрина не может быть окончательно опрокинута эмпирическими и логическими доводами.

Другой важный момент состоит в том, что идеологическая сублимация этнической или социальной самооценки определяется относительностью возвышения: унижение своего визави автоматически ведет к самовозвышению. Этот аспект идеологического самосознания обычно остается в тени: принимаются во внимание лишь экономические, социальные, политические выгоды самовозвышения. При этом оказывается необъяснимым факт экономических и иных уступок ради сохранения видимости превосходства.

Сила влияния этнического и социального эгоцентризма может быть столь велика, что возможны огромные материальные и даже человеческие жертвы ради самоутверждения. Самоутверждение может стать фактором ренессанса традиционных религиозных, культурных, духовных ориентаций.

Самоутверждение формирует черно-белую действительность. Все свое предстает в одеяниях святого. Все чужое — в облике сатаны. И это наглядно обнаруживает тот факт, что такое самосознание не отражает реальность, а формирует ее определенным образом.

В секулярном обществе толерантность становится реальностью в результате признания как истинных универсальных нравственных принципов. На основе всеобщих принципов возможно уважение к иному, принятие этнических и национальных особенностей, различий в социальных воззрениях, которые порождаются особенностями условий жизни, профессиональной деятельности, культурных традиций.

Толерантность здесь — следствие высокой духовной и нравственной культуры. Для традиционного общества, однако, выявляется и проблема способности человека подчинять свои чувства и интересы таким всеобщим принципам.

Ф. М. Достоевский поставил эту фундаментальную проблему так: могут ли все или большинство следовать принципам, если им нечего есть или негде жить? Не будут ли индивиды следовать инстинкту выживания, пренебрегая принципами и священными заповедями? Жизнь традиционного общества ставит ценность трансцендентального принципа под сомнение.

Сфера принципа — это сфера свободы, результат выбора. Если свободному выбору следуют единицы, то люди принципа чувствуют себя принадлежащими к **особому клану**. Если масса людей живет постоянными компромиссами: грешат и каются, каются и грешат вновь, то терпимость складывается как способность **прощать**. Человек, не способный прощать, не может быть в нормальных отношениях с людьми.

Научная ментальность и толерантность. Становление научной ментальности как общественного сознания имеет своим следствием критическое восприятие идеологии, критику всех ее форм как «извращенного сознания», затеняющего действительные механизмы социального действия. Научная ментальность полагается средством освобождения сознания от идеологического субъективизма. Такое освобождение должно «снимать» и идеологическую нетерпимость, и связанные с ней конфликты.

Научная ментальность предполагает анализ реальных причин и следствий так, как они понимаются в естественных науках: имеется причина как установленный материальный феномен, факт и порождаемые им определенные следствия. Все, что находится вне этой реальной материальной связи, есть фантом, продукт воображения.

Сущностные аспекты самосознания в такой ментальности утрачивают свою легитимность. Ведь порожденные самосознанием фантомы как раз и становятся действующей причиной определенного практического поведения. Терпимость в сфере самосознания — это терпимость к фантомам в зависимости от их практических последствий. Научная ментальность не может быть в принципе терпима к фантомам: она подчиняется принудительной силе материальной объективности.

Другим аспектом проблемы толерантности становится определение **подлинных** механизмов поведения человека. Наука должна вскрывать глубинный «второй план», скрытый иллюзиями сознания.

«Освобождение» от абстрактных идеалов рассматривается как путь к пониманию подлинных причин поведения, в том числе и психических отклонений.

В итоге происходят глубокие сдвиги в общественной психологии, которые находят свое выражение в сексуальной, нравственной и иных революциях.

Традиционная культура опиралась на представление о том, что нравственные ценности и нормы определяются наличием в созданной Верховным Существом иерархии бытия — низших и высших его форм.

Культура модерна (нового времени) полагала **объективной** иерархию созданных **человеком** вещей, составляющих искусственный мир, и установленную социальную иерархию.

Культура постмодерна считает исходным основанием ценностных представлений **выбор индивида** в данной конкретной ситуации.

Эти исходные основания различных типов культуры и определяют понимание толерантности.

Постмодернистская духовная реальность и толерантность

Происходящие сдвиги в социальной психологии коренным образом видоизменяют иерархию традиционных и модернистских ценностей, которые определяли сущность жизни.

Подлинная действительность бытия человека кажется совпадающей с потоком сознания. Критерии высокой и низкой морали, истины и заблуждения перестают действовать либо оцениваются как субъективные, как результат предпочтения в зависимости от личных устремлений. В бытии как потоке сознания возникает терпимость ко всему вообще. Традиционные духовные и социальные ценности входят в систему информации наряду со всякой иной информацией. Элементы информации могут либо представлять интерес для индивида, служить стимулом определенных форм жизни и поведения либо нет. Индивидуальный выбор в системах ценностных ориентаций делает мозаичной систему общественной жизни.

Проблема толерантности встает в иной плоскости. Традиционно толерантность означала терпимость к чужому, готовность сосуществовать с ним. И это прежде всего относилось к различиям религиозным, к различиям в обычаях, образах жизни, привычках, культурных, эстетических ориентациях. Теперь ситуация меняется радикально. Все различия переносятся в страну и исходную ячейку общества — в семью. Эрозия общих критериев нравственности в самосознании человека порождает деструктивные следствия для личности. Человек с неустойчивым социальным сознанием, лишенным общих критериев, обретает полную свободу. Однако парадоксальным образом эта свобода ведет к его саморазрушению. Выражением этой ситуации можно считать признание Генри Миллера: «Я во всем мгновенно распознавал противоположности и противоречия, иронию и парадокс реального и нереального. Я был самым страшным врагом самому себе».¹

Возникновение неструктурированного потока сознания направляет активность человека против себя самого.

Восстановление позитивного отношения к себе и к своему социальному окружению теперь требует **идеализации**.

Идеализация невозможна, если человек воспринимает себя и других людей лишь в качестве «продуктов природы». Но оправдана ли идеализация с точки зрения научной ментальности? Не является ли она производством фантомов?

¹ Генри Миллер. Тропик Козерога. В кн. «Тропик Рака. Тропик Козерога. Черная весна». М., «Руссико», «Труд», 1995, с. 261.

Можно, однако, возразить, что даже такая точная наука, как математика, создает фантомы и оперирует ими. Пример — мнимые числа, играющие важную роль в вычислениях.

В сфере самосознания идеальные образы играют принципиальную роль как ориентиры правильной жизни. В зависимости от того, с каким идеальным образом отождествляет себя субъект, определяется направленность стратегии жизни.

Другим важным аспектом этой проблемы является способность индивидов видеть друг друга в некоем «идеальном свете». Только в этом случае между ними устанавливаются те высокие отношения, к которым и применяется понятие «человеческие». Здесь идеализация оказывается не только терпимой, но и необходимой.

Так, например, если в структуре семейных отношений взаимодействующие партнеры видят в себе лишь «продукты природы» и ничего более, то они отвергают любые формы идеализации. В итоге ноша семейной жизни превращается в тяжкое и скучное бремя. С этим и связана так называемая сексуальная революция. Ее суть — в установлении такой системы сексуальных отношений, при которой индивиды извлекают для себя наслаждение, основанное на свободе смены и разнообразия партнеров. Так возникает терпимость к явлениям, которые в традиционных структурах культуры считались совершенно нетерпимыми.

В условиях, когда натуралистическая ментальность в различных ее формах становится доминирующей, в общественном сознании происходит «смещение» различных критериев толерантности, возникают несоответствия, непоследовательности в структурах поведения.

Этот процесс уже сейчас затрагивает различные сферы общественной жизни, ведет к глубоким изменениям социальной психологии.

Социальные эксперименты и толерантность

Освобождение от диктата традиции открывает возможность выбора любого духовного ориентира. Индивид делает самого себя полигоном для апробирования различных типов образа жизни. Как следует относиться к этому? Возможно, это симптом цивилизации будущего, состоящей из духовно независимых индивидов. А быть может, это массовое проявление обычных отклонений от нормы, пробы и ошибки маргиналов, которые всегда останутся таковыми?

Нельзя вместе с тем не видеть, что все более массовый характер маргиналов требует своих объяснений. Одно из них — в кризисе общих социальных и нравственных ценностей. Каждый индивид теперь ведет с обществом «свою игру». Индивиды «как бы» соблюдают общие нормы.

Можно ли легализовать в общественном сознании то, что находится за поверхностью жизни? Суть проблемы не в преодолении самого явления, а в возможности или невозможности его открытой демонстрации. Общество должно находить компромиссы в решении таких проблем. Эти компромиссы и трактуются как толерантность в ее современном выражении. Толерантность теперь — это двойная ментальность человека.

Ценностные знаки в структурах этой ментальности имеют противоположный смысл.

Противоположность внутренних ориентаций получает осмысление в традиционных терминах. Современный человек стоит перед дилеммой: быть ему Богом или сатаной? Если он воспринимает себя как норму, как критерий, то неизбежно становится судьей всех. Но поскольку его судейская миссия определяется лишь его субъективной убежденностью, а последняя все время меняется, то, становясь сатаной, он терпимо относится к носителям зла. Становясь Богом, он стоит за тех, кто приобщается к святому делу. Вместе с тем он периодически оказывается и в оппозиции к самому себе.

Когда фиксируют быстрый рост самоубийств в современном обществе, то обычно ищут его причины в возникающих для существования человека тупиковых ситуациях, связанных с внешними, материальными трудностями. Однако сегодня начинают набирать силу иные факторы, связанные с раздвоением духовных принципов человека, не позволяющих ему найти примирение с самим собой.

Сегодня отчетливо выражена тенденция к массовизации этого состояния.

Человеку всегда казалось привлекательным найти достойное определение самому себе и последовательно формировать себя в соответствии с ним. Самосознание — это привлекательная и в то же время крайне опасная зона духовной жизни.

Как найти в себе исходное основание, духовный центр тяжести, позволяющий избежать бессмысленной суеты и начать целенаправленное движение?

Гегель определил его как «ничто», совпадающее с «нечто». Нечто — предпосылка его позитивной определенности. Диалектическое движение подлинного бытия человека совпадает в своей сущности с мышлением, поскольку через мышление человек находит свое позитивное практическое самоопределение.

В такой интерпретации противоположные самоопределения человека могут быть преодолены; вместе с тем он может найти примирение с собой, если противоположности делает моментами целостности истинного бытия.

Такое примирение с собой многим кажется решением проблемы лишь в сфере философского сознания. Расколотость человека является истоком духовного разрыва, который влечет за собой тяжелую болезнь личности. Не случайно пытаются снять эту проблему вообще, представить духовный мир индивида как мир его **знания об объективности**. Считается, что человек будет духовно расти, обретать свое величие вместе с ростом объема знаний. Эта истина кажется особенно актуальной в условиях информационного общества.

В информационную эру осуществляется соединение знаний, заключенных в различных базах данных. Это соединение и есть процесс формирования мирового разума, универсального в своей сущности и не содержащего внутренних противоречий. В силу своей универсальности по содержанию и по форме мировой разум является основанием разделения людей лишь на **знающих и незнающих**.

Незнающие обретают истину тогда, когда превращаются в **знающих**. Ни один нормальный человек не может отбросить знание под тем предлогом, что оно не соответствует установкам его ментальности. Если некто демонстрирует воинствующее отвержение знания, он ставит себя тем самым вне рамок современной нормы. Именно в условиях формирования глобального разума нации те, кто игнорирует факторы развития своего интеллектуального потенциала, неизбежно выпадают из основного ритма цивилизационного развития.

В области универсального научного знания терпимость к различию в оценках определяется рамками диалектики объективности. Никакая догма не может оправдать своего несоответствия объективности, и, поскольку объективность изменчива, изменяется и ее определение.

Быстрое расширение научно-технических знаний становится все более значимым фактором в позитивном развитии общества, меняет его качество. Оно переводит проблему толерантности в плоскость признания таких цивилизационных и иных различий, которые имеют эстетический, психологический, нравственный интерес. Все эти различия как бы обогащают палитру жизни человечества, без которой она стала бы серой, монотонной, но теперь уже не затрагивают ее сущности.

Вместе с тем кажется парадоксальным, что столь эффективное решение проблемы толерантности сопровождается новым взрывом противоречий даже после того, как был устранен основной социально-идеологический конфликт XX века.

Можно, конечно, высказать банальное предположение, что угроза общего цивилизационного катаклизма является следствием невежества, неспособности внимательно изучать исторические и социальные явления, взвешивать все «за» и «против» тех или иных решений и находить единственно верные разумные компромиссы, быть терпимыми к интересам всех. Однако такое суждение, на первый взгляд верное, проходит мимо важной особенности современного социального самосознания.

Научная ментальность объединяет всех, кто признает приоритет объективного знания. Здесь толерантность естественно вытекает из доказательности. Однако в сфере социального самосознания общая логика доказательности перестает действовать: приоритет здесь имеет **иерархия ценностей**.

Так, основой дружбы считается верность. Нет верности — нет и подлинной дружбы. Даже тогда, когда проявляют терпимость по отношению к измене, поскольку она как бы нехарактерна для духа данного человека, а значит, случайна, то это не означает терпимости по отношению к измене как таковой.

Можно ли считать измену адекватной нормой подлинных дружеских отношений? Очевидно, что нельзя.

Аналогичным образом существуют и другие формы человеческих отношений, которые определяются постоянными принципами, играющими роль критериев. Совокупность критериев, признаваемых обществом, формирует его качество.

Толерантность в историческом контексте XX века

Смена критериев социальных и нравственных ценностей, изменение качества обществ формируют духовную сущность всемирной истории. Эта сущность оформляется как в острейших столкновениях, так и в процессе взаимной адаптации, заимствований, сложных синтезов различных культур.

Что определяет несовместимость культур и что позволяет осуществлять их органический синтез? На такие вопросы нет однозначных ответов. Опыт истории, однако, показывает, что качели духовного противостояния могут раскачаться так, что человечество будет катапультировано в историческое небытие.

XX век создал предпосылки постоянной угрозы цивилизационных конфликтов, принимающих форму мировых войн.

Роль «закваски» этих конфликтов играют классовые, расовые идеи, идеи цивилизационной несовместимости. Они имеют научную форму, что придает им универсальный смысл и создает видимость того, что нетерпимость естественно возникает на современной научной почве.

Отождествление толерантности с недопустимым оппортунизмом, ее отвержение диктуются новым пониманием исторической перспективы, величием идей создания всемирных цивилизационных образований.

Не являются ли принципы универсальной толерантности иллюзиями, которые хороши как строительный материал для создания спекулятивного идеального мира, но не годны для решения цивилизационных проблем?

Универсальное равенство и толерантность. Хотя постановка такого вопроса представляется правомерной, однако однозначный утвердительный ответ на него был бы, видимо, опрометчивым. При рассмотрении этого вопроса нельзя не принимать во внимание драматического опыта двадцатого столетия. Утверждение на исторической арене нацистских движений, как известно, было неразрывно связано с отвержением универсальных принципов равенства, человечности и толерантности.

Эта память сегодня вытесняется из общественного сознания. Однако непосредственно после окончания второй мировой войны она диктовала тип политики, мышления и практического поведения.

Организация Объединенных Наций и ее различные ответвления положили трансцендентальные универсалии в основание своей деятельности. Это позволило начать осуществление шагов в направлении международной юридической защиты прав человека. Доминирующим настроением в мире становится не просто терпимость, а создание системы защиты прав маргинальных, социальных групп и отдельных людей от силового давления государства.

Некоторые симптомы этой ментальности имели место и раньше. Так, Женевская конвенция 1894 года требовала хотя бы минимального уважения к солдату как личности даже во время войны и признания нейтральности медицинского персонала. Идея получила свое развитие в определении правил обращения с военнопленными, создании международного Комитета Красного Креста.

В деятельности Лиги наций также проявлялась озабоченность уровнем благосостояния меньшинств, населения колоний. В 1926 году Лига наций приняла конвенцию, объявляющую рабство вне закона. Международные правовые акты сыграли немаловажную роль в консолидации международных демократических сил. Этот процесс выявил реальную силу всеобщих принципов в мировой политике. Казавшиеся спекулятивными универсальные открытия философов стали находить свое все более убедительное практическое применение. Здравомыслящие правительства оказались вынужденными так или иначе считаться с новыми реалиями — с рождением мирового сообщества и растущим влиянием всеобщих принципов.

Вполне понятно, что ООН «оседлала» эту волну. На основе принятой в 1945 году этой организацией Хартии Объединенных Наций стало осуществляться юридическое закрепление международно признаваемых прав человека. Статья 55 Хартии ООН признавала принцип равенства прав и самоопределения народов. Она нацеливала все международное сообщество на создание условий для повышения жизненного уровня, решение фундаментальных экономических, социальных проблем, проблем здравоохранения. Она поощряла международное сотрудничество в сфере культуры и образования. Попытки прикрыться национальным суверенитетом для того, чтобы сохранить и возможность нарушения признанных прав человека, и свой международный престиж, оказываются все менее эффективными.

В 1948 году была принята универсальная Декларация ООН, в соответствии с которой готовились соглашения о гражданских, политических, а также экономиче-

ских, социальных и культурных правах, поддержанные большинством государств. Политическое соглашение допускает обращение отдельных людей, критикующих свое правительство, в международные организации.

ООН и ее ответвления потенциально становились инстанцией, которая формировала критерии государственного поведения в отношении конкретного человека. Она формировала ту универсальную правовую среду, которая должна стать общей легитимной основой синхронизации поведения суверенных государств. Все авторитарные режимы в той или иной степени испытывают на себе воздействие новой ситуации. Реальная власть находится в их руках, и это делает трудно воспринимаемой саму идею верховенства прав гражданина над реальной властью. В этом контексте проблема толерантности обретает новый смысл: те государства, которые не проявляют терпимости к различиям во взглядах и формах поведения, соответствующих принципам международных актов, определяющих права человека, рискуют оказаться в состоянии духовного остракизма. Это дало толчок для поиска всеобщей спасительной формулы толерантности.

Всеобщая толерантность. Так возникает «новое мышление».

«Новое мышление» — это не религиозный догмат и не научный вывод. Это процесс размышления над особым состоянием современного мира, в котором идейные, духовные, социальные, политические различия теряют свой фатально деструктивный характер. Тем самым «новое мышление» превращалось в общечеловеческую надежду.

«Новое мышление» могло обрести видимость реализма лишь в том случае, если оно получало опору в реальной власти. Как казалось, политическая власть позволяла превратить в реальность утопическую идею, тем более что эта идея сама казалась совпадающей с эмпирической реальностью, поскольку отражала общие настроения людей.

Как известно, «новое мышление» было предложено всему миру в качестве стратегической ориентации М. С. Горбачевым. Парадигму «нового мышления» можно представить как попытку подчинить эмпирические данные о наличии глобальных угроз задаче формирования всеобщего братства народов мира.

Горбачев был совершенно уверен в том, что перестройка старого сознания и утверждение «нового мышления» позволят решать ключевые глобальные проблемы «в духе сотрудничества, а не враждебности»². Мир, таким образом, должен был вступить в качественно новую эру — **эру всеобщей толерантности.**

Однако на чем основывалась гипотеза о наступлении новой эры?

Горбачев утверждал, что концепция перестройки — это не звонкая фраза, а тщательно подготовленная программа³.

Но если это так, то вставал вопрос: где она, эта программа, каковы этапы и механизмы ее реализации, какова ее конечная цель? Эти вопросы постоянно преследовали Горбачева, и он так и не смог дать на них четкого ответа.

Весьма симптоматично, что Горбачев был вынужден придать идее перестройки содержание многофункциональной панацеи. Перестройка была призвана сыграть роль волшебной силы, позволяющей обеспечить решительное преодоление застойных процессов, опору на живое творчество масс, всестороннюю интенсификацию экономики, решительный поворот к науке, соединение плановой экономики с достижениями научно-технической революции, приоритетное развитие социальной сферы, последовательное проведение в жизнь принципов социальной справедливости⁴. Соответственно и «новое мышление» рассматривалось как универсально действующий рычаг оздоровления всей международной обстановки. Исходя из специфической логики «нового мышления», Горбачев утверждал, что образ мысли и образ действия, основанные на применении силы в мировой политике, «утратили всякое разумное основание»⁵.

Фильтр «нового мышления» подтверждал лишь те истины, которые формировались в его структурах. Среди них можно отметить вывод, согласно которому «безопасность неделима. Она может быть только равной для всех, или же ее не будет вовсе»⁶. Горький опыт, однако, показал, что при распаде Варшавского Договора,

² Горбачев М. С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира. М., Политиздат, 1987, с. 3.

³ Там же, сс. 20—21.

⁴ Там же, с. 30.

⁵ Там же, с. 143.

⁶ Там же, с. 145.

вызванного перестройкой, безопасность США, стран НАТО значительно окрепла, тогда как безопасность России существенно ослабла.

Укрепилась ли в итоге международная безопасность, исчезла ли угроза нового цивилизационного конфликта? Такой вывод было бы делать преждевременно.

В тот исторический момент, когда универсальные принципы прав человека, казалось бы, достигли апогея своего влияния, стал происходить не всегда заметный на поверхности глубинный сдвиг в тенденциях социальной психологии и исторического движения.

Нельзя не видеть, что одной из фундаментальных причин этого сдвига явилось абстрактное понимание того основания, на котором базировалось признание прав человека. Априори предполагалось, что каждый индивид от рождения наделен равными правами, что все индивиды **тождественны** как человеческие существа. Имелось в виду не их физическое тождество, определенное еще античной философией (человек — существо двуногое и без перьев), а тождество внутреннее, их духовное и социальное достоинство. Однако определения реальных рамок этого достоинства не существовало. В этой связи и вставало немало практических вопросов. Если требование гуманного отношения, уважения достоинства личности, взглядов является универсальным, то как быть с теми, кто вполне свободно выбирает путь зла, — с насильниками, убийцами, террористами? Не следует ли выработать четкие критерии, отличающие **человека** в социальном и духовном смысле от того, кто порывает с позитивными человеческими качествами? Человек должен нести в себе человеческое достоинство. Если он его отбрасывает, то тогда он не может и претендовать на соблюдение по отношению к себе прав человека. Это представление подспудно влияло на изменение общественного отношения к абстрактным принципам, которые как бы уравнивали всех людей, независимо от типа их социального поведения.

Аналогичным образом и контроль за соблюдением прав человека должна была взять на себя независимая организация. Нельзя допускать, чтобы какое-либо одно государство или группа государств выступали в роли морального судьи. В этом случае оказывается неизбежным двойной моральный стандарт.

Терпимость к явным нарушениям прав человека в отношении «своих» и демагогический ригоризм в отношении «чужих» подрывают авторитет тех универсальных принципов, которые были истоком нравственного воодушевления сил демократии.

Действие принципа дифференциации. Кризис принципа универсального равенства придает огромную силу принципу дифференциации. В соответствии с принципом дифференциации, признающим необходимость и законность социальных, культурных и экономических различий, в общественном сознании начинается процесс внутренней реабилитации сословных, социальных и культурных различий, этнического и национального неравенства.

Фундаментальное изменение в отношении трансцендентальных принципов имело огромные социальные последствия.

Универсальный принцип толерантности как терпимости к специфическим особенностям капитализма и социализма, провозглашенный пророком «нового мышления», «умер» незаметно для всех. За духовным сдвигом не мог не последовать и сдвиг в структурах человеческих отношений: провозглашаются требования «люстрации», «этнической чистоты» вновь возникающих государств; то в одном, то в другом регионе возникают «горячие точки», для которых характерны массовое применение вооруженных сил, открытые нарушения прав человека, депортации. Толерантность становится похожей на некое заклинание, обращение из детской сказки: «Ребята, давайте жить дружно!»

В этой связи правомерно поставить принципиальный вопрос: разве крушение тоталитаризма не создает условий для повсеместного утверждения свободы, а вместе с ней и толерантности?

На этот вопрос неизбежно должен был появиться положительный ответ. И он появился.

Этот ответ по своей сути выступает как замещение «нового мышления», как заполнение образовавшегося вакуума.

Но теперь той панацеей, которая призвана разрешить мировые конфликты и утвердить эру толерантности, оказывается либеральная демократия.

Либеральная демократия долго ждала своей очереди быть универсальной панацеей. Теперь эта очередь наступила. Как кажется, начинается триумфальное шествие либеральной демократии по всему миру.

Расширение ареала либеральной демократии, казалось бы, создает качественную ситуацию в мировой истории. Те качества либеральной демократии, которые она демонстрировала в своем противостоянии коммунизму, должны теперь распространиться на весь мир — таково логическое следствие формирующегося консенсуса в понимании стратегических социальных ориентаций. Этот вывод и был сделан Фрэнсисом Фукуямой, известным американским социальным теоретиком, провозгласившим «конец истории».

«Конец» истории в интерпретации Фукуямы выглядит как антипод всемирному утверждению бесклассового общества, коммунизма. Но, как это ни парадоксально, он воспроизводит ту самую форму, в которой коммунизм легитимизировал себя в качестве общечеловеческой перспективы. Фукуяма полагает, что утверждение во всем мире свободного рынка и либеральной демократии «не за горами». Формируется общечеловеческий консенсус по этому вопросу. Всеобщее состояние консенсуса напоминает известную общечеловеческую перспективу бесклассового общества — реальной основы отсутствия социального антагонизма.

Но если принято утверждение о всеобщем торжестве свободного рынка и либеральной демократии, то тогда следует расстаться с идеей свободы. Ведь свободный индивид может выбирать **любое** общественное устройство. Это известный парадокс принципа свободы.

Как от него уйти? Это возможно лишь в том случае, если свобода существует в связке с не-свободой, но тогда следует допустить существование антипода либеральной демократии.

Столкнувшись с противоречиями, Фукуяма признал пророческим суждение своего друга, политического теоретика, который сказал: «Вы будете неправильно поняты»⁷.

Для того чтобы уйти от противоречий, Фукуяма предпринимает методологический ход, который обычно используется теоретиками, концепции которых вступают в противоречие с реальностью.

В отношении эмпирической части концепций Фукуямы выдвигался тот критический аргумент, что история отнюдь не закончилась, а продолжается или даже только сейчас начинается. Обычно такие утверждения делаются наиболее честолюбивыми государственными деятелями, которые видят себя в роли капитанов, прокладывающих новые маршруты в океане мировой истории.

Противоречащими концепции Фукуямы представляются новые конфликты, межплеменные и межобщинные столкновения, разгорание этнических страстей, рост национализма. Как будто бы все свидетельствует о том, что будущее будет хуже прошлого. А это не соответствует оптимизму концепции «конца истории».

Фукуяма находит разрешение этого очевидного противоречия путем разъяснения, что «конец истории» не является простым эмпирическим описанием состояния мира. Это суждение о **должном**, так сказать, о лучшем из возможных состояний, а не о действительности: либеральная демократия и свободный рынок составляют наилучший режим, или, более точно, лучший из доступных альтернативных путей организации человеческих обществ⁸.

Но если состояние «конца истории» есть некое должное состояние, то тогда в чем его принципиальное отличие от иных должных, абстрактно мыслимых идеальных устройств? И ради чего велась длительная «холодная война»? Только ради того, чтобы новая утопия сменила старую?

Фукуяма, однако, считает, что на его стороне не только идея долженствования, но и правда истории. По мысли Фукуямы, когда Джозеф Шумпетер утверждал, что нет причин, по которым социалистическая экономическая организация не может быть столь же эффективной, как капитализм, он не мог учесть эмпирической очевидности различий в экономическом развитии Советского Союза и стран Западной Европы и США в 70-е и 80-е годы.

Этот аргумент кажется неотразимым. Однако возникает вопрос: разве капитализм сразу выявил свою эффективность? Почему ему потребовался для этого ряд столетий? Почему Советский Союз фактически один выдерживал гонку вооружений в годы «холодной войны», бремя которой делили между собой США и страны Западной Европы? Без ответа на эти вопросы эмпирическая верификация идеи «конца истории» не представляется достаточно доказательной.

⁷ Francis Fukuyama, Reflections on «The End of History». Five years later. In: World Historians and Their Critics. History and Theory, v. 34, Wesleyan University, 1995, p. 27.

⁸ Там же, pp. 28—29.

Ф. Фукуяма в качестве определяющего использует и нормативный аргумент: он отмечает, что принципы, которые лежали в основе Французской и Американской революций, остались незбылемыми. А разве это не означает, что и в перспективе их не вытеснят альтернативные принципы?

Такая постановка вопроса оправдана. Нормативное утверждение не зависит от данного момента времени. Оно должно быть истинным всегда. Историческая тенденция лишь иллюстрирует эту истинность. А она такова: в 1807 году было всего три действующие демократии; в 1939-м — тринадцать, а в 1989-м — более шестидесяти. Отдельные эмпирические факты, противоречащие основной тенденции, не могут изменить главного вывода. Эта логика кажется убедительной.

Однако, если эта тенденция вдруг изменится, если в XXI веке в большинстве стран откажутся от принципов либеральной демократии, будет ли это означать, что эти принципы неистинны?

Если да, то нормативный аргумент теряет значение; если нет, то тогда нормативная истина оказывается независимой от реальности и теряет практический смысл.

Видимо, здесь более чем уместен вопрос о применимости универсального критерия к различным цивилизациям.

Фукуяма эту проблему модифицирует в проблему реальности универсальной истории. Он определяет «историю» как взаимозависимую и направленную трансформацию человеческих обществ, которая оказывает воздействие на все или почти все человечество⁹. Различия между цивилизациями стали исчезать с развитием научных методов, формированием индустриальных технологий, определяющих организацию жизни людей. Вместе с тем возникли и общие социальные стремления к максимизации полезности и использования природных ресурсов в интересах человека. Это стержень универсальной истории.

Фукуяма видит строгую корреляцию между индустриальным развитием и стабильностью демократии, модернизацией и идеей равенства. Однако если мы понимаем универсальную историю как всеобщий процесс модернизации, то тогда возникает невольная мысль о ее конце совсем в другом смысле. Исчерпание энергетических и сырьевых ресурсов, загрязнение среды, продовольственная проблема, проблема народонаселения вызывают сомнения в правильности эксплуататорского отношения к природе. Взор невольно обращается к иным, отличным от западной цивилизации парадигмам. Вместе с тем возникает вопрос о правомерности абсолютизации принципов западной цивилизации, которая вносит самый «большой вклад» в загрязнение планеты и истощение энергетических и сырьевых ресурсов.

Фукуяма видит основную проблему времени в неопределенности выбора на почве самого победившего либерализма. Либерализм обладал достаточной определенностью в качестве антипода тоталитаризму. С падением тоталитаризма либеральная демократия в сознании человека утрачивает свою определенность как легитимная основа экспансии, расширения источников роста богатства и самосохранения. Здесь лежит основание силового оформления либерализма, постоянного сохранения его военного превосходства. Но здесь лежит и граница толерантности либеральной демократии.

Перспективы толерантности

Очевидно, что толерантность не может быть вечным идеальным состоянием человечества, вырастающим на прекрасной почве общего разума или нравственного благородства. Мы не знаем такого социального состояния, при котором вся масса индивидов или по крайней мере большинство соревнуются в стремлении следовать общим интересам, проявить большую широту своей души, готовность к самопожертвованию ради общего блага и согласия.

Для того чтобы не стать жертвой очередного самообмана, не оказаться в ситуации, при которой ошибка станет очевидной, а сделать что-либо окажется уже невозможно, необходимо усвоить некоторые простые истины.

Первая истина состоит в том, что не такие, как мать Тереза, делают современную мировую политику. Как и раньше, государственные интересы стран в разделенном мире взаимодействуют по принципу сообщающихся сосудов: то, что прибавляется в одном, уходит из другого.

⁹ Там же, р. 32.

Вторая истина возникает из разрушения иллюзии, будто в ходе мировой истории может появиться универсальный субъект (мессия, высший разум, уникальный общественный класс, высшая цивилизация), который своей собственной сущностью призван снять все фундаментальные противоречия общественного развития и установить вечное состояние, соответствующее «подлинной сущности» «подлинного человека».

Третья истина состоит в осознании того кардинального исторического факта, что установление силовой монополии ввиду критической ситуации с энергетически и сырьевыми ресурсами в современном мире создает предпосылки для политики выживания «вышей» цивилизации за счет поглощения ресурсов «низших» цивилизаций.

Соответственно в новом свете встает проблема толерантности. Толерантность оказывается объективно связанной с утверждением права всех народов на выживание. Но поскольку условия выживания для различных цивилизаций оказываются различными, то сохранение толерантности в системе международных отношений представляется весьма сомнительным без изменения парадигмы цивилизационного развития. Для того чтобы биполярная идеологическая структура не была заменена «универсальной» идеологией или антиидеологией, которая будет утверждать в качестве всеобщей истины ценности, играющие фундаментальную роль в сохранении какой-то одной цивилизации, необходимо сохранение аутентичного толкования толерантности как терпимости к иному. В противном случае нетерпимость получит свое логическое оправдание.

Сохранение толерантности в ее аутентичном понимании окажется возможным лишь в том случае, если мировое сообщество сумеет найти пути нейтрализации монополии силы. Необходимо новое равновесие в качестве реального основания толерантности в XXI веке. Лишь в условиях нового равновесия станет возможным свободное духовное формирование и отдельной личности, и народа.

Как свободная личность человек делает выбор принципа жизни и тем самым обретает внутреннюю определенность. Внешняя определенность человека дана ему и находится при нем. Внутреннюю определенность человек формирует, опираясь на свою волю и в выборе, и в практическом следовании определенному принципу.

Народ также следует тем принципам, которые в иерархии ценностей он ставит на первое место. Нет такой нации, которую можно было бы считать носительницей вечных ценностей, хотя многие нации претендуют на это.

Универсальная толерантность кажется возможной лишь в том случае, если международное сообщество решит проблему несоответствия различных типов этнической и национальной идентичности.

Для этого необходимы два фундаментальных условия: **первое** — человечество должно состоять в основном из совокупности разумно мыслящих индивидов, стремящихся к самосохранению; **второе** — человечеству должна быть дана неограниченная возможность постоянного улучшения своего образа жизни.

При наличии этих условий всеобщая интенция к толерантности кажется реальной: в самосознании народов она может получить статус высшей и вечной ценности. Однако очевидно, что в этом рассуждении соотносятся абстракции, а не реалии жизни. На самом деле материальные предпосылки жизни ограничены и постоянно сужаются; конкретные индивиды исходят не из универсальных принципов разума, а, как правило, мыслят ситуационно, под давлением традиций и обстоятельств. Поэтому проблема взаимной адаптации цивилизационных ориентаций оказывается чрезвычайно сложной.

Встает и другой вопрос: если мы утверждаем в качестве социальной истины лишь одно идеологическое представление, то тогда следует подвергнуть ревизии классическое понимание толерантности, сформулированное Джоном Локком — основоположником либерализма. «Но попробуем согласиться с фанатиками, — писал Джон Локк, — осуждающими все чуждое их вере, в том, что при таких обстоятельствах возникают различные и в различных направлениях ведущие пути. Чего же в конце концов мы достигнем? Ведь в действительности только один-единственный из них ведет к спасению. Но среди тысяч путей, на которые вступают люди, трудно выбрать истинный, ни власть над государством, ни право издавать законы не открывают правителю более надежный путь, ведущий на небо, чем обыкновенному человеку — его убеждению»¹⁰.

¹⁰ Джон Локк. Послание о веротерпимости. Сочинения в трех томах. М., 1988, том 3, с. 106.

Джон Локк считал, что принцип толерантности имеет реальный смысл лишь в отношении между представителями **различных** религиозных конфессий, если они не подрывают самих оснований общественной жизни. Если бы Локк следовал логике современного универсального либерализма, то он должен был бы либо предложить католицизму «отмереть» во имя утверждения исключительной истины протестантизма, либо следовать признанию особой духовной сущности католицизма как *philosophia perennis* (вечной философии), определяющей конец истории в то время.

Идея толерантности в структуре «нового мышления» обрела видимость универсальной истины лишь потому, что она оказалась духовной равнодействующей силового равновесия на мировой арене. Как только М. С. Горбачев начал строить политику в соответствии с этой видимостью, разрушая силовое равновесие, он привел в действие тенденции, вызвавшие деструкцию Советского Союза как государства.

Мир, видимо, станет свидетелем эрозии и другой иллюзии, возникшей на почве универсализации принципов либеральной демократии. Такая универсализация оказывается логической и нравственной предпосылкой, в соответствии с которой должны отмереть, исчезнуть или быть отодвинутыми в изолированные экономически и политически резервации все сопротивляющиеся новому порядку «не-либеральные» цивилизации.

Оптимальность и прагматичная толерантность. Глубинная причина происходящего сдвига в общественных настроениях лежит в скрытой, вытесняемой в подсознание **догадке** об историческом тупике современного цивилизационного развития. Наиболее полное развитие данного типа цивилизации, совпадающее с созданием наиболее комфортной для человека искусственной среды, как кажется, обнаруживает свое совпадение с исчезновением возможностей естественной эволюции. А это ставит под вопрос продолжение жизни человеческого рода. Этот парадокс прогресса и создает качественно новую ситуацию. Испаряется вера в идею прогресса, которая была стержнем как коммунистической, так и капиталистической концепции развития. Обе концепции исходили из недоказанной предпосылки о неограниченности ресурсов, необходимых для восходящего развития и удовлетворения растущих потребностей. Но ведь это и была реальная база веры в возможность утверждения всеобщей толерантности. Поскольку фундамент веры в прогресс подвергается эрозии, происходит видоизменение всей структуры социальной ментальности.

Сегодня кажется более правомерным вести речь не об универсальности принципов толерантности, а об определении критериев **оптимальности** реализации прав народов и человека. Такой подход, как кажется, соответствует стремлению избежать катастрофического противоборства в борьбе за ресурсы. Однако ожидать всеобщего братания в этой ситуации не приходится.

Это затрагивает и подход организаций ООН к практической реализации принятых документов. Так, например, признание ООН прав человека на медицинское обслуживание сталкивается с проблемой наличия реальных ресурсов здравоохранения. Развитие высоких технологий в медицине требует компенсации больших затрат. Многие страны просто не имеют возможностей обеспечить **все** население ответствующей медицинской помощью.

ООН выступает против дискриминации — расовой, по признаку пола, в системе образования и т. д. Однако дискриминация возникает *de facto* как следствие различия в экономическом и социальном положении людей.

В этой связи кажется естественной постановка проблемы различения **нормальных** и **чрезмерных** требований. Имеется в виду, что недопустимо терпимое отношение к чрезмерным требованиям.

На что может претендовать каждый? Что относится к области универсальных прав? Вот вопросы, которые обретают практическое значение в этом контексте. «Как отличить потребность, которая может обоснованно рассматриваться как часть общественно финансируемой и четко опеределенной системы здравоохранения, от желания получить специальное обслуживание, которое общество не обязано обеспечивать?»¹¹. Такая конкретизация общего вопроса может затрагивать мно-

¹¹ Brody, Eugen B. Biomedical Technology and Human Rights. Paris, UNESCO, 1993, p. 17.

гие сферы жизни. Трудность заключается в следующем: то, что вчера считалось элементом специального обслуживания, сегодня становится общей потребностью. И как вообще можно относиться к узкой сфере специального обслуживания то, от чего может зависеть жизнь человека?

Количество сфер жизни, в которых наблюдается разрыв между ожиданиями людей и их осуществлением, вряд ли будет сокращаться под воздействием новых технологий. А ведь вера в такое сокращение стала движущей силой принятия целой системы международных актов, провозглашающих необходимость реализации прав человека.

Провозглашение всеобщих прав и неспособность практически обеспечить их осуществление ставят политиков, повторяющих вчерашние истины, в **двусмысленное** положение.

Селективный подход и оживление нетерпимости. Углубляющийся разрыв между принципами и реалиями жизни порождает своеобразную атмосферу толерантности, которая совпадает с умением обходить острые углы. С одной стороны, существует непонимание происходящего, а с другой — отсутствует достаточно обоснованное теоретически решение ключевой проблемы современной цивилизации — ее перспективы. Вместе с тем возникает интуитивное видение того, что объективно возникающий цивилизационный тупик заставит огромные массы людей менять сложившийся образ жизни и свои привычки. Желание удержать вчерашний образ жизни во что бы то ни стало и любыми доступными средствами ведет к тому, что тенденция к дифференциации может перерасти в практически реализуемый в глобальном масштабе **селективный подход**.

Селективный подход характеризуется прежде всего внутренним разрывом с принципами равенства и универсальности, оправданием различных форм нетерпимости. В международном плане он находит свою реализацию в создании клубов избранных стран, новых союзов, формируемых исходя из принципа отбора «своих». Многих здесь ожидает глубокое разочарование: они заранее зачисляются в ряды «своих», но это вовсе не значит, что они попадут туда обязательно. Другим важным моментом этого потенциального процесса станет драматическое изменение смысла принципов, на основе которого функционирует ООН.

Культура транса. Одновременно происходит процесс стихийной массовой адаптации к драматически изменяющимся условиям. Углубляющийся разрыв между универсальными принципами социального самосознания и реальными условиями общественной жизни находит свое выражение в **культуре транса**, которая трансформируется из явления маргинального в центральное явление жизни.

Фундаментальная особенность такой культуры состоит в способности и умении создавать субъективно комфортную ситуацию, социально-психологические механизмы концентрации внимания на отдельных внутренних явлениях и их переживании. Культуру транса можно рассматривать как специфическую форму адаптации человека к критической ситуации.

В более узких масштабах культура транса существовала и раньше. Однако ее не совсем верно рассматривали лишь как проявление социально-психологического атавизма, возникших в древности и на периферии цивилизационного развития местных культов. Сегодня назревает потребность в переоценке социальных функций культуры транса.

При этом следует иметь в виду, что превращение культуры транса в центральное явление изменит коренным образом отношение к нравственным и социальным универсалиям.

С усилением влияния культуры транса тесно связана терпимость к нестандартным формам массового поведения. Меняется отношение к самой жизни. Под воздействием культуры транса традиционные механизмы нравственного осуждения теряют свою эффективность.

Для человека, воспринявшего культуру транса, нет четких границ добра и зла. Все в ней находится в смешанном состоянии. Соответственно толерантность и нетерпимость утрачивают четкий смысл.

Это накладывает свой отпечаток на жизнь общества. В ней усиливаются элементы «броунова движения», хаоса.

Новая парадигма жизни. Обнаруживающиеся противоречия современного цивилизационного развития подталкивают к новому взгляду на цивилизации, существовавшие в течение тысячелетий. Представление о том, будто все, что существова-

ло в прошлом, несло на себе печать отсталости и примитивности, кажется теперь своеобразным проявлением современного цивилизационного нарциссизма. С другой стороны, вряд ли продуктивны и попытки обнаружить в прошлом некую высшую цивилизацию, новую Атлантиду.

Следует обратить внимание на то, что исторически прочность развитой цивилизации зависела от формирования своеобразного кода социального бытия и механизмов, обеспечивающих циклическое воспроизводство основополагающих условий ее жизни. Необходимо оценить и значение тех исторических исследований, которые еще до критического обострения современного цивилизационного развития отчетливо поставили эти проблемы. В этой связи можно отметить, например, работу британского исследователя Е. Б. Хэйвела «История правления ариев в Индии»¹².

Мыслители и социальные реформаторы Индии осознали ту истину, что истолкования добра и зла имеют больше возможностей влияния, чем применение вооружений. В древней культуре был сформирован идеал правителя как духовного лидера, который поддерживает закон справедливости.

Хэйвел особое внимание обращает на такой ключевой момент культуры ариев, как соответствие законов социальной жизни и законов Космоса. «Точно так же, — пишет он, — как цель ведической философии состояла в открытии тайных законов универсума и создании на их основе религии повседневной жизни, так и индо-арианская деревня воспринималась как микрокосм, «пять народов» (т. е. сосуществующие касты. — Л. С.) арианской общины как представляющие пять элементов универсума, а каждый квартал деревни как символ соответствующей части макрокосма»¹³.

Гармония образа жизни человека и Космоса определялась не только архитектурными и пространственными решениями обустройства поселений, но и внутренними законами жизни, определявшими правила защиты птиц и животных, ловли рыбы, охраны лесов¹⁴.

Цивилизация, которая проявляет реальную заботу о постоянном воспроизводстве естественных условий своего существования, ориентируется на вечность, и это является реальным основанием религиозных представлений. В этом их объективный смысл.

Нахождение адекватного кода цикличности бытия, осуществления прогресса лишь в рамках удержания этой цикличности, а значит, и самосохранения современной цивилизации — одна из ключевых проблем выживания человечества.

Онтологическое истолкование толерантности. Сведение толерантности к универсальной интенции человеческого разума обнаруживает сегодня свою односторонность.

Проблема толерантности не может рассматриваться в отрыве от проблемы выживания человечества. Человек привык к тому, что он свободно принимает или отвергает то, что соответствует или противоречит его самоопределению.

Сегодня, однако, формы его самоопределения, не учитывающие законов циклического воспроизведения природой самой себя, порождают такое явление, как **отторжение** космическим бытием бытия человека.

Толерантность должна быть осмыслена сегодня не только как ориентация сознания, но и как тип образа жизни, основанный на гармонической совместимости кодов бытия универсума, природы и кода цивилизационного развития человечества. Без адекватного решения этой проблемы нельзя рассчитывать на толерантность человеческих отношений. Международное сообщество нуждается в создании мозговых и информационных центров, способных определить применительно к современной ситуации условия самосохранения цивилизации. Только при определении этих условий возможно установление основных принципов образа жизни и отношений, которые можно считать реальной альтернативой антикультуре, порождающей катастрофическую растрату материальных и нравственных ресурсов, необходимых для воспроизводства человеком предпосылок жизни на Земле.

Толерантность как теоретически осмысленное явление возникает на почве критики претензий метафизики и идеологии на абсолютную истину.

¹² Havell E. B. The History of Arian Rule in India from the earliest times to the Death of Akbar. London, 1918.

¹³ Там же, p. 23.

¹⁴ Там же, p. 94.

Критика метафизики обнаруживает релятивность доктрин, заявляющих о постижении конечной сущности, лежащей в основании мира, доступного человеческому опыту. Из фундаментального результата критики метафизики логически следует признание толерантности как формы адекватного взаимодействия адептов различных конфессий и философских верований.

Критика идеологии выявляет релятивность суждений об идеальном устройстве будущего. Поскольку будущее в каждый данный исторический момент времени остается лишь потенциальной возможностью и не может быть предметом опыта, оно всегда сохраняет свою неопределенность.

Выявленная теоретической критикой недоказуемость (как, впрочем, и непроверяемость) метафизических и идеологических доктрин определяет необходимость перехода к культуре самосознания как общей социальной ментальности, атрибутом которой и становится толерантность.

Вместе с тем культура самосознания общества — это условие укрепления адекватного стратегического мышления на уровне государственного руководства. Она формирует лишь предпосылки консенсуса в восприятии приоритетов цивилизационных задач, требующих фундаментального осмысления и научно обоснованных практических программ их решения.

Культура самосознания и адекватное стратегическое мышление — это две стороны ментальности зрелой демократии.

В условиях, когда любительский этап российской демократии подходит к своему завершению, усвоение такой ментальности становится ключевой предпосылкой адекватного ответа на вызовы грядущего тысячелетия.



Юнна МОРИЦ

Нечто вроде предисловия

Мое эссе «Быть поэтессой в России» вышло в свет в мае 1976 года в Варшаве, в журнале «Литература на свете», в переводе на польский язык.

До этого в Москве и в Петербурге, тогдашнем Ленинграде, прочли его многие, а некоторые из этих многих совершили ряд абсолютно безуспешных попыток напечатать его в толстых и в тощих журналах. С тех времен у меня сохранилась записка с перепиской двух начальников одного почтенного литиздания. Начальник поменьше — начальнику побольше: «Снять переборы в характеристиках Ахматовой и Цветаевой, вообще сделать это «полегче»... Если Вы одобрите это в принципе, в основе — мы «дождем». Но начальник побольше — начальнику поменьше: «Побойтесь бога. Смотри текст — куда зовет».

Это были хорошие люди, они побоялись Бога и не дожали в основе.

С тех пор пролетело более двадцати лет, ежегодно у меня было не менее пяти авторских вечеров, так что не менее сотни раз я читала самые, на мой взгляд, интересные фрагменты из этого эссе в Москве, Ленинграде, в других городах России и зарубежья, — не считая опубликованных интервью и печатных бесед, где было много цитат из этого текста. И мне казалось, что он уже как бы и напечатан.

К счастью, на днях мое заблуждение вдруг рассеялось. Это — первая публикация на русском языке моего «крамольного эссе», содеянного в 1975 году.

Автор.

БЫТЬ ПОЭТЕССОЙ В РОССИИ

Труднее, чем быть поэтом.

Прав Лорка: древнее могущество капли, которая веками долбит камень, вырубая в недрах горы сталактитовую пещеру, ворота для воздуха, света, вольного эха, — сверхъестественней, чем дружная сила гигантов, которые справятся с этим заданием гораздо быстрее, веселей, триумфальней.

А теперь — безо всяких преувеличений, намеков, иносказаний. Слушайте, что за дивное диво я вам расскажу...

Никому не придет в голову (и это — к счастью!) сравнивать любого из современных известных русских поэтов, — с Блоком, Пастернаком и тем более с Пушкиным и Лермонтовым. Будьте спокойны, нет таких сумасшедших: русские поэты наших дней чувствуют себя замечательно в лоне и в свете великих измерений нашей прежней поэзии, и не грозит им никакая опасность со стороны убийственных, быть может, сравнений. И справедливо!

Русской поэзии русло иссохло бы и омертвело, если бы только одни гиганты жили там и свободно дышали, безжалостно и брезгливо вышвыривая на мертвящую

сушу всех, кто слабей, и меньше, и мельче. Поэзию накрыла бы катастрофа. И сгинула бы, в никуда и в ничто испарилась бы ее столь перенаселенная, но живая, но самая жизненная, но единственно естественная среда обитания. И пусть ответят редкие гении, чародеи, драгоценные избранники муз — того ли они хотят?.. Молчание и улыбка. Они молчат, чтобы не искалечить, не изуродовать самых младших, не дай Боже, комплексами неполноценности. Они улыбаются — самым младшим, которые искренне и лукаво путают второпях (и по здравому размышлению!) свое и чужое, с наивностью дикарей сочетая порой свои клешние штаны с распахнутой блузкой хрестоматийного гения. И пусть! На здоровье! Дабы только русло русской поэзии не стало безлюдной, бездушной пустыней, кладбищем, скорбно хранящим прекрасные образы, так сказать, невозвратного прошлого.

Так мудро и так милосердно («А вы читите своего ребенка, — когда вы умрете, то он будет», — Андрей Платонов) относятся к своим поэтическим братьям, сыновьям, внукам, правнукам, пра-пра-пра-правнукам великие поэты. Их оплот демократичен, дружелюбен, миролюбив, они никого не судят и не карают, вполне полагаясь на справедливость далекого будущего, которое — для всех безболезненно! — развеет одним легким дуновением все, что было сиюминутным, случайным, смертным в искусстве. Классики терпеливы, смотрят сквозь пальцы и не спешат хватать за руку тех, кто шныряет, роется в чужих сокровищах, кладах, вкладах в поисках там чего-нибудь своего (какая детская рассеянность! разве можно найти то, чего никто не терял?). И все же, быть может, еще и как раз поэтому сокровища русской поэзии каким-то чудесным образом по воле судьбы не скудеют, а мало-помалу без особого шума притягивают к себе драгоценности нынешней скуповатой и не самой богатой Музы.

Но каждая русская поэтесса, которая родилась на сорок—пятьдесят лет позднее Анны Ахматовой и Марины Цветаевой, обречена, как спартанский младенец: сильным — жизнь, слабым — смерть.

Это, кроме всего прочего, и наш произвол судьбы воспел Гомер, разглядевший — с зоркостью ясновидца в темнотах своей слепоты — Сциллу и Харибду на скалах или где там еще... И поведал, сослепу озарясь, о единстве двух беспощадностей, одна из которых заглатывает, а другая (хуже того!) — еще и выплевывает.

И миновать их нельзя, можно только — меж них пролететь воздушным путем на собственной мачте, удравшей от корабля, который проглочен и переварен. Только на собственной мачте, с нею в обнимку, как тот Одиссей, когда цель — золотое руно, одиссейство, одиссействовать, одиссеянность...

Две великие русские поэтессы — Анна Ахматова и Марина Цветаева, Марина Цветаева и Анна Ахматова (здесь нет вторых, обе — Первые!) — обладали, кроме божественного таланта необычайной силы (гения — если хотите!), еще и буквально сверхъестественной силой духа, да и судьба каждой из них была, собственно, сплошным, чистым и таким непреклонным — изо дня в день! — героическим испытанием (это в наши-то времена еще более редкая для нас диковина и более драгоценный повод для изумления, чем даже масштаб их талантов), — что русский читатель, от цветаевских и ахматовских, ахматовских и цветаевских времен начиная, составляет в живых лишь тех поэтесс, которых не проглотит, не выплюнет ни Та, ни Эта.

Нашу юность глотает Цветаева, нашу зрелость выплевывает Ахматова. Так — чаще всего.

Неукротимое иго вечных сравнений, соизмерений, ссылок то на одну из них, то на другую, то на обеих сразу — так нас читают, так слушают, так любят или казнят. Как будто посреди колоссальной площади, где вечно присутствует вездесущая, действующая, пристально следящая толпа, установлен некий силомер для русских поэтесс, единица силы — 1 (один) ахмацвет, он же — цветахм! И та, кто захочет выжить в русской поэзии, выжмет — должна выжать! — на этом силомере грандиозное число ахмацветов. А сколько их надо выжать, чтоб выжить?.. А столько, сколько у них обеих, и с каждым годом все больше.

Благодарю за такой произвол судьбы! Поскольку с уплыванием лет, с течением времени, с каждым годом все глубже, все благодарней читают обеих. И все чаще, все чутче отклик, близость, единокровное чувство их силы духа, их глубоко личной гражданской отваги в пространстве катастроф, их полной драматизма судьбы, всеми жилами сросшейся с народной историей, с суровой и плодотворной почвой народного эпоса и народного предраспорочия —

Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл,—
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.

А. Ахматова. 1961.

...С помощью одних и тех же строк, строф и целиком привлеченных стихотворений чрезвычайно легко доказываются (и так же легко опровергаются!) какие угодно идеи, порой даже прямо враждебные друг другу. Цитаты, куски, фрагменты, выдранные из контекста всего поэтического собрания данной личности, данной жизни и судьбы, часто становятся столь многозначны, что вообще утрачивают свою первоидею в угоду идее, «притянутой за уши», грубо или тонко навязанной комментатором-виртуозом. Это свойство всех цитат. Потому не люблю ими пользоваться и по мере сил обращаюсь к иным доказательствам, стараясь вообще избегать мероприятий и ситуаций, которые домогаются «вещественных доказательств» от чисто духовных идей. Конец уточнения.

Ахматова и Цветаева являются нам в своей грандиозной и страшной красоте. Обе не только не застыли в своих прижизненных размерах, не скрылись в тумане, не померкли, не засверкали салонным гляncем и лоском под полировальной машиной времени, но, напротив, невероятным, сверхъестественным образом возросли над своими прижизненными масштабами. Две несмолкаемые колокольни чудом раскачивают свои мощные колокола, упорно не прекращая исповедь, проповедь, заповедь. Так возник сан РУССКОИ ПОЭТЕССЫ. По сану и честь, как писано в словаре Даля.

Эка невидаль — талант или гений! И что он сам по себе?! Ведь он бывает и вдохновенно честен, и вдохновенно лжив, совестен и бессовестен, доблестен и труслив, благороден и подл. Отбросим крайности. Но даже благородному таланту так часто выпадает случай искренне поприветствовать, предпочесть и вознесть правдоподобие, то есть ложь, выше правды (и более того — выше истинной сути), равновесие выше гармонии, функцию выше прекрасного. Было бы ханжеством утверждать, что к поэзии это все не имеет ни малейшего отношения, что это — «естественные издержки». Да, «издержки», но не чьи-нибудь, а поэзии. И не будем опять же лицемерными чистоплюями! Поэзия премило (и не на один день, и не на трое суток!) приемлет в свои ларцы не только подлинные, самородные, но и также искусно взращенные, искусственные жемчуга. Да, говорят, он — поэт, у которого правдоподобие, то есть ложь, вместо сути (любите, каков есть, и не требуйте того, на что не способен), равновесие вместо гармонии, функция вместо прекрасного. Уж таков он есть, ну и что с того?!

Но шансы «такого поэта» стать русской поэтессой равны нулю. Правдоподобие взамен истинной сути? Равновесие взамен гармонии? Функция взамен прекрасного? И все это вместе, или хотя бы одно из трех — и сан русской поэтессы?.. Никогда! Ни за что! Сгинь! Пропади, нечистая сила! Вот как раз тут и сходятся в своей абсолютной непримиримости, в своем категорическом согласии все: читатель, критик-тик-так и брат-поэт. Особенно брат-поэт! Он предпочел бы не иметь никакой сестры, он не желает иметь дело с сестрой, какую послал ему Бог. Ему нужна и годится только героическая, священная сестра, всемогущая и всевыносливая, всеми узами связанная с прекрасным не слабее, чем греческая богиня, управляющая небом и землей.

Это вполне понятное пожелание подсобило стандартизации и размножению банального образа и нрава, которые менее всего интересны в русской поэзии наших дней. Банал, «плести баналь» — всегда мертво и гнилостно, тут нет никаких исключений! Мировые стандарты — те же баналы.

И точно так же, как после смерти Эдит Пиаф немедленно и во множестве явились певицы с голосами «точно, как у великой Эдит», — так и тут слышны голоса, «чем-то очень родственные Ахматовой» и «поразительно близкие Цветаевой» или, наоборот, — «поразительно непохожие ни на Цветаеву, ни на Ахматову». Но мера — одна и та же!

Как хорошо быть в России поэтом!.. Иногда меня посещает одна хулиганская, дьявольская идея — написать стихокнигу, не выдавая себя глаголами женского рода, и подписаться мужским именем, лучше всего — заграничным, иностранным, заморским. Например, ПЬЕТРО НЕУВЯДАНТЕ. Поэт заграничный — для нас нечто особенное, такой гипнотический пунктик. Мне жуть как интересно — о чем тогда заведется речь: о «женственности» или о «мужественности» Пьетро Неувяданте? О сухости или влажности его лирики, о ее жаркости или прохладности, мягкости или твердости, заземленности или воздушности, метафизичности или физичности? И в каком тогда свете лично передо мною предстанет моя поэтическая природа, свободная от предрассудков и предвзятой традиции в суждениях о русских поэтессах, а

главное — от этого прекрасного и ужасного ига: вечного сравнения с Ними Двумя, вечной ловушки, необходимости одиссействовать и пройти, пролететь живьем между Харибдой и Сциллой?

Уверена, что после выхода в свет подобной мистификации братья-поэты и све-крови-критики весьма радушно поприветствовали бы «молодого, свежего, само-бытного и тыр-пыр» брата в моей особе заморской. Были бы они, уж конечно, снисходительней и дружелюбней, посвящая меня в сан брата, нежели в сан сестры. Ведь они, братья-поэты, когда взвешивают друг друга, не бросают на противоположную чашу весов две тяжелейшие гири, двух классиков, двух гениев сразу — для них это был бы смертельный трюк.

Народ читающий, народ сочиняющий, народ критикующий сотворил себе образ русской поэтессы и бережет его от подделок, от порчи, от упразднения, а более всего — от инвентаризации в эпоху шарлатаных ревизоров, бережет как зеницу ока. Бережет, как может, как умеет, порой неуклюже, но искренне и одержимо. От русской поэтессы (во много раз суровой, чем от поэтов) те, кто почему-то не может жить без поэзии, точнее — не может без нее выжить, требуют участия в хрестоматии духа, совести, благородства, в хрестоматии красоты и гармонии, отваги и чести, гражданского достоинства музы и ее личного влияния на людей и на все, что есть в них людского. Как ни крути мозгами, чтоб это обхототать, как ни води умом, Ахматова и Цветаева (абсолютно врозь и воедино) создали морально-художественную, этическую и эстетическую систему, которая стала мерилom творческой этики для русской поэтессы.

...Титаническая капля вечности в недрах человеческой жизни — не от нее ли рождается ритм и колотится, как сумасшедшее, сердце Поэзии? («Ты — вечности заложник у времени в плену».)

Весьма почтенные мужи, даже иной «патриарх» современной лиры, кифары, лютни, мандолины, гитары и баса, они так любят порой восклицать:

— Ах, это же настоящий поэт, а не поэтесса! Какой мужской ум, какой сильный и цельный характер! (И прочие баналы в том же духе.)

Тут я просто помираю от смеха! Так хочется шепнуть на ухо самовлюбленно-му, искусному, коварному льстецу: «Вам чертовски повезло! Вы даже сами не знаете, какой вы баловень судьбы! Ведь вы уцелели в «первых рядах», а также «вошли в число». Но страшно подумать — что было бы, если бы со всеми своими стихо-книжками вы стали бы вдруг поэтессой?! Вам никогда не простили бы салонное ваше жеманство и пользительный конформизм. Глупо, мой братец, похваливать поэтесс в России за то, что они — поэты. Не хвалите небесную птицу, что она, мол, летает, как самолет».

И пошла-понеслась мода на такой «четвертый сорт» похвалы, вопиющей, однако, громче всего о полной глухоте и абсолютном непонимании проблемы «русский поэт» — «русская поэтесса».

От этой награды — быть поэтом, а не русской поэтессой — отказываюсь в пользу нищих духом. В пользу проглоченных и выплюнутых, морально контуженных.

Мой пароль — глаголы женского рода, и я вхожу туда, где моя жизнь и душа — между молотом и наковальней, между Сциллой и Харибдой, между гармонией вечного и демонизмом сиюминутного. «Вот моя деревня, вот мой дом родной, вот качусь я в санках по горе крутой», — как сказал бы поэт из букваря, по которому я училась в раннем детстве.

У страхов есть одно, самое страшное, свойство — они от страха сбываются. Отвага и честь — единственный способ этого избежать, а все остальные способы (например, притаяться и ждать, приручить, одомашнить свой страх, кормить его из ладони, желать от него похвал за такое хорошее поведение!) только увеличивают количество и качество реальных угроз. Поэтому нет у нас выбора, кроме отваги и чести. Русская поэзия предлагает судьбе и личности русской поэтессы всего и только два приговора: сильным — тяжкий, слабым — легкий. И лучше не говорите, что якобы я называю белое черным, предпочитаю черное белому, вижу все в мрачном свете, усложняю простое, драматизирую обыденное («Самая великая драма — самый обычный день» — Эмили Дикинсон.)

От самого белого бывает черно в глазах (например, от чистого листа!), а сквозь самую черную толщу нашего незнания и неведения сеется иногда ослепительно ясный свет поэтической сути. Где же еще блуждать и обретаться свету, как не во тьме? И какой глупец зажигает свой свет, когда все уж ясно и видно, ясновидно?

Однако в XX веке вдруг оказалось, что гораздо легче блеснуть роскошью знаний и опыта, нежели вообразить и обвести чертой гигантскую область неведомого, непостижимого для роскоши наших знаний и опыта. И даже ослепительно освещенный тупик (пусть он трижды рай!) — безнадежнее в нашем деле, в искусстве, чем самый темный лабиринт с расставленными там ловушками и легендарными кознями.

Свет Поэзии — он доступен тем, кто своими глазами вглядывается в этот неугасающий мир — сквозь глаза поэта, как сквозь бинокли, догадываясь, что Сила Воображения — это не «лошадиная сила» лжи, усугубляющей детали «в пользу тех или этих», а сила, продвигающая к зареву, равно и к лучу той самой сути, которая нас проясняет — со всем нашим тяжким scarбom житейских рутин, угрызений, трудов, трагедий и душевных страданий.

Вот мечта Маяковского, конечно, сбылась — есть «много поэтов, хороших и разных». Огромное множество. И — замечательно, я их люблю, а кого я не люблю — тех любят другие. Но не могу назвать ни одного из братьев-поэтов, кто мог бы и захотел бы, и добровольно бы согласился с подобающими достоинством и честью нести сан русской поэтессы после Анны Ахматовой и Марины Цветаевой, в наши дни, вместо нас, уж незнамо как летая между Сциллой и Харибдой и выжимая те ахма-цветы, цветахмы...

Как же быть поэтессой в России, не проглоченной и не выплюнутой, не польститься и не податься в братья-поэты?!

Постскриптум. К вопросу: «Быть или не быть?»

— Вы были в Кракове?

— Была.

— А где вы жили?

— В пустом громадном доме пана Г.

— А как же вы попали в *этот* дом?

— Достала из кармана ключ и открыла двери.

— Вы шутите?

— Нет. Я всегда открываю двери ключом. А если ключ, который у меня в кармане, к дверям не подходит — значит, я не туда попала.

— А как же тогда быть?

— Быть не там, где нельзя быть. А быть там, где нельзя не быть.

...В этом месте как раз я пою «И на бизань косые паруса».



Леденцы

ТЕМА И ВАРИАЦИИ

Нехороший Сталин убил хорошего Кирова. Ну, не сказка ли? Именно сказка. Вылетел в небо дракон, проглотил светло солнышко и скрылся.

Куль личности развенчан и развинчен по частям, а изрубленный дракон жив. И, как заведенный, подымается из predisposed, куда его скинули и упрятали. И числят его люди своим предком и величают — Вождь и Отец всех времен и народов.

Канут времена, и на место одних героев придут другие, а миф останется мифом. Коллективное бессознательное, которое в данном случае правильнее назвать коллективное несознательное и неосознанное, подыскивает новые имена, чтобы подставить их взамен старых и рассказывать сказку на новый лад. Вот и мы живем в такой момент, когда меняются мифологические герои. Из «граждан мира», формирующих мир своим присутствием, мы становимся «членами цивилизации» — процесс трудный, печальный и необратимый.

Надо внимательно посмотреть, какие формы принимает знакомое нам. Например, как изменяется в глазах обыкновенных людей образ интеллигента и интеллектуала.

Возьмем сборник «Знаменитые шутят. Анекдоты, веселые были», выпущенный несколько лет назад издательством «Республика». Право, его стоит перелистать.

Нет, не ищите здесь, над чем бы посмеяться, все слишком серьезно. Пусть покажутся мрачными и чуть затянутыми цитаты. Пусть невероятным покажется то, о чем идет речь и как речь идет. Это — особый способ понимания действительности. Это — особый мир. Это — миф. Тут действуют не повседневные законы и связи.

Можно было бы взять и другой подзаголовок для статьи. Скажем, модель и портрет (любое сравнение условно). Предложенное кажется более подходящим, оно выбрано из музыки, которая есть — становление.

А сколько еще превращений, сколько современных сказок таит наша жизнь! Только рассказывай. О том, как строил дракон подземный дворец, чтобы там прятаться, украшал произведениями искусства, а в качестве маскировки пустил туда своих подданных, дабы не догадались, зачем этот дворец нужен. И произошло московское метро. Или сказки о Штирлице, перехитрившем Мюллера и Бормана. Или о том, когда появляются на небосклоне государств летающие тарелки и что над Кремлевскими звездами они возникли в тридцатых годах. Или...

Резонно спросить: почему выбрана такая тема и почему вариации, которым эта тема подверглась в коллективном несознательном и неосознанном, столь эксцентричны? Ответу на первую часть вопроса молчанием. Все ясно и без слов. А что до части второй, не я это придумал. То, что заявлено в статье как тема, лишь вариант другой, общей пра-темы.

Тема

Сквозь цветные стекла едва пробивается свет и странно окрашивает строгую обстановку комнаты: переплеты пыльных огромных книг с алхимическими рецептами и заклинаниями зелены, словно покрыты плесенью, голый череп, лежащий рядом, посинел, зато многоугольники на полу радостно и несерьезно светлы.

Здесь же сидит неизвестный и размышляет вслух:

Я богословьем овладел,
Над философией корпел,

Юриспруденцию долбил
И медицину изучил.
Однако я при этом всем
Был и остался дураком.

Кто этот говорун? Неужто Фауст? Издавна мы помнили, что он средневековый ученый-гуманист. А этот, сидящий меж колб и реторт, расставленных скорее для антуража, чем с пользой, разве похож он на ученого-энциклопедиста? Да он ничего не знает и сам признается в том. Всмотритесь, прислушайтесь, что он говорит, неумело мешая высокую лексику с уродливым простословием, каковое и не простословие, ведь обыкновенный человек его не поймет.

Не смейтесь надо мной делением шкал,
Естествоиспытателя приборы!
Я, как ключи к замку, вас подбирал,
Но у природы крепкие затворы.
То, что она желает скрыть в тени
Таинственного своего покровы,
Не выманить винтами шестерни,
Ни силами орудья никакого.

Он и вправду понятия не имеет, что шестерни и винты — вещи различные. Да не в том суть. Знания — штука наживная. Главное, его не радуют ни отчий кров, тесная готическая комната со сводчатым потолком, ни собственные занятия. Единственное, что он хочет, — это «вырваться на волю», то бишь за город, упроститься до мычания — бежать туда, где на поляне, в рифму покрытой туманом, эльфы и феи играют в прятки. Для чего? Какие тому причины?

Там, там росой у входа в грот
Я б смысл учености налет!

Оставим на совести говорящего то, зачем ему надо бежать столь далеко. Бежать? Ну, беги же! Нет, он сидит и брюзжит. Потом, как бы воспрянув, обратится к магии. И вскоре бросит. Скучно. Настроение минорное — безволие, разброд в мыслях. Уж, право, впору покончить с собой. Вдруг взгляд его падает на одну из пыльных книг, валяющихся поблизости, и человек словно преображается. О, цель жизни, кажется, найдена! И какая цель! Еще бы: передать на родном языке Новый завет, что может быть лучше и величавей. Не важно, какова была к тому подвижка, важно, что впереди духовный подвиг.

Итак, отныне — самоотречение, сосредоточенная работа, глубина мысли и чувствования. Прочее отринуто, все — прах, кроме этого. Дрожащими руками он хватает книгу, приподнимает тяжелую крышку переплета. Сейчас, сейчас, с первой строки и до последней. О, миг, столь вожделенный! О, труд, столь... (что и не подбирать ему прилагательного — пусть будет пока безымянным).

«В начале было Слово». С первых строк
Загадка. Так ли понял я намек?
Ведь я так высоко не ставлю слова,
Чтоб думать, что оно всему основа.
«В начале мысль была». Вот перевод.
Он ближе этот стих передает.

Пусть он набивается в соавторы Божественному откровению. Важнее то, что он никак не может решиться. Сплошные сомнения. Он сам не поймет, чего же хочет. Лучше бы он, и впрямь, ушел за туманом и запахом тайги, так бы честнее. Но почему он выбрал какой-то странный адюльтер, нелепый способ возвращения к радостям жизни, к познанию, да еще заложив на время собственную душу, которую почитают вечной, единой и неделимой? Ответ на сей и многие иные вопросы прост — перед нами интеллигент, причем не российский, а интеллигент «вообще».

Да, он таков, отсюда и все его слабости и все его хорошие стороны, о которых мы пока ничего не знаем. Но, поскольку он есть человек мира, с определенного момента явление это стало повсеместным, распространилось на земле, на море и даже в небесах, из созерцания его можно сделать далеко идущие выводы.

Вариации

Теперь, ознакомившись, так сказать, с интеллигентом изнутри, разъеденным скепсисом, не ведающим, что творить и как понимать библейские прописи, не находящим себе места в таком большом мире, попробуем взглянуть на него со стороны.

Посмотрим глазами людей обыкновенных, не запирающихся в кельях, не решающих крупных бытийственных вопросов, не рефлектирующих. И если читающих, то — между делом (с маленькой буквы) и читающих слова (тоже со строчной), да и то, когда есть возможность. После трудного рабочего дня, перед тем, как книга выпадет из рук и наступит сон. И книги для подобного чтения соответственные.

Приключения? Нет. Детектив? Бог с вами, еще не заснешь. Эротический роман? А вдруг жена, лежащая пообок, ненароком глянет на страницу или другим подвернувшимся способом уличит, что реакция на печатное слово не духовная, а скорее — и даже очень скоро — наоборот? Нет и нет. Нужна книга в меру любопытная, в меру познавательная, не целомудренная, отнюдь, но в меру сдержанная. Такая, которую можно в выборках почитать вслух. И еще: книга эта обязана удовлетворять главному требованию — показывать и осмыслять мир, где живут другие, — другой мир, куда не попадешь, но который существует. И о котором изредка, а задумаясь, не ведая, как понимать его.

Вот она, книга для чтения перед сном. Книга о знаменитых и веселых людях. Вроде бы все просто и понятно. Массовому читателю хотят предложить нечто неприязнательное, нечто вызывающее улыбку, о том заявлено уже в преамбуле: «Для удобства пользования книгой составитель расположил веселые были и предания по алфавитному принципу — по фамилиям знаменитых «шутников» от А до Я. Краткие сведения о том, кто есть кто, помещены в именном указателе».

Но в указатель нормальный человек не полезет, он читает¹ и так занят, что вряд ли обратит внимание на мелочи. Если под буквой «А» фигурируют император Август, Александр Македонский и император Александр Первый — надо ли выяснять историческую правду-матку, пусть последний и был из семьи Романовых. Лучше задумаемся над прочитанным.

Начать хотя бы с названия — оно загадочно. Знаменитые? Несомненно. Генрих Нейгауз, Осип Манделштам, Бертран Рассел, Эдмон Ростан. Если обратиться за разъяснением «кто это?» к обыкновенному человеку, он ответит исчерпывающе: «А кто это?», ведь ни о ком из перечисленных господ никогда не слышал. Он даже не знает точно — в нынешней ситуации — господа ли это или еще товарищи. Впрочем, что говорить. Есть знаменитые и знаменитые. Есть такие, чьи остроты собирают в сборники, и такие, которые просто есть: Майкл Джексон, Семен Буденный, Тигран Петросян. Встречал ты их когда-нибудь или нет, они существуют (это объективная реальность, данная нам радио и телевидением). Кажется, они были всегда, если даже их слава загорелась на твоей памяти, как произошло с Мадонной. Они бессмертны, они всепроникающи и безоценочны. Они — знамениты.

Что же до большинства героев упомянутого сборника — те из других знаменитостей. Рудольф Вирхов, немецкий патолог и общественный деятель, известен, может быть, широко, но в узких кругах, он старомоден, словно прогресс, если уж продолжать не менее старомодную цитату. Гайдн? Бах? Берлиоз? Пустые звуки. Но обыкновенные люди добры и открыты, они все приписывают собственному неведению и незнанию, а потому принимают на веру, что перед ними — знаменитости. Незнамениты для них лишь они сами да их знакомые:

«Будучи проездом в Нью-Йорке, Стравинский взял такси и с удивлением прочитал на табличке свою фамилию.

— Вы не родственник композитора? — спросил он у шофера.

— Разве есть композитор с такой фамилией? — удивился шофер. — Впервые слышу. Стравинский — фамилия владельца такси. Я же не имею ничего общего с музыкой. Моя фамилия — Пуччини»².

Нет, со знаменитостью что-то не то. Однако загадка не меньшая: как шутят эти люди и шутят ли они вообще? Иногда кажется, что в их действиях скрыт определенный умысел, вернее, намек, даже там, где, возможно, его и нет.

«Композитор Александр Порфирьевич Бородин был очень рассеянным человеком. Как-то он пригласил к себе на вечер гостей. Они исполняли его произведения, ужинали, беседовали. Вдруг Бородин встал, надел пальто и стал прощаться.

— Куда это вы, Александр Порфирьевич?

— Будьте здоровы, некогда, уже время быть дома. У меня завтра лекция...

Раздался смех, и только тогда хозяин понял, что он у себя дома».

Трудно поверить, что таким простым и действенным способом хозяин не намекал гостям, что они засиделись. Либо мы имеем дело с феноменом забывчивости, переходящим уже в дегенеративность.

Впрочем, такие опасения небезосновательны. Присмотритесь и прислушайтесь. Знаменитости ничего не делают, либо делают полную ерунду. Зато как гово-

рят! Безостановочно, нудно, глупо. И даже если они говорят кратко, качество сказанного от того не меняется:

«— Мистер Шоу,— сказал один застенчивый юноша,— держу пари, что вы меня не помните.

— Вы выиграли,— ответил Шоу».

Что это? Английский юмор? Игра ума? Гений, верный друг парадоксов? Нет, это поэтика вовремя вставленного слова, вплоть до «сам дурак» или — на крайний случай — остроумие конферансье, пререкающегося с полупустым залом. Чаше всего — это свободная стихия трамвайного спора, когда последнее слово, при алогичности самого обсуждения, не должно достаться противнику.

Так получается, если следовать логике представленных здесь историй. И тут стоит задуматься о степени их достоверности. Предлагается на выбор два варианта.

Первый: все так и есть.

Второй: это представляется, так перестроилось, перевернулось в уме нормального человека.

И первый вариант, и вариант второй, несмотря на видимую противоречивость, возможны и — взаимодополняемы. Из кого в конце концов произошли эти самые знаменитые? Сегодня ты безвестен, а завтра — знаменит, стоит только проснуться в своей постели.

Здесь надо обмолвиться: с начала работы над книгой и до ее окончания многое изменилось. А мы живем прежними мерками, которые не выдавливаются из нашего сознания и под напором новой действительности. Триумф? Известность? Встать с утра повсеместно восславленным? Раньше такая возможность давалась — ну, пусть гипотетически — и людям повседневного социалистического труда — ткачам, а особенно ткачам, шахтерам и в большей мере — шахтершам, комбайнерам обоего пола. Космонавтам. Разумеется, вахтерам, чертежникам, бухгалтерам такое не снилось даже и тогда. Но кому возбранялось сменить свою тихую, заурядную профессию на звонкую и более перспективную? Твори, выдумывай, пробуй!³

Это было. Сегодня знаменитым может проснуться тот, кто вчера — еще инкогнито — без согласия позаимствовал у государства либо частного лица несколько миллионов долларов, взорвал отстроенный заново Храм Христа Спасителя, убил, а перед тем изнасиловал с особой жестокостью полуторагодовалую девочку. Эти люди хотели бы так и оставаться в памяти народной обезличенными, но есть и особые инстанции, компетентные органы и просто случай,— вчера такой человек не был известен, а теперь — он вычислен, найден, опознан. Руки вверх! Ни с места! Вот оно, бремя славы⁴.

Кроме из ряда вон выходящих — убийц, разрушителей, мошенников,— знаменитыми становятся умники из остропотолочных келий, заводящие архивы и трясущиеся над рукописями (с ударением на третьем слоге). Не в пример, они могут, ровно ничего не знача, сделаться притчей на любых губах.

Еще бы. Только с виду они не от мира сего, а в быту они выпячивают себя, чрезвычайно агрессивны, нападают первыми, без какой-либо серьезной причины. Вот лишь несколько примеров, их можно множить и множить. Ференцу Легару молодой композитор признался, что ему для работы больше всего подходит ночь, музыка словно сама возникает. «Тут нет ничего удивительного,— ответил Легар,— ведь большинство краж совершается ночью». Зачем? Почему? Надо ли так обижать младшего собрата, какие бы причины ни были?

Или эпизод с Анатолием Дуровым, которого случайно встретил возле цирковой кассы некий сановник, явившийся с молодой женой на представление.

«— Будут ли свиньи? — поинтересовался он, наслышанный о дуровском номере.

— Если вы возьмете билет, то будут».

Пусть собеседник оговорился, пусть заметно без микроскопа, что он неумышленно, почему бы его не простить? Почему сразу надо подчеркнуть свое вздорное превосходство, уничтожить, оскорбить? Сотворить вселенскую смазь?

«На лекции датского астронома Ремера один из его слушателей спросил:

— Скажите, профессор, куда я попаду, если я, допустим, из этого зала просверлю дыру через весь диаметр Земли?

— Вы, молодой человек, непременно попадете в психиатрическую больницу,— ответил Ремер»⁵.

Неумудрено, что при такой, прямо скажем, неадекватной реакции в униженных и оскорбленных рождается реакция адекватная. Она даже чуть благороднее в своем замешанном на хамстве бесстрашии перед знаменитыми.

«Однажды в мастерскую к Брюллову приехала какая-то незнакомая семейная пара и пожелала увидеть его ученика Н. А. Рамазанова. Ученика позвали, и когда он пришел, то Брюллов, обращаясь к посетителям, сказал:

— Рекомендую — пьяница.

Рамазанов, указывая на Брюллова, хладнокровно ответил:

— А это — мой профессор».

Знаменитый человек высказался впрямую, что уже редкость. Обыкновенно эти люди трусливы и пытаются прикрыть трусость ложным глубокомыслием, а поступают как можно страннее. Вызванный на дуэль Пастер в качестве оружия предложил две колбы — с чистой водой и с возбудителем оспы, пусть противник выпьет любую, другую выпьет Пастер. Разумеется, поединок не состоялся. Гюго в околодуэльных обстоятельствах, величественно схамив, также взял оружие по руке: «Я выбираю грамматику, и вы можете себя считать убитым на месте».

Заканчивая тему дуэли, обратимся к опыту Бисмарка. Тут выбирал не он, а противник. В ужасе и отчаянии ученый предложил отравленные сосиски, каждый съедает свою, а там будь что будет. Бисмарк заявил: «Герои не обедают перед смертью».

Что и сказать, хороши. Если бы это случилось в обществе, где есть незыблемые, пусть и достаточно спорные, нравственные законы, таким людям отказали бы от дома, с ними бы не раскланивались на улице. Их презирали бы. Здесь не так. Знаменитые сами диктуют законы, понимая и честь, и ум, и совесть эпохи очень своеобразно⁶.

Но такова сила магии, которую называют «слава». Им все прощается. Они окружены всеобщим восхищением. Более того. Люди, хоть как-то связанные со знаменитостью, перенимают те же качества.

«Отец писателя Владимира Александровича Соллогуба однажды, прогуливаясь в Летнем саду со своей дочерью, девушкой поразительной красоты...» Начало для небольшого дурацкого рассказа, отразившего любопытные закономерности⁷.

Да разве в отцах и детях, в женах и любовницах дело? Любой, сколь далеко бы ни продвинулся он к этой бесконечной величине, пылающей ярким пламенем, получает ответ. Все, абсолютно все возле знаменитости тоже обретают ореол. Достаточно попасть в тот же магический круг. Хотите пример? Прошу.

«Один человек был очень похож внешне на Крылова, но несколько тоньше фигурой. Чтобы стать еще больше похожим на баснописца, он приналег на еду, чрезмерно чревоугодничая, и, кажется, добился своего — располнел. Он сказал своим знакомым:

— Теперь у меня вес такой, как и у Крылова: не хватает всего двух фунтов.

— Два фунта как раз приходится на мозг, — заметил один из его друзей». Каково? Лишь потому, что человек схож с Крыловым, пошлая шутка его приятеля помещается в раздел о знаменитом баснописце. А на деле все очень просто. Перед нами особый мир, и любые странности не должны казаться странными, они продиктованы иной логикой.

Тут возможны нарушения физических законов или попросту мистика. Вот, например, пассаж, в котором следует обратить особое внимание на глагольную активность:

«Шоу часто любил сам вести свою машину, забирая руль у личного шофера.

Однажды, когда он вел свою машину по очень неровной и извилистой дороге со многими поворотами, у него неожиданно возникла тема для новой пьесы.

— Что вы думаете о моей идее? — спросил возбужденный Шоу шофера, который сидел рядом, и с юношеским азартом стал развивать перед ним сюжетные хитросплетения задуманного им произведения.

Неожиданно шофер вырвал у восторженного Шоу руль.

— Что вы делаете? — воскликнул от неожиданности писатель.

— Извините, сэр, — ответил шофер, — но у вас получается такое прекрасное произведение, что я не хочу позволить вам помереть раньше, чем вы его напишете»⁸.

В этом мире происходят любопытные перестановки. Карузо просят замолчать, ибо его пение отвлекает рабочих, ремонтирующих его собственный дом. Английская королева приказывает купить прочие книги полюбившегося ей писателя Льюиса Кэрролла, а потом испытывает чрезвычайное разочарование, ибо ожидала увидеть сказки, а получила математические трактаты. О чем это свидетельствует? Только о несерьезности того, чем занимаются знаменитости.

Деятельность их на собственном поприще доходит порой до абсурда. Пикассо нарисовал портрет вора, которого застал у себя дома и запомнил в лицо: «На осно-

вании этого «портрета» было арестовано: двадцать человек, три автобуса, две лошади, банка сардин и штопор».

И одновременно то, что они сами посчитали шуткой, обретает противоположное значение, воспринимается на полном серьезе. Лейбниц послал обществу алхимиков письмо, составленное из бессмысленного набора научных терминов. «Какое же было удивление Лейбница, когда через некоторое время он получил пространственный ответ, в котором давалась высокая оценка мыслям, высказанным в его письме. Общество с почтением сообщало, что на последнем собрании великий ученый избран почетным членом общества, ему назначен солидный оклад»⁹.

Теперь понятно, почему шутки знаменитых не похожи на шутки. И более того, шутят уже не знаменитые, шутят над ними. Шутят все: поклонники, случайные знакомые, просто первые встречные. Шутят слуги, ничем не отличаясь в своих островах от господ (например, кучер, вывалив Фридриха Великого на мостовую)¹⁰. Очень важно, что шутят ученики (о замечательной шутке брюлловского воспитанника рассказывалось выше), но шутить любили и другие. Особенно повезло Вирхову: вероятно, и маэстро скальпеля умел хорошо пошутить — его подопечные неугомонны¹¹.

Даже дети шутят. И шутят как взрослые. Бюффону послали из ботанического сада два банана разного сорта. Мальчик-посыльный принес только один. Бюффон поинтересовался, где другой, и услышал в ответ, что мальчик его съел.

«— Как съел? — воскликнул рассерженный ученый.

— А вот так, — сказал мальчик и тут же съел второй банан»¹².

Постепенно инициатива от знаменитых уходит, они в лучшем случае кидают первую реплику, подыгрывая присутствующим. Хемингуэй сообщил пассажирке-соседке, что отказал один из двигателей самолета, на котором они летят, и спросил, не боится ли она. Дама возразила: бояться нечего, с той стороны, где они сидят, двигатель исправен¹³.

Таким образом, действующие лица меняются местами, и свидетелем, почти безгласным, а иногда и совсем молчаливым, остается знаменитость: «Во время похорон Суворова в Невской лавре у монастырских ворот высокий балдахин затруднил въезд траурным дрогам. Уже хотели снимать балдахин, как унтер-офицер, находившийся во всех походах с Суворовым, вскрикнул:

— Оставьте! Он пройдет, как везде проходил!

Двинулись — и гроб Суворова проехал благополучно». Это, разумеется, крайнее проявление закона. Впрочем, есть и более крайние¹⁴.

В конце концов знаменитые делаются пассивны, инертны, абстрактны. Они превращаются в безликую, слипшуюся массу — это леденцы в банке славы. Их не узнают. В лучшем случае их принимают за других: Юджина О'Нила — за Бернарда Шоу, Желеньского (читывали этого писателя?) за Мицкевича. Почему? Потому что им несть числа и меры. Правильно сказал вахтер, когда Эйзенштейн, назвавшись, хотел войти на территорию киностудии без пропуска: «Много вас тут, Эйзенштейнов»¹⁵.

Но, близясь к финалу статьи, я не могу не процитировать фрагмент, на мой взгляд, являющийся эталоном подобного жанра. Пусть не все мотивы сошлись в нем, он совершенен.

«Типографские наборщики — первые читатели, оценившие замечательные юмористические достоинства гоголевских «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Когда Николай Васильевич Гоголь, с нетерпением ожидавший выхода своей повести, наведаясь как-то в одну из петербургских типографий, в которой печаталась его книга, наборщики, увидев незнакомого им сочинителя, начали «фыркать и прыскать себе в руку, отворотившись к стенке».

Удивленный Гоголь обратился к заведующему типографией, и тот сообщил, что «штучки, которые изволили прислать для печатания, особенно до чрезвычайности забавны и наборщикам принесли большую пользу». Набирая, они зачитывались этой веселой книгой, вот почему она так медленно и печаталась».

Неизвестная знаменитость, каковую сразу узнали, и наборщики, исполняющие свою работу медленно, чем приносили себе огромную пользу. Точки расставлены даже там, где нет никаких «i».

Под занавес

Подведем итоги. Удивляет, если не поражает отразившееся в книге бесконечное, неосмысленное уважение, даже преклонение нормальных людей перед таким

странным и непонятным человеком, как знаменитость. А ведь преклонение есть и остается, как бы ни рассматривали действия этого затворника, у которого уши затянуты паутиной и с него самого осыпается едкая книжная пыль, когда он хамит, откалывает какую-нибудь гадость или замышляет нечто малодостойное.

Они же создали образ неопасного чудака (мы-то видим, он куда опасней в своих сомнениях и метаниях при шаткости убеждений) с уважением и пониманием его слабостей. Более того, они его уважали и жалели сильнее, чем этот человек заслуживает, ибо знаменитым быть, в первую очередь, некрасиво.

Они его прощают. Им надо спешить. Они рано встают, трудятся, добывая в поте лица и рук хлеб свой насущный, иногда скудный, возвращаются домой, ужинают и рано ложатся спать, ведь им вставать поутру, чтобы идти и трудиться. Перед сном они почитывают книги. Да, они любят близких. Да, они отпускают чужие слабости. Да, они великодушны, пусть и чуть насмешливы, сами не понимая того¹⁶.

Кто еще, кроме них, этих нормальных людей, смог бы так спокойно рассказать о глупости знаменитого человека и при том никого не обидеть, а поведать как о чем-то само собой разумеющемся?

«Слугу шведского химика Йенса Берцелиуса как-то его знакомые спросили, чем занимается его ученый хозяин. Слуга гордо ответил:

— Я достаю утром из шкафа порошки, кристаллы и жидкости.

— Ну и что?

— Он приступает к работе и все это перемешивает в большой посуде.

— А дальше?

— А затем он все полученные растворы переливает в другую, меньшую, приготовленную мной посуду.

— А потом?

— Потом он все это снова выливает в ведро, которое я ежедневно выношу на свалку».

И вопрос последний: как они догадались? Почему образ, созданный ими, так точен, так правилен, довольно сравнить его с самооценкой этого человека, данной наедине с собой? А потому, что, стараясь понять, кто такие те, кого они не знают, они оглядывались на себя. Оказывается, не замечая того, они говорили о себе, как о знаменитых... Они знаменитые? Вот было бы смеха, если б им об этом сказали! Вот это была бы шутка!

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ К слову сказать, я никого не призываю заглядывать в примечания, потому и ставлю их не под строчками, а в конце статьи. Кто захочет — заглянет и, надеюсь, узнает что-нибудь интересное. Если же нет — нет. Может, тогда ознакомиться с основным текстом этой статьи просто так, от нечего делать. Однако следует признать, что я рассчитываю в основном на тех читателей, которые примечаниями интересуются, иногда и в ущерб основному тексту. Надеяться — приятно, даже если надежды не оправдываются.

² В дальнейшем я откажусь от рубрикации, но самый важный и распространенный мотив — «Неизвестная знаменитость» — стоит назвать. В том же сборнике есть миниатюра о том, как Г. Гауптману в антикварной лавке предложили со скидкой какую-то вазу из уважения, что он — это он. Гауптман расплатился и объяснил, куда доставить покупку. Хозяин лишь поинтересовался: «Кому?»

В случае с Томасом Манном этот мотив пересекается с другим, также типичным (о шутках детей над знаменитыми будет сказано дальше): в одной из школ писателю представили способную ученицу. На вопрос, кого она знает из знаменитых писателей, девочка назвала Гомера, Шекспира, Бальзака, а затем указала на присутствующего и лишь смущенно уточнила, что позабыла его фамилию.

³ Вот загадка бытия. Чем порождается знаменитость? Знаменитых электриков и водопроводчиков нет в природе. Может быть, они не существуют потому, что должны пребывать в среде предписаний и не в силах отступить от общих законов, как должен человек знаменитый, чтобы стать таковым и продолжать им быть (хотя некоторого рода известность у электрика или водопроводчика возможна, но тут — влияние масштаба. На истинных знаменитостях масштаб не действует, бессилён пред ними).

⁴ Трудись ты миллион лет и откладывай в год по рублю, все равно не сделаешься миллионером. Американская мечта развенчана и унижена. А советская еще существует — пусть в рудиментарном виде, ведь советская известность та же рулетка,

закон бесконечно больших чисел или малых сих. Ты выбрал. Тебя выберут. И ты станешь.

Уверенность так сильна, что все мечтают выиграть в лото миллион. Бывшие советские люди ошибаются без привычки: и деньги тут бессильны. Миллионы — не залог успеха и признания. Залог известности — известность, если позволится такой парадокс.

⁵ Алиса из классической сказки считала иначе. Она лишь сомневалась, правильно ли называть жителей страны с противоположного конца Земли — антипатиями.

⁶ И в случае с Пастером, и в случае с Бисмарком ситуация не проста. Знаменитые окружены ореолом, тягаться с ними практически невозможно. Они уже избранники судьбы, а против судьбы не попрешь. Остается лишь отступить и смиренно ждать развязки.

⁷ В этом мире встречаются разные виды родства, в том числе и такой, могущий показаться игрой слов, однако действенный. Николай Первый встретился с кадетом по фамилии Романов:

«— Ты родственник мне? — пошутил государь.

— Точно так, ваше величество, — отвечал без запинки молодец-кадет.

— А в какой степени? — спросил Николай Первый, пристально поглядывая на кадета.

— Ваше величество — отец России, а я сын ее, — ответил находчивый кадет».

Таким образом, он приходился Николаю внуком в системе, о которой шла и будет идти речь.

⁸ Это не плохая проза — это иная реальность. Именно потому часто приходится подробно цитировать, а не пересказывать сюжет: важна пластика. Впрочем, сюжеты, изложенные в сборнике, сами по себе значимы.

Прогуливаясь по американскому городку, куда он приехал на гастроли, Падеревский услышал из одного окна музыкальную пьесу Шопена, которую исполняли с ошибками: «Падеревский зашел... молча сел за рояль и сыграл ноктюрн».

⁹ Тут, вероятно, действует своеобразный закон вытеснения, ничем иным не объяснить неадекватную реакцию знаменитых на любой жизненный факт. Они агрессивны, будто с цепи сорвались, потому что помнят о своем сплине и разоре в душе, и это никак не унять, не утешить. И, напротив, при попытке пошутить из недр их ума и души вырываются затиснутые, загнанные в глубину образы и мысли, которые могут иметь вполне серьезное значение, как в случае с Лейбницем. Показавшееся ему глупостью другие приняли за прозрение: главное — взглянуть непредвзято.

¹⁰ Справедливости ради отметим: человек в кучерской одежде иногда выполняет и положительную функцию. Он верно замечает Жаку Луи Давиду, что на его картине у невзнузданной лошади морда в пене, и художник, таясь от посторонних, вечером подрисовывает уздечку.

¹¹ Шутки их интересны еще и потому, что ученики укрыты в сени знаменитого учителя. История с Падеревским, зашедшим без приглашения в чужой дом, чтобы верно исполнить ноктюрн, имеет продолжение. На следующий день бездарная пианистка сменила табличку. Вместо надписи, гласящей, что урок фортепьянной игры стоит один доллар, было обозначено: урок стоит пять долларов, и добавлено: дает уроки ученица великого Падеревского.

¹² Не менее остроумно, хотя и не столь жестоко шутили дети над Маршаком и Пастером (см. соответствующие разделы книги).

¹³ Иногда участие в событии исчерпывается тем, что знаменитость рассмеялась: Горький при встрече с проходившем, выдававшим себя за писателя Горького, Королев, когда ему сказали, что он не прав (в каждом случае реакция одинакова, что бы ни случилось).

¹⁴ «То обстоятельство, что один вор-рецидивист не знал, в каком веке жил композитор Феликс Мендельсон, явилось для него роковым. А дело было так: вор украл в музее старинные часы, исполнявшие «Свадебный марш» Мендельсона. Похититель принес их в антикварный магазин и сказал, что эта вещь унаследована им от предков, которые приобрели часы еще в 1730 году. Антиквар сразу же заподозрил, что дело нечисто. Он был человеком эрудированным и знал, что Мендельсон родился в 1809 году».

Непритязательный, казалось бы, анекдот говорит о многом. Во-первых, нам подают это происшествие как шутку. Более того, как шутку, связанную с Мендельсоном, коль скоро она расположилась на букву «М», после столь же непритязательного анекдотца, где Мендельсон действует вживе. Во-вторых, любопытно, насколько

ко силен миф: его действие распространяется и по смерти, и даже часть, даже отзвук мелодии, созданной знаменитостью, несет на себе отсвет его личности, не известной нормальному человеку, а известной эрудиту, каковым был антиквар. В-третьих, и механизм прославления тут указан со всей наглядностью: стоит лишь совершить кражу, и ты становишься известным, сохраняя при том полную анонимность (сравни рассуждения о судьбе несчастных насильников, мошенников и разрушителей, никак не поименованных); впрочем, верно и то, что герой просто перешагнул черту магического круга и таким образом окрасился блеском чужого сияния.

¹⁵ Почти под занавес — парадокс. Самым большим мастером устных острот, причем достаточно остроумных и острых (простите за такое нагромождение, это вовсе разные вещи), был Иосиф Виссарионович Сталин. Неспроста он фигурирует даже в тех сюжетах, где вынесена в заглавие другая фамилия: то рядом с Киршоном, то с Григорием Александровым, то с Алексеем Толстым, а то с Эренбургом.

Шутки его прелестны. Помните его чуть ли не надгробное слово над академиком А. А. Богомольцем? Был ведь такой ученый, занимался геронтологией, пожал урожай всех возможных лавров и умер в возрасте шестидесяти пяти лет.

— Всех обманул,— изрек Генералиссимус.

Тут и подача реплики, и колорит выше похвал. Фраза, достойная пережить столетия (если учесть обстоятельства). Последнее слово осталось за говорящим по праву. А как знаменит шутник!

Противоречит ли это сказанному выше? Вряд ли. Да, Сталин из других знаменитостей, из знаменитостей первого рода. И шутки его — смешные шутки. И смеется он сам. А при том, не зря эти шутки рассованы по разным разделам. Сталин — образ собирательный, мифологический. Здесь двуединство: взгляни чуть иначе — и не до смеха.

¹⁶ Я до сих пор вспоминаю поразительное безымянное двестишье, должное войти в любые толковые словари и энциклопедии, если таковые будут еще сочиняться (а не переиздаваться репринтно Брокгауз и Ефрон лихого лохматого года), двестишье, изумительно озвученное и вбирающее уксусную квинтэссенцию мудрости нормального человека.

Разве интеллигент
Не жизни рентген?

В самой постановке вопроса есть уже и сомнение. Увидел и засомневался, увидев такое. Разве... И тут же простил. Прощение и снисхождение — в пору большим гуманистам.



Нефикции

Прошлый литературный год стал годом торжества «нон-фикшн». При царской птюрьме народов, за ленинским хитроглазым прищуром, в сталинских застенках, на хрущевских початках, под тяжестью брежневского иконостаса, перед андроповским ледяным кулаком, в аптеке имени Черненко, на ветрах горбачевской перестройки — всегда полагалось, что художественная литература (проза, поэзия, драматическая тургия) — это настоящая литература, а пара- и металитература (дневники, критика, квитанции из прачечной и прочие рефлексии) — литература служебная.

Ваш покорный слуга всегда придерживался как бы противоположной точки зрения: дескать, критика — в широком значении этого слова — есть деятельность куда более возвышенная, сложная, благородная и художественная, нежели сочинение поэм и новелл. То есть как раз не сказать, что у меня была прямо «точка зрения» такая, просто одно время мне нравилось так говорить. Приятно, когда поэты-прозаики злятся, дуют губы, ругаются, что критика возмнила себя выше НАСТОЯЩЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ...

Необходимость доказывать, что критика выше литературы, отпала достаточно быстро. Общественность признала это, так сказать, явочным порядком: на протяжении последних трех лет главной (в смысле — самой высокочастотной) темой критических выступлений наших литературных органов была сама критика (чаще — газетная критика). Статьи, «круглые столы», реплики, дискуссии... О газетной критике высказался всяк, кто мог, но дискуссии ухитряются не затихать: в последнем номере «Вопросов литературы» за прошлый год, к примеру, тема обсасывается в сто тридцать четвертый раз.

Существует, скажем, издание «Место печати», называющееся «журналом интерпретационного искусства». Это журнал концептуалистской ориентации, и именно с концептуалистскими практиками во многом связано вызревание тезиса о том, что контекст (условия существования текста и говорения о нем) может быть «важнее» текста. Сейчас этот тезис стал достоянием массовой культуры.

Много публикаций посвящается «тусовочной литературе» — это когда героями художественного, казалось бы, произведения становятся реальные вроде бы люди, в результате происходит нечто названное когда-то «смещением дискурсов». Я тоже писал об этом неоднократно.

Написанная в этом жанре повесть Сергея Гандлевского «Трепанация черепа» получила малую Букеровскую, а большого Букера присудили Андрею Сергееву — и тоже за нон-фикшн, за текст мемуарного типа.

Когда под Новый год газеты-журналы-радиостанции обрушились на критиков с вопросами «а чего такого-сякого вы прочли в помирающем году?», ответы пестрели названиями нон-фикшн книг и публикаций. Культурологические, исторические, филологические и прочие научно-гитиковские тексты читались в год президентских выборов как просто литература, как приключение, как чтение. Не в последнюю очередь, кстати, и благодаря президентским выборам, которые очень ярко продемонстрировали, как политическое событие может оборачиваться крупнейшим культурным явлением. Как то есть жизнь легко и красиво может превращаться в искусство.

Когда под Новый год газеты-журналы-радиостанции обрушились на критиков с вопросами «а чего такого-сякого вы прочли в помирающем году?», многие критики, довольные тем, что на них обратили внимание, стали отвечать в пижонской стилистике: а у нас нет литературы. Я, дескать, такой умный и разбирающийся в литературе, что могу точно сказать, есть она у нас или ее у нас нет.

Пределов человеческой самоуверенности, как известно, не существует, тем более что синтагмы типа «у нас нет литературы» не столько содержательны, сколько

жестовы: критик доволен быть автором такой крутой фразы. Непонятно только, выводят ли сами критики себя за рамки литературы или же не выводят и, сообщая, что литературы нет, сообщают, таким образом, и о своем собственном отсутствии.

Больше всего удивился я, прочитав такое решительное умозаключение, подписанное Михаилом Золотоносовым. Не потому, что привык доверять его мнению (последнее время Золотоносов печатает текущую критику в изданиях, может, и неплохих, но мало способствующих обновлению взгляда и письма), а потому, что сам Золотоносов издал в ушедшем году книгу «Субкультура русского антисемитизма в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита"». Богатейшая коллекция фактов, собранных по старым газетам и черным книгам, предъявляется Золотоносовым с редким изяществом и изрядным остроумием. Обохочешься, узнаешь много нового, восхитишься красотой построений. Почему же это не литература?

Вот только некоторые книги нефигишн, увидевшие свет в 1996 году, когда у нас якобы не было литературы.

Ирина Паперно. Семиотика поведения: Николай Чернышевский — человек эпохи реализма (издательство «НЛО»). Та же проблематика, что в четвертой главе «Дара», но написано, как подчеркнутая наука, что создает еще более комические и трагические эффекты.

Фоменко и Носовский. Империя («Факториал»). Громадный том, восьмая книга из саги Фоменко «Новая хронология истории». Рассказывается, что никакого татарского ига в истории не было, что орда была регулярной армией русских князей. Проводится идеологически близкий мне тезис о том, что русские и татары — вообще один народ. Написано, конечно, могло быть полегче (=лучше).

Руслан Киреев. Музы любви (издательство «Слово»). Аж два тома очерков о любимых женщинах всяких хороших и разных людей, правильное попсово-интеллектуальное сочинение. Приятно, что Киреев, некогда — лет десять назад, кажется, — находившийся в центре внимания критики, снова работает «на переднем краю»...

Беседы В. Д. Дувакина с М. М. Бахтиным («Прогресс»). Расшифровка восемнадцати магнитофонных часов — с повторами, с оговорками, с обращениями к кошечке. Книга-хепенинг, странная увлекательная речь двух немолодых людей, видевших много всяческой жизни.

Александр Эткин. Содом и Психея («ИЦ-Гарант»). Представлять читателям «Октября» его постоянного автора не надо. Очерки сексуальной и интеллектуальной истории Серебряного века. О Блоке, Троцком и Захер-Мазохе — читается взахлеб.

Владимир Паперный. Культура Два («НЛО»). Классический труд о советской культуре, работа старая, но показательна, что нам она стала доступна в этом нефигишн-году.

Петр Вайль, Александр Генис. 60-е: мир советского человека («НЛО»). Интеллектуальный роман о журнальных столиках и Хемингуэе в свитере.

Александр Верников. Бессчетная жизнь («Урал», № 3). Александр Верников. Дедушка мухомор и мальчик бананан (рукопись). О первой работе шла речь в выпуске «Записок литературного человека» (1996, № 9). Вторая, еще не опубликованная, посвящена большей частью мухоморам как народному средству для достижения космического просветления. Увлекательное исследование жизни и судьбы мухоморов в архаическом и современном обществах.

Д. А. Пригов. Книга предуведомлений к разным вещам («Ad Marginem»). Предуведомления, оторванные от стихов, образуют свод высказываний, род фрагментарного философского текста, и, как знать, может быть, в каком-нибудь очень будущем словаре Пригов и закрепится как философ навроде Блеза Паскаля. Во всяком случае, «Книга предуведомлений...» оказалась настоящим новогодним подарком для ропщущих тростников.

Михаил Безродный. Конец цитаты (Питерское издательство Ивана Лимбаха). О филологии — так же интересно, как может быть интересно о русских татарах, вампирах и мухоморах...

Последняя работа, прежде чем выйти в книжке, была опубликована в «Новом литературном обозрении». Возникнув как журнал актуальной филологии, это издание постепенно стало расширять свой контекст, публиковать тексты по теории культуры вообще и постепенно стало превращаться в журнал для интеллектуалов. Некоторые здешние публикации даже побудили меня придумать — правда, больше для внутреннего, нежели общественного употребления — термин «проза НЛО». Имеются в виду творения, написанные в межеумочных жанрах на грани высокой науки, переходящей в откровенное художественное творчество. Это прежде всего Безродный, идущие в нескольких номерах «Записи и выписки» Михаила Гаспарова, дневники литературной жизни Москвы в сентябре 1995 года, означенные как «исто-

рия литературы», переписка нескольких пар литераторов. В рамках этого проекта я вступил в переписку с Алексеем Паршиковым, и в итоге мы сочинили не только публикацию для журнала, но и целую книжку (см. также выпуск «Записок литературного человека», 1997, № 2).

Упомянутые в предыдущем абзаце тексты достаточно маргинальны и адресованы довольно узкому кругу читателей (исключая Фоменко, который хоть и пишет тяжело, но продается на лотках дорого и много). Десять тысяч экземпляров книги Эткинда — весьма большой для нынешней ситуации тираж, в то время как на Западе «интеллектуальные бестселлеры» могут выходить миллионными тиражами и приносить огромные прибыли. Оставляя в стороне вопрос об экономической будущности этого жанра у нас, обратимся напоследок к проекту, предназначенному для самого того ни на есть массового читателя.

Я имею в виду журнал «Столица», нулевой номер которого появился в Москве сразу после Нового года. Журнал «Столица» имеет славную и длинную историю. Когда-то, под управлением Андрея Малгина, он был одним из самых радикальных перестроечных медиа-проектов. Печатали статьи лучших публицистов (М. Соколов, Д. Горелов, А. Тимофеевский), обожающих резкие слова и громкие скандалы. Постепенно скандальность ушла из моды, журнал был куплен издательским домом «Ъ» и стал переделываться в издание московской светской тусовки. Ничего хорошего из этого не вышло, журнал закрыли на реконструкцию, где он и находился два года. Были виртуальные номера (внутри компьютера), выходили маленьким тиражом пробные номера как бы уже настоящие, старт журнала сто раз откладывался, несколько раз менялся состав редакции...

Появившийся номер произвел на меня большое впечатление. Постмодернистские и концептуалистские приемы, долгие годы отработывавшиеся в полуэлитарной авангардной журналистике, здесь обрели форму, годную для массового употребления. Плюс — достаточно новая для России интонация расслабленного, прогулочного письма. Можно повторить предыдущую синтаксическую модель: здесь обрела форму, годную для массового употребления, радикальная расслабленность «поколения Икс». В итоге мы имеем журнал, в котором:

— корреспондент Владимир Казаков отправлен редакцией в запой. Задание: «Пройти все круги злоупотребления и выжить», факсуя в редакцию репортажи о происшествиях;

— подробно рассмотрен, с картой и документальными свидетельствами, последний путь Му-Му;

— скуплен за пять с половиной миллионов и проверен за шесть часов киоск моментальных лотерей. Информация для любителей скоблить по карточке монетой — из пяти с половиной миллионов удалось вернуть только восемьсот тысяч. И в целом огромном киоске — никаких автомобилей и иных крупных выигравшей.

И если вы не можете читать Маринину и Доценко (авторы самых раскупаемых боевиков), если вы не находите ничего достойного внимания среди прозы и поэзии литературных журналов, если вы считаете слишком грубой литературу «Мегаполис-Экспресса» с его вампирами и маньяками, если вам казалась слишком вычурной литература приказавшего долго жить «Искусства» «Сегодня» с тамошними симулякрами и интертекстуальностями — попробуйте книги нон-фикшн и журнал «Столица». То, в чем всякие модные прибаамбасы приобретают годное для легкого чтения «человеческое лицо».

Одна из самых милых полосок «Столицы» — коллекция необычных объявлений из разных изданий (вот, кстати, пример — классический концептуалистский прием в мирных общегражданских целях; важно также указать, что «Столица» перепечатывает шедевры с адресами, можно пользоваться). Может быть, эти веселые цитаты помогут скрасить впечатление от моего несколько сумбурного обзора:

Проверка верности мужа не выходя из дома. Конв., п/пер. 5 тыс...

Книга «Лечение женщин запахом пота». Цена 100 тыс. руб. Почтой...

Приглашаю украинцев к культурному отдыху, предпочтение отдается имеющим радикальные настроения...

Г-н Карпов А. Е.! В 1989 г. г-н Петерин записал меня на прием к Вам в Фонде мира. Если бы мы встретились, Каспарову пришлось бы туго в матче 1990 г. ...

А форматом, бумагой (неглянцевой, что приятно) и, по мнению художника Валерия Шалабина, оформлением «Столица» немножко напоминает легендарный рижский «Родник».

Двойка, шестерка, тус

Ну как позабыть невероятной красоты и особой талантливости передачку телевизионную «Графоман»? Была в ней эдакая изюминка, художественная выходка: вначале ведущий нахваливал произведения, угодные его душе, а в конце с демонстративным презрением шваркал в мусорную корзину те книги, которые лично ему не понравились. Зрелище было, надо сказать, претовратное, богопротивное. Еще чуть-чуть, и, казалось, автор передачи разожжет костерок из не приглянувшихся ему книг.

Не нравится — не читай, сколь угодно выражай свои отрицательные эмоции человеческим языком. Но физическое издевательство над беззащитной книгой, которая не может врезаться ведущему за такое свинство и затолкать его в мусорную корзину, физическое унижение и поругание (да еще напоказ!) пусть и самой бездарной книги есть наглое бескультурье, а быть может, и психический недуг, издавна известный медицине как «моральный идиотизм». Ведь книга — более, чем оболочка литературы, книга — знак.

Волей судеб и телевизионных переиначек «Графоман» с экранов исчез, однако его нервный ведущий благополучно перебрался в передачу «Книжные новости», где в конце января он, беседуя с критиком, выразил свое крайнее неудовольствие тем, что журнал «Октябрь» присудил одну из своих премий за 1996 год известному поэту и своему любимому автору Юнне Мориц, а надо продвигать молодых, — вот ведь какая свежая, никому ранее не приходившая в голову мысль!..

Всякий ангажированный критик страдает избирательной забывчивостью. Вот и этот, молчаливо согласившись с ведущим, совершенно забыл, что именно он выдвигал недавно Юнну Мориц на Пушкинскую премию, но Мориц попросила этого критика не беспокоиться и отказалась от его выдвигательных услуг. Как в воду глядела. В занимательной беседе с «книжным лавочником» о движении молодых критик далее поведал, что он личность трагедийная и потому обладает мистической энергетикой: как только прикоснется к утюгу или к другому электроприбору, так все они дружно вырубаются из сети, а уж с людьми-то что делается, творится — не описать!

В самой передаче, где встретились две вышеозначенные фигуры, поиском молодых талантов не очень занимаются, а стараются приглашать лиц поименитее. И ведущий, пользуясь чужой интеллектуальной собственностью, таким образом пытается укрупниться. Любовь и радение о молодой литературе — все это шторы и жалюзи, за которыми прячется иное — желание руководить и стремление регулировать «литературный процесс». Что-то вроде: то шторы откроем, то жалюзи прикроем.

Умея читать, нетрудно и обнаружить, что «Октябрь» половину своих годовых премий присудил молодым дебютантам, что более двадцати лет двенадцатая книжка журнала отдается молодой литературе. Те, кто сейчас получает всяческие премии — Дмитрий Бакин, Алексей Варламов, Олег Ермаков, Татьяна Толстая, — были открыты «Октябрем».

Именно этот журнал напечатал впервые и представил читателям большинство тех новых имен, которыми теперь щеголяют и хвастаются иные издания. Молодые, никому не известные, ни одной строки ранее не опубликовавшие авторы приходят в редакцию не из тусовки, а «с улицы». И уже потом, напечатавшись в «Октябре», они получают «зеленый свет» в других журналах, что весьма отрадно для редакции «Октября».

Никоторые полагают, что молодых надо переводить за ручку через дорогу, как стариков или инвалидов, а всех остальных надо шваркнуть в мусорную корзину. Зачастую при этом в молодых числятся авторы, моложе которых иные «старики».

И уж извините, но в художественной литературе главный критерий — талант, Божий дар, имеющий место быть в конкретных произведениях, а не паспортные данные или тусовочный «прикид с фенечками».

«Октябрь» — первый в России журнал, который объявил себя независимым, остальные журналы последовали его примеру несколько позже. Журнал не зависит от спонсоров и выдает независимые премии независимым авторам из числа любимых читателями и, конечно, редакцией. Ежу понятно, что читатели не только «Октября» любят Юнну Мориц. По этому поводу передача «Книжные новости» может только ломать утюги, пылесосы и мусорные корзины — в припадке мистической энергетики. А весь-то секрет этой злобности в том, что неоднократно приглашали Юнну Мориц принять участие в «Графомане» и в «Книжных новостях», но она отказалась точить балясы с телеведущим, который устраивает книжную помойку.

Независимость писателей «Октября» кой-кому не дает покоя, а пора бы уже привыкнуть к существованию нетусовочного журнала.

ФИЛИМОН, он же ЕВГРАФ



Вадим ПЕРЕЛЬМУТЕР

Лавры безыменности

Мода на «скорочтение» — вовсе не признак исключительно нашего быстротекущего времени. Она приходит, уходит, возвращается. Некоторые методики, например, так называемое «диагональное чтение», были известны лет сто назад. Выигрыш проблематичен. Зато проигрыш очевиден. Выигрывая в количестве, проигрываем в качестве. Поглощаем информацию, прозеваем художество. И всего более страдает «изящная словесность», поэзия — высшая форма речи, точная до несинонимичности, ускорению не подлежащая, дорожающая каждым словом и знаком. Время поэзии сгущено. Время написания стихотворения — час, день, год — сжато до времени его прочтения, до нескольких минут. Когда мы говорим о воплощении поэтического замысла, в слове слышится не только «плоть» (то есть предметность образов), но и «плоскость». Пространство и время, где возникали стихи, преобразены в плоскость листа. Читательское восприятие, усилие возвращают произведению объем и протяженность. Это и есть медленное чтение. С отступлениями в ассоциации, пусть самые внезапные, с возвращениями к уже читанному, с паузами, в которых открывается возможность подумать и повспоминать, даже взять в руки другую книгу, найти строки и страницы, эхо которых послышалось. Единственно так и можно вычитать из стихов что-либо — и подчас многое — сверх привычно-поверхностного: то, что затуманивается с годами утратой контекста эпохи. Чем и займемся в «Этюдах о медленном чтении».

*Хотя бы одному стихотворенью
Жизнь вечную сумевший дать поэт...*

Игорь Северянин

Ничего себе — «хотя бы»! Любопытно было бы поинтересоваться у любого из поэтов: откажется ли?

Правда, эпитет выглядит чрезмерным. С отвлеченными категориями вроде «вечности» или «бесконечности» следует обращаться осмотрительно. Однако на сей раз — ни капли преувеличения. Более того, эпитет, можно сказать, совершенно буквален, конкретен. Потому что в 1926 году, когда Северянин сочинял эти строки, возраст стихотворения, которое он имел в виду, уже был «вечным», перевалил за век (если точно, ему исполнилось сто три года). Вот оно.

Птичка

Вчера я растворил темницу
Воздушной пленницы моей:
Я роцам возвратил певичу,
Я возвратил свободу ей.

Она исчезла, утопая
В сияньи голубого дня,
И так запела, улета,
Как бы молилась за меня.

Личной славы автору стихов его «Птичка» не вымолила. Федора Туманского ныне вспоминают — и отнюдь не часто — разве что историки литературы. Как современника и знакомого Пушкина.

Он очень мало написал. И не снискал даже мимолетной популярности. Однако ему удалось нечто совершенно таинственное. Одно его стихотворение, полностью отделившись, оторвавшись от имени автора, зажило самостоятельно и анонимно. К тому же на его мотив, на заданную им тему писали поэты куда более искусные, знаменитые, даже гениальные, от Пушкина и Дельвига до Манделштама и Шенгели. И никому не дался подобный эффект: как ни хороши стихи, они остаются автор-

скими, неразрывно связанными с именами поэтов и прочими их сочинениями. Слово между великими скульпторами затесался некто безвестный (назову его условно Пигмалионом), сотворил свою Галатею, да и был таков. А она живет.

Вдуматься, незатейливая эта «Птичка», созданная средствами самыми что ни на есть простыми, расхожий четырехстопный ямб, неизысканные, мягко говоря, рифмы, — все это появляется в разгар сияния пушкинской плеяды; сколько преходных стихов звучит и клубится «вокруг» нее — и не затмили. Она летит себе да поет — и ни до кого нет ей дела. Хотя что, собственно, произошло в стихотворении? Ну, выпустил человек птицу из клетки, только и всего...

Совершенно непонятно, по каким признакам, по каким таким особенностям восприятия отбираются из множества множеств стихи для подобного анонимного бытования, автономного не только от автора, но, может показаться, и от самой поэзии. Потому что «Птичка», насколько мне известно, первое, но далеко не единственное стихотворение, которое знакомо всем, не только читателям поэзии, но и людям, попросту отличающим в окрестной разногласии ритмическую и рифмованную речь, почти машинально запоминающим ее фрагменты не наизусть, но, если напомнить, сразу признают. Например, такое двустишие:

...Легкой жизни я просил у Бога,
Легкой смерти надо бы просить.

Кто ж его не знает! Наиболее эрудированные сообразят, что это концовка, продолжение невозможно, добавить нечего, и хотя предыдущих строк не воспроизведут, но догадку об авторе тотчас выскажут (проверял, и не раз). И ошибутся. Впрочем, про авторство речь впереди.

Пора признаться, что именно ради этого стихотворения затеяно пространное вступление об «истории вопроса». Верней, о его неразрешимости. На то и тайна, чтобы гадать, да не разгадать, признать в конце концов: *это так*. Тем не менее не отпускает она, тревожит. Нельзя нарочно сочинить такие стихи — не поможет ни талант, ни гений. Невозможно предсказать: какому из несметно сочиняемых стихотворений выпадет подобная судьба. Но можно понаблюдать за теми, какие уже есть, поискать сходства, нет, родства между ними...

Впереди одна тревога,
И тревога позади...
Посиди со мной немного,
Ради Бога, посиди!

Если предложить любому читателю определить время написания этого четверостишия, едва ли кто промахнется. Разумеется, тридцатые годы нашего столетия. Предчувствие надвигающихся невзгод, пока лишь смутной тенью дающих знать о своем приближении, выражено — лаконичней и проще, кажется, некуда. Простота, впрочем, обманчива, здесь — чудесное мастерство. Внутри катрен зеркально симметричен. И зеркальность звука создает эффект магический. Четыре строки выхвачены из стихотворения, как будто в воздухе незримо присутствуют — и слышны всякому, кто дышит этим воздухом.

А стихотворение — о любви и разлуке. И напечатано впервые в восемьдесят девятом, через пятьдесят два года после гибели автора, Сергея Клычкова.

Будто сердца жернов тяжкий
Никогда еще любовь
Не вертела, под рубашкой
Пеня бешеную кровь...
.....
Но пускай ты привиденье,
Тень твоя иль ты сама,
Дай мне руку, сядь хоть тенью,
Не своди меня с ума.

Примерно в то же время — в эмиграции — несколько строк запоминаются, твердятся — из поэта, еще и книги ни одной не издавшего. Они тоже соответствуют общему состоянию, чувству, что главные испытания впереди. «Человек начинается с горя...» Трижды звучат эти слова в стихах — словно не сразу решаются стать ударной, усеченной, последней строкой.

Вот и все. Только темные слухи про рай...
Равнодушно шумит Средиземное море.
Потемнело. Ну, что ж. Уплывай. Умирай.
Человек начинается с горя.

А стихотворение о том же, о чем клычковское.

...Человек начинается с горя. Смотри,
Задышались в нем парниковые розы.
А с далеких путей в ожиданьи зари
О разлуке ревут по ночам паровозы.

И повод к разрыву в обоих случаях невзрачный, от какого не ждут роковых последствий. «Боже мой, какая мука! И всему виною дурь!» — восклицает Клычков. «Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части», — вторит Алексей Эйсер...

В конце сороковых годов «пускаются в путь» стихи, которые вскоре и надолго тоже оказываются, как говорится, у всех на слуху. Лет сорок спустя, на исходе восьмидесятых, помнится, зашел разговор об издании первой, посмертной, книги автора этих стихов, при жизни почти ничего не опубликовавшего. Дело было в кабинете директора издательства, бывшего партийного функционера, «брошенного на литературу», вероятно, потому что провалялся он в свободное время сочинением «романов» и среди коллег своих слыл «писателем». Он и был «советским писателем», того же наименования издательство возглавляя. Беседа, впрочем, складывалась вполне мирно, времена переменялись, судьбы репрессированных требовали сочувствия, если не по душе, то по службе. Имени поэта директор никогда не слыживал, не скрывал этого, всячески избображая хозяйскую заботу о прибыльности издательского дела. Предлагаемая книга вгоняла его в пессимизм. Дескать, кто ее купит? Я попытался возразить, что вот Александра Кочеткова тоже никто по имени не знал, а книжка, едва вышла — двадцатитысячным тиражом, — тут же исчезла с прилавков. «Не скажите, — заулыбался он, полагая, что собеседник «подставился» под аргумент неотразимый, — его «С любимыми не расставайтесь!» любому известно! Если бы и тут что-либо подобное было, тогда и спорить не о чем». «Странно, — изобразил я недоумение, — неужели вы никогда не слышали?...» И процитировал:

Нелюдимо наше горе:
Одиночество, как тьма,
Обживается тем скорее,
Чем слабей огонь ума...

Он слышал. Или умело притворился, что было не трудно — уж больно знакомо звучат стихи. Так была решена судьба книги Георгия Оболдуева «Устойчивое неравенство», которую много лет безуспешно пыталась издать его вдова, поэтесса Елена Благинина. Стихотворение «Нелюдимо» ей и посвящено. Оно о любви и о разлуках, которые им довелось испытать, — три лагерных срока Оболдуева.

...И когда проходит мимо —
Ни обычно, ни ново —
Наше счастье: нелюдимо,
Потому что нет его.

Три стихотворения образуют диалог во времени и пространстве. Поэты разговаривают между собою, даже не подозревая о существовании друг друга. Разговаривают о жизни и смерти. Потому что для поэта расставание с любовью отзывается расставанием с жизнью.

Быть может, именно любовная лирика зазвучала диалогом, дала эти строки, с «любовной темой» не связанные, потому что частная жизнь, вокруг любви выстроенная, — единственная, хоть и хрупкая, защита человека во времена враждебные (а других не бывает, «история вообще неуютна», сказал Ходасевич)...

Такие стихи писать не хочется. Они пишутся сами, как бы используя поэта лишь для того, чтобы явиться на свет. И если заранее оповестить поэта, что как раз такое стихотворение имеет шансы на «жизнь вечную», — согласится ли? Не знаю.

Разумеется, всякий художник честолюбив. Но природа этого честолюбия двойственна. С одной стороны — «желание славы». Чтобы каждая новая вещь добавляла известности. И сама добавлялась к уже признанным, знаменитым. И ответ прежних ложится на нее, привлекая взгляд публики. Новое как бы *наследует* написанному, его значительность обеспечена тем, что публика уже прочтала. А имя автора соответствующим образом настраивает читателя на это свидание.

С другой стороны, различимо стремление автора, как бы поточнее выразиться, к невидимости, что ли. То есть к тому, чтобы вещь целиком либо несколько строк зажили сами по себе, без имени сочинителя (как чаще бывает с песнями, где указано, что «слова народные», хотя автор некогда *был* — и не из последних, Вяземский, например, у «Тройки» или Аполлон Григорьев у популярнейшего из цыганских романсов). «Почетней быть твердимым наизусть», — считал Волошин. И не он один. Пусть не «наизусть», но знакомым, известным, *своим*. И безымянным.

В первом случае — союз таланта и удачи. Во втором — чудо, тайна, непредсказуемость. Попробуй сделать выбор, чтобы после не пожалеть.

Но *двойственность* честолюбия, пожалуй, всего отчетливей видна в постоянных попытках совместить несоместимое, вместо «или — или» подставить «и — и», побывать едину в двух ипостасях — и в славе, и в бесславном смиреннии, которое паще гордости. В том, что может, даже должно стать анонимным, исхитриться и дать

понять читателю: «Я, я это сделал!» Есть идеальный образец более чем почтенного возраста. Силлабист семнадцатого века вольно переложил стихами сто сороковой псалом. И придал ему вид акростиха: «Герман монах моляса писах» (еще и подрифмовал). В надежде на то, что кто-нибудь когда-нибудь заметит. Ведь забвение страшит едва ли не больше, чем влечет слава.

Но парадокс в том, что два описанных стремления не просто противоречивы, а взаимоисключающи. Чем более известен поэт, тем невероятней, что хотя бы несколько строк смогут «проскользнуть» в анонимность. Так соблюдается своего рода справедливость, о которой у истории понятие не таково, как у человека. Иначе говоря, реальные шансы на ни от кого не зависящее существование стихов, на лавры безыменности имеет лишь поэт, который не достиг широкой известности. Причем вовсе не существенно: внешние обстоятельства тому причиной или он сам не без вины. И стихи — обязательно «шедевры». Они могут быть несовершенными, как у Туманского, или виртуозными, броскими, как у Клычкова. Но непременно должно быть в них нечто такое, что вызывает отклик не столько эстетический, сколько этический, верней сказать — *пограничный* между жизненным переживанием и художественным ощущением, так и в других стихах бывает, но в этих — *только так*.

Говоря до сих пор о стихах, попавших в эту странную категорию безыменности избранных, я хотел, в частности, показать, что установить их авторство — не Бог весть какая сложность. Просто оно несущественно. Двустипшия, четверостишия живут сами по себе, ни от автора, ни от стихотворений, откуда некогда вышли, не зависят. Попытка их вернуть, то есть *заново* прочитать в изначальном окружении, в контексте стихотворения, тоже не вызывает затруднений. Но... звучат они иначе, действие их — почти магическое — исчезает. Восстанавливая связи со всеми другими строками и строфами, они врастают в художественное целое, утрачивают самостоятельность и... уходят от нас. Правда, стоит оторвать взгляд от листа — и они отрываются ему вослед, возвращаются. Потому что они — наши. В большей степени, чем того, кто их создал.

Однако, если стихи словно бы противятся, не желают становиться *авторскими*, хочется их перупрямить, охватывает азарт погони, состязания. Так случилось со стихотворением, которым вызваны к жизни эти заметки, путь к которому оказался, как видите, не прямым, с отступлениями, но короче я не знаю.

Легкой жизни я просил у Бога:
Посмотри, как мрачно все кругом.
Бог ответил: подожди немного,
Ты меня попросишь о другом.

Вот уже кончается дорога,
С каждым годом тоньше жизни нить...
Легкой жизни я просил у Бога,
Легкой смерти надо бы просить.

Лет двадцать назад мы с товарищем решили наконец выяснить: кто автор? Определили границы поиска: двадцатый век, первая треть, раньше — едва ли, не характерны ни настроение, ни интонация, не позже — некоторые наши собеседники, в начале века родившиеся, помнили эти строчки с юности.

Похоже на Бунина. Переворошили — нету. Ни у Анненского, ни у Сологуба... Все это скорее для очистки совести, понимая, что авторство кого-либо из лучших поэтов сомнительно. Видно по стихам. А искать у поэтов второстепенных — и далее, исчезающе малый след оставивших, — голову сломаешь. Но тут — случай. Литературовед А. И. Овчаренко как-то в разговоре, между прочим, заметил: «Это Иван Тхоржевский». Откуда взял — не помнит, но давно знает, повода не было сказать. Был такой поэт, в эмиграцию уехал, жил в Швейцарии, занимался преимущественно переводами.

Ну и повелось. Со ссылкой на Овчаренко об авторстве Тхоржевского заговорил Межиров. С его слов восьмистишие напечатал у себя в «Камешках на ладони» Солоухин. А теперь и в антологии оно попало. Точка.

Но вот однажды, году в позапрошлом, работал я в фондах Пушкинского музея — в библиотеке И. Н. Розанова, в авторитетнейшем собрании русской поэзии начала века. И, отдыхая от трудов, решил просмотреть все хранящиеся там публикации Тхоржевского. Нет у него этого стихотворения — и все тут. Загадка не разгадана. При перепечатке ссылка на Тхоржевского нежелательна...

Думается, в том-то все и дело, что *написать его мог кто угодно*. «Так Блок сказал. Так я сказать бы мог», — позавидовал юный поэт тридцатых годов. Не мог бы — потому что «Блок сказал». Вот если бы некто безвестный...

Потому и увенчивает читатель стихи лаврами безыменности. Никто другой сделать этого не властен. И при этом, пожалуй, оставляет себе два-три листика. В знак причастности своей...

Новые воспоминания о будущем

●

**В. ПРОНИН. РАССКАЗЫ; Г. СОС-
НОВСКИЙ. ЗА КРАСНОЙ СТЕНОЙ. М.,
Сигма-пресс, 1995.**

●

...Снова и снова вспоминается недавний застольный разговор в обычной окололитературной компании (рядом сидели университетский доцент-филолог, будущий финалист букеровки, литкритик-букеро-вед, элитарный минималист-прозаик, автор эзотерических философских трактатов, а также экс-пушкинист, истово обратившийся в веру предков). Кто-то походя вспомнил о студенческом докладе, прочитанном в глухие семидесятые на одной из знаменитых своим оппозиционным вольнолюбием тартуских конференций. Сопоставление пародийных приемов в «Мастере и Маргарите» и «Двенадцати стульях» вызвало тогда гневную отповедь профессора-мэтра: «Как можно сравнивать великую книгу с бульварным романом!» После минутной паузы вспоминаящий раздумчиво произнес: «А ведь сейчас и не скажешь наверняка, где бульварный роман, а где великий!»

Вот уж с чем не поспоришь — горделивое противопоставление «настоящей» и «массовой» литературы нынче часто воспринимается как архаизм. И дело тут не только в диктате бизнеса и коммерции. Многие высоколобые властители дум (тот же Умберто Эко) усиленно объясняют добропорядочной публике, что занимательность, «читаемость» книги — одно из главных доказательств ее художественной подлинности. В это можно верить или не верить (я верю не очень, несмотря на демонстративную остросоужетность романов Достоевского, например). Как бы то ни было, ясно одно: от пренебрежительного игнорирования бесконечных серий книг в более или менее пестрых обложках пора уж перейти к серьезному разговору об их серьезном успехе у читателя.

Леденящие душу вердикты о «циничном потрафлении невзыскательным пле-

бейским запросам», о «сколачивании капитала на могилах великих художников» (цитаты невыдуманные!) в счет не идут. Прежде всего потому, что сама по себе «развлекательная» литература — величина переменная. Вспомним, насколько серьезно относились современники к творениям Вальтера Скотта, Фенимора Купера или Жорж Занд, спустя столетие пополнившим стандартные списки для подросткового чтения. С другой стороны, известный поэт-любомудр и столь же известный консерватор от литературной критики Степан Шевырев в 1835 году в программной статье журнала «Московский наблюдатель» напал на пространную прозу как таковую, не особенно отличая Гоголя от Рафаила Зотова и Вельтмана от Барона Брамбеуса. Почему? Да просто потому, что обширные повествования, дескать, создаются не иначе как ради заработка, высокая же литература и жизнь на гонорары — вещи несовместные. Так что, по Шевыреву, все получалось незатейливо: хочешь оставаться полноправным сочленом цеха истинных художников — пиши стихи да еще в крайнем случае небольшие повести, романы же — ни-ни, а уж о гонорарах и думать забудь...

Как видим, с легким чтивом дело порою обстоит ох как нелегко, прямое свидетельство тому — рецензируемая книжка, увидевшая свет в серии «Криминальный экспресс». Крупно набранное имя Виктора Пронина как будто бы сигнализирует о присутствии под обложкой очередного боевика. Однако (внимание, проницательный читатель!) прониному перу принадлежат только два небольших рассказа, львиную же долю объема сборника занимает роман Геннадия Сосновского. Причем с первых страниц становится понятно, что для автора романа «За красной стеной» детективная острота событий вовсе не является самоцелью.

На первый взгляд слишком многие детали и мотивы напоминают о пройденном, давно известном: сатирическая буффонада, разыгравшаяся в городе Бреховске, путает привычные карты, гротескно искажает контуры реальности. Заурядный парикмахер оказывается порождением зла, безжалостным палачом, некогда уничтожившим тысячи врагов социалистического строя. Бывший детдомовец, не помнящий и не знающий своего прошло-

го, служит корреспондентом в заштатной газетке и втайне пишет роман о... космических пришельцах. Они, как и положено, прибыли из прекрасного будущего, чтобы планомерно довести местную жизнь до сверкающего совершенства. А тут как на грех местный партийный босс поручает Мише Пискунову, автору сокрытого в недрах письменного стола космического романа, написать к юбилейной дате нечто совсем другое — детектив, прославляющий «бдительность местных правоохранительных органов». И, разумеется, следом начинается полная неразбериха с отдельными вкраплениями дьявольщины.

Круг ассоциаций понятен: «Мастер и Маргарита», «Туманность Андромеды», «Трудно быть богом»... Гости из будущего (Уилла и Герт!) мучительно дискутируют: допустимо ли прибегнуть к насилию в тех случаях, когда иные методы воздействия на варварскую цивилизацию не дают результата? Вопреки мнению своей снисходительной супруги мрачный мудрец Герт убежден: стоит устранить наиболее социально опасных субъектов (то есть с помощью магических заклинаний превратить их в беспомощных карликов) — и дела в Бреховске тут же пойдут на лад. Злобно-развязный парикмахер-палач Алексей Гаврилович, намекая на собственное родство с силами преисподней, многожды вспоминает о том, как некогда бритвой отсек голову клиенту. Ну, а литератор-пророк Пискунов прямой дорогой попадает в психиатрическую лечебницу и в конце концов понимает, что герои его заветного романа с бумажных страниц вырвались на улицы Бреховска. Следовательно, он силою своего писательского дара «угадал» тайну бытия, призвал в родной город силы добра и зла, немедленно вступившие в последний и решительный бой.

В семидесятые — девяностые годы появилось немало романов-притч, авторы которых вольно или невольно воспроизводили основные темы и сюжетные ходы главной книги Михаила Булгакова. Перечень велик: от «Альтиста Данилова» и «Плахи» до, скажем, романа В. Шарова «До и во время» и «Онлирии» А. Кима. Поток подобных сочинений исска неспроста. Как раз с приходом изготовителей массолита, претендующих на лавры великих, стало почти невозможно надеяться на то, чтобы вписать в одну прозаическую историю сатирический гротеск и нравоучительную проповедь, мистическую параболу и коллизии в духе традиционной science fiction. Жанр всеобъемлющей, ставшей мировой проблемы притчи-фантазмагории распался на атомы-составляющие, и у каждого из осколочков былого целого появились свои профессионалы,

создающие нечто большее, нежели откровенный словесный ширпотреб, но в то же время не расположенные всерьез проповедовать великие истины и врачевать пороки.

Судите сами: кто лучше полутаинственного автора по имени Лео Гурский закрутит сюжет политического детектива? И можно ли соперничать с отечественным Артуром Хейли — Александром Бородиней — в дотошном, производственно-компетентном изображении новейших явлений и тенденций современности? Появились доморожденные классики, бодро творящие шедевр за шедевром в жанре «дамско-эротического» романа, триллера, романа-фэнтези и т. д. и т. п. У перечисленных сочинений одно общее свойство — их авторы осознанно не претендуют на роль оракулов, их больше влекут лавры законодателей литературных мод, первооткрывателей манер и стилистических приемов.

Отказ от идейного водительства главенствует и в прозе так называемых (чур меня, чур!) постмодернистов вроде В. Сорокина с И. Яркевичем или А. Королева с В. Пелевиным. Да и «неодокументальность» (С. Гандлевский, А. Сергеев, М. Безродный), описывают запавшие в душу случаи из прошлой и настоящей жизни, а ты уж, мил друг-читатель, будь любезен сам догадаться, куда же канул хрестоцентрично знаменитый «литературоцентризм» русской культуры. То есть центризм-то остался (описанью отныне подвластно абсолютно все), а вот центра, ориентира, точки смыслового отсчета больше не существует, как ни посмотри...

...После всего сказанного несомненно, что Геннадий Сосновский отважился на поступок поистине смелый. Несмотря на присутствие детективно-фантастического антуража, его книга в основном воспроизводит схемы традиционного «романа идей», предлагает читателю внятную иерархию ценностей. Что это — нежелание идти в ногу со временем? Благородная приверженность высокой классике? Или просто перед нами проза, писанная много лет назад и залежавшаяся под спудом? Единственно верный ответ, разумеется, невозможен. В романе Г. Сосновского описываются времена, уже довольно основательно канувшие в доперестроечную Лету — вкупе с секретарями обкомов, упоминаемыми в тексте бритвенными лезвиями типа «Нева» или писательскими жалобами на невозможность опубликовать в социалистической периодике роман о пришельцах из будущего. Однако изображенная в книге полузабытая ныне многими жизнь людей, отделенных лишь парой десятилетий от бесчинств тоталитарной эпохи, явно соразмерна жизненно-

му опыту автора. Многие из описанного (пришельцы не в счет), несомненно, пережито и передумано самим Г. Сосновским, несет отпечаток биографической подлинности.

В финале романа круг таинственных событий замыкается, жизнь насельников Бреховска входит в привычную колею. Терпят крах зловещие планы насильственного искоренения земного зла. Миша Пискунов обнаруживает себя не в роли пророка, автора «негорящей рукописи», но в кресле главного редактора своей газеты. Да и космические гости то ли на самом деле прилетали на огонек, то ли романтическая Уилла просто пригрезилась своему незадачливому создателю. В результате всех пережитых передраг Пискунов приобрел нечто гораздо более ценное, нежели слава удачливого литератора: ключ к собственному прошлому. Он теперь знает в лицо убийцу своих юных, романтически любивших друг друга родителей, а в ящике письменного стола обнаруживает их гэнэушное «дело». Дьявольщина отступает — впереди брезжит нормальная жизнь.

Нельзя не сказать напоследок, что в книге присутствуют бесчисленные опечатки и нередкие стилистические огрехи, да и оформлен сборник классически для нынешних детективных серий, то есть безвкусно и непрофессионально. Впрочем, что ж — это ведь тоже знак распавшейся связи времен, когда лишь один шаг отделяет уже не только великое от смешного, но и мастеровито-безыдейную словесность от беспомощно-пророческой.

Дмитрий БАК

Шесть параграфов о славе и судьбе

●
Игорь СЕВЕРЯНИН. СОЧИНЕНИЯ В ПЯТИ ТОМАХ.

Томы 1, 2, 3. Санкт-Петербург, «Logos», 1995, 1996.

●
Каких только книг не выпускали за последнее время: бесспорных, спорных, нужных, ненужных, классиков и самострочек! Но остались поэты и писатели, с

которыми не ведают, как поступить, не могут предположить, по какому ранжиру их ставить на книжные полки. Это потому, что у русской литературы есть то, чего нет у других, есть иная классика, ничего общего с признанной не имеющая. О ней и речь.

1. Слава не приходит сама. Славу добывают тяжким трудом, праведным у одних, неправедным у других,— все зависит от совести человека, но, когда упорство и трудолюбие оживлены талантом, это — счастливое сочетание. У Северянина было так. На это мало обращают внимание.

Тут одна из закономерностей северянинской судьбы — написано о нем много, а разобраться, что к чему, как-то не удосуживаются. Взять хотя бы его самоименование. Игорь Васильевич Лотарев избрал поэтический псевдоним, который яснее ясного говорит о человеке, его придумавшем: Игорь-Северянин. И никак иначе. Позднее два неразделимых слова переставляли так и эдак, склоняли, выстраивали в каталогах на букву «С». Впрочем, это будет потом, когда начнется великая слава. А пока — только упорная работа.

Начинающий автор терпеливо посылал стихи в журналы и газеты, где их не печатали. Тогда он стал издавать за собственный счет поэтические брошюры очень маленьким тиражом, порою объемом всего в две странички.

Брошюры также отсылались в редакции. Иногда ответа не было. Иногда на газетной или журнальной полосе помещалось уведомление, что на рецензию получена такая-то книжка. Неизвестно, сколько бы так продолжалось, но случилась история скорее анекдотическая, чем серьезная. Впрочем, русская культура и состоит из курьезов, приоблачившихся в тогу величия.

Кто-то прочитал Льву Толстому стихи Северянина. И великий писатель земли Русской вознегодовал. Вокруг творится черт-те что, женщины продают свое тело, а рабочие — свои руки, крестьяне живут в голоде и нужде, некие, непонятно по какому праву назвавшие себя священнослужителями, отправляют обряды, в которых нет ни смысла, ни сути, лишь внешний блеск. О чем же в столь тревожное время пишет молодежь?

Вонзите штопор в упругость пробки — И взоры женщин не будут робки!..

Гневной отповеди оказалось достаточно, чтобы Северяниным заинтересовались журналисты. А дальше интерес рецензентов. А еще дальше — подлинная слава.

2. Северянинский поэтический мир возник не от проникновения за грани земли и небес, как у символистов. И мир этот

расширялся не потому, что раздвигались пределы времени и пространства, как было у Брюсова, и не потому, что поэт-путешественник открывал прежде недоступные дали — так открывал их Николай Гумилев.

У Северянина было иначе. Он обладал каким-то детским чувством слова. Его радовал сам процесс называния, именованья (кстати, по этой причине сочиненные Северяниным глаголы и прилагательные много хуже сочиненных им существительных). Впрочем, он любил разные слова — и выдуманные им, и заимствованные. Он любил их с их звуками и смыслом. Какое-нибудь необыкновенное «сомбреро» и замечательно объемное, причудливое слово «комфортабельный» вставляли в нужном месте строки.

Северянин не просто составлял и сопоставлял слова. Он в одной строке спрессовывал массу нового. «Гарсон, сымпровизируй блестящий фэйф-о-клок» — звучно, чуть загадочно. И тем не менее это настоящие, подлинные стихи. Они выдерживали и цитаты, и слова чужих языков, и прозаизмы, и сложную терминологию.

Валентина, сколько счастья!

Валентина, сколько жути!

Сколько чары!

Валентина, отчего же ты грустишь?

Это было на концерте

в медицинском институте,

Ты сидела в вестибюле

за продажей афиш.

Какой поэт может позволить себе играть такими трудными и опасными для стихов словами? А Северянин играет, он наслаждается звучанием строки, отчетливой артикуляцией. И собственным мастерством, что вовсе не предосудительно, если это — настоящее мастерство.

Северянинский мир, как всякий мир, разнообразен, в нем сосуществуют разные явления, живут разные люди. Твердят, что Северянин упивается дешевой «шикарностью». Скорее, наоборот, ему ближе простая жизнь, простые радости. Ветер, солнце, цветы доставляют наслаждение не меньшее, чем красивые и звучные слова.

Шумите, вешние дубравы!

Расти, трава! цветы, сирень!

Виновных нет: все люди правы

В такой благословенный день!

И тут есть о чем задуматься. Перечитаям воспоминания Бенедикта Лившица. Воспоминания очень необычные. В них рассказывается, как Маяковский и сам мемуарист разыскали на Средней Подьяческой дом, где жил Северянин. В его жи-

лице можно было попасть только через задымленную, наполненную паром то ли прачечную, то ли кухню. На вопрос, где можно увидеть многоуважаемого Игоря Васильевича, какая-то женщина подозвала маленького мальчика и приказала отвести господ к папе.

Дверь распахнулась, и перед гостями предстала не комната, а склеп: темнота, повсюду альбомы с вырезками, посвященными Северянину, и везде засушенные букеты — следы прежних триумфов. Несколько поклонниц, руководствуясь расписанием, которое Северянин помещал на обложках своих брошюр, также преодолели этот рукотворный ад, чтобы увидеть любимого поэта.

Итак, жизнь среди папок и альбомов с вклеенными туда рецензиями на собственные стихи, а рядом — прачечная. Можно не поверить, тем более тон воспоминаний совсем не дружественный. Но даже этот мемуарист признает у Северянина беспорный талант и добавляет: «Нужна была поистине безудержная фантазия, чтобы, живя в такой промозглой трущобе, воображать себя владельцем воздушных "озерзамков" и "шале"».

Северянин шокировал и в стихах, и в жизни. Это выглядело почти пародией, тем не менее успех северянинских «поэз» и выступлений — «поэзоконцертов» — был ошеломляющим и шумным. То, как на самом деле все обстояло, понимали очень немногие. «Игорь обладал самым демоническим умом, какой я только встречал. Это был Александр Раевский, ставший стихотворцем, и все его стихи — сплошное издевательство над всеми и всем, и над собой. Вы знаете, что Игорь никогда (за редчайшим исключением) ни с кем не говорил серьезно? <...> Игорь каждого видел насквозь, непостижимым чутьем, толстовской хваткой проникал в душу и всегда чувствовал себя умнее собеседника,— это ощущение неуклонно сопрягалось в нем с чувством презрения»,— признавался в частном письме Г. Шенгели.

Почти никто не принимал во внимание, что северянинские стихи насмешливы и самоироничны, нарочитость их подчеркнута нарочита. Впрочем, они и лиричны. Слияние иронии и лирики определяет их. И это легко проверить. Вот стихи, написанные во время первой и тогда еще единственной мировой войны. Самоирония оттеняет сказанное.

Друзья! Но если в день убийственный

Падет последний исполин,

Тогда, ваш нежный, ваш единственный,

Я поведу вас на Берлин!

Так он писал и требовал для похода самое необходимое: коня, шампанского и кинжал.

А вот другие стихи того же периода:

Когда отечество в огне
И нет воды, лей кровь, как воду...

Ирония здесь смолкает перед слишком серьезной, отнюдь не лирической темой, потому и слова рассыпаются в прах.

3. В поздних стихах почти все иначе. И поэт поставил пределы насмешке. И жизнь его такова, что заставляла ценить добрые чувства и доброе слово.

Поздние стихи чисты, мелодичны, экспрессивны. Северянинское мастерство всегда было высоко. Здесь оно стало поразительным.

...Есть в Юрьеве, на Яковлевской, горка,
Которая, когда я встану вниз
И вверх взгляну, притом не очень зорко,
Слегка напоминает мне Тифлис...

Лишь поначалу кажется, что поэт никак не может подобрать слова, путается, комкает фразу. Вслушайтесь — сказано четко, всмотритесь — вот она, картина, перед глазами. Это классика.

Но если упомянуто слово, то стоит вспомнить «Классические розы» — стихотворение, давшее название одному из северянинских сборников. Оно из тех, что считается поэтическим завещанием.

Но дни идут — уже стихают грозы.
Вернуться в дом Россия ищет троп...
Как хороши, как свежи будут розы,
Моей страной мне брошенные в гроб!

Казалось бы, эпитафия, взятый из стихов второстепенного поэта XIX века Ивана Мятлева, оставшегося в истории литературы строчкой о розах, вполне к стати. Это как бы символ спокойствия, устойчивости, стабильности, таким кажется теперь прошедший век.

Тут-то и влетает северянинская ирония. Вообще утверждение, что Мятлев остался в истории литературы одной единственной строчкой, — утверждение ошибочное. Мятлев — автор знаменитых стихов о госпоже Курдюковой. А известен в веках — вот ведь насмешка провидения — благодаря тургеневскому стихотворению в прозе. И так тоже бывает: автора эпитафия читатели позабыли, а стихи помнят по этой — чужой — строке.

Убедительное и грустное сопоставление. Можно улыбнуться, но как смеяться над собственной жизнью? Тем более что жизнь складывалась необычайно нелепо. А потом нелепость обернулась трагедией.

4. Северянин ненамеренно оказался вне России. Вывез мать из голодного и мерзлого Петрограда в места, где он постоян-

но отдыхал, а тут немецкая оккупация. Так и остался поэт за внезапно выросшей границей. Сыграли роль и обстоятельства, и привычка. Северянин жил в Эстонии, переводил местных поэтов, тосковал по России. Ни беженцем, ни эмигрантом себя не называл. Величался «дачиком». Самоирония едкая и грустная.

В воспоминаниях, написанных не по заказу, а для памяти, рассказывал: была возможность вернуться, но вот ведь, слабый человек, не использовал. В гастрольной поездке случайно встретился с Маяковским, тот звал в Россию. Да тогдашняя жена запротивилась. Убежала в испуге по ночному Берлину, и Северянин бежал за ней, не попрощавшись со знакомыми, попросту бросив их за ресторанным столом. Это было ужасно. Но ужас, который еще предстоял, он даже не мог представить.

Поэт сильно бедствовал, с эмиграцией отношения у него сложились не слишком теплые. Бывало, зарабатывал тем, что продавал пойманную на удочку рыбу или разносил свои сборники с автографами. Терпел — поэту просить вспомоществование труднее прочих.

Обращение за помощью к Рахманинову — один из немногих случаев. Нашелся предлог. Еще в 1926 году Рахманинов прислал деньги нуждавшемуся Северянину, и поэт поблагодарил ответным восторженным письмом. Впрочем, дело не в просьбе и не в последовавшем затем рахманиновском вспомоществовании, дело всего лишь в строке, которая многого стоит: «В 1918 г. я уехал с семьей из Петербурга в нашу Эстляндскую губ., превратившуюся через год в Эстонию».

«Наша Эстляндская губерния» — три слова, сказанные как само собой разумеющееся, растолковывают и позицию Северянина, и то, как он принял присоединение Эстонии к России в 1940 году, и даже его псевдоним.

Северянин был утопистом в том панороссийском варианте, который характерен скорее для следующих поколений. Тут следует вспомнить многократно цитированные строки:

И пусть я покажусь им узким
И их всесветность оскорблю,
Я — патриот. Я воздух русский,
Я землю русскую люблю.

.....
Но мы еще дойдем до Ганга,
Но мы еще умрем в боях,
Чтоб от Японии до Англии
Сияла Родина моя.

Настроения мальчиков-«ифлийцев», по большинству павших на Великой Отечественной войне, очень схожи с настроениями Северянина. Утопизм не предпо-

лагал конкретных путей установления великой России. А в том, как это было в действительности, винить следует не поэтов.

И снова письмо Рахманинову, и снова благодарность, смешанная с горчайшими признаниями: «Последняя книга моих стихов — «Очаровательные разочарования», — к сожалению моему, а возможно, и других, не окончательно эпохой обездушенных, издателя не находит, — и много лет лежит в письменном столе. По этой причине я не могу себе разрешить — вот уже три года — запечатлевать вновь неудержимо возникаемое: я слишком ценю и Поэзию, и свое имя.

С каждым новым днем я все ближе и неотвратимее приближаюсь к предназначенной мне бездне и, отдавая себе в этом отчет, осиянный муками, готовлюсь к гибели.

И вот мне хочется прежде, чем это совершится, еще раз от всего простого и искреннего поэта сердца воздать Вам, прославленному, славу и честь за дарованные мне Вами три месяца жизни на этой Земле, такой мучительной, но и упоительной!..»

5. Следует оборвать цитирование. Письма, адресованные Северяниным старому его другу Георгию Шенгели, читать попросту невыносимо. Больное сердце, страшное безденежье, хворости любимой женщины. Желание хоть как-то заработать на жизнь. И трогательная мечта работать на благо родины.

Это надо помнить, когда читаешь самые последние северянинские стихотворения.

Бывало, подъезжаю к проволоке,
Нас разделявшей в годы те,
Угадывая в блеклом облике
Страну, подобную Мечте,
Опередившую Америку
Своим развитием страну.
«Пристать бы мне к родному берегу,—
Границу вот перемахну...»
И мысль привычно-необычная
Овладевала часто мной,
Но бдит охрана пограничная
Настраженною тишиной...
И брови хмурые, суровые
Вдруг проясняются, когда
Поймешь: Россонь слита с Наровою,
И всюду — русская вода!..

Северянин не вернулся: началась война, поэт умер в 1941 году в Таллинне. И тем не менее он был свидетелем того, как утопия воплощается: на короткое время Эстония снова стала российской землей...

6. Слава похожа на утопию. И та и другая — плод тяжкого труда. Разница в

единственном: утопии рушатся безвозвратно, слава иногда возвращается. И уже навсегда.

Евг. ПЕРЕМЫШЛЕВ

Бархатный сезон

Сергей КОСТЫРКО. ШЛЯГЕРЫ ПРОШЛОГО ЛЕТА. Повести и рассказы. «Книжный сад», 1996.

«Да не о них я! Не о них. О себе пишу. О соглядатае».

Повести и рассказы. Потому что сложно провести грань. Тем более в случае с Костырко. Который пишет прозу «вообще» про жизнь. Который втаскивает в несколько десятков страниц целую судьбу + еще чуть-чуть. Единственное, что остается неизменным, так это герои — неприкаянные, утомленные солнцем мужчины, несомненно, различные ипостаси автора, его, Костырко, не прожитые, но весьма возможные при иначе сложившихся обстоятельствах жизни. Точно просчитывает варианты. Точно, поймав на мушку очередной тип, вживается в него, как по системе Станиславского, прочерчивает *рисунок роли*. Понятно, что труднее всего изобразить личность никакую не героическую, не особо особенную. Труднее всего написать «просто про жизнь», ибо «где слог найти, чтоб описать прогулку, шабли во льду, жаренную булку»? Как умелый редактор Костырко отбирает в повседневности детали. Выхваченные из всеобщего прожектором писательского всеволия, они вырастают до символических обобщений, заставляя прозревать вторые и третьи планы. «А если уж совсем точно, то по природе я — соглядатай. Неприятное слово, да? Из ряда стукач, сексот? Ничего подобного. В слове "соглядатай" есть свое достоинство. Его можно было бы заменить на благородное и возвышенное — "созерцатель". Но для меня сомнительна романтическая приподнятость в его звучании. У каждого "созерцателя" должен с годами накапливаться тайный стыд за свою жизненную недееспособность и соответственно стыд за попытку спрятаться в "романтическом" ореоле... Гораздо уместнее и честнее — "соглядатай"».

И еще. Правильная и весьма продуктивная идея описывать «будни» какими-то такими аккуратными, выверенными фраза-

ми. И наблюдениями, хотя и остроумными, но не выходящими тем не менее из общего ряда. «Последнее время они собирались только на дни рождения и на Новый год. Почти ритуал. Хотя это лучше, чем их служебные застолья. Но с годами неизменность компании и друзей превращает в сослуживцев. В сослуживцев по застолью». Приятно (или совсем отвыкли?!) читать без претензий прописанные будни, то узнаваемое пространство, на котором все равны. Спокойная энергетика равномерно распределяется по всем углам и закоулкам, точно расставленные в шахматном порядке солдатики обязаны поддерживать по всему тексту один и тот же «уровень моря». Размеренное течение нарушается финалом, где вся эта выверенность да размеренность дает точно рассчитанный сбой. Обнажая бухенвальдские ребра эйдосов. Это рабочий, работающий прием. Поэтому получается закончить текст быстрее, чем хотелось бы: обманчивость эпического зачина, обрванного, смерть на взлете, какой-нибудь звенящей нотой, волевым обвалом вниз. Замотивированные, заматанные городской текучкой, «из карманов мы курево тянем, популярные песни мычим...». А жизнь, как написал другой поэт, не проходит, но прошла.

Герой «Странника» работает в начале повести редактором в сценарной части. Персонаж «Человека из очереди» только что закончил и сдал в редакцию четырехмесячную халтуру. И так до бесконечности: серо, пыльно, малокровно. Единственное, что еще дает надежду, как-то подымает, нет, не над бытом, но над самим собой, — это море. Все герои Костырко просто-таки заморожены этой дикой (в отличие от всего-всего, с чем они обычно сталкиваются), неприручаемой стихией. Она, равнодушная и свободная, сама по себе: ни понять, ни исчерпать, ни победить нельзя. Можно только временно соприкоснуться, пересечься. Необъятное, неизбежное Море своим свежим дыханием первородства противостоит среде обитания. «Между осенью и поздней осенью ты обретаешь еще одно лето. Это твоя, заветная заначка от жизни — от родных, работы, московских маршрутов и телефонов. Почти ворованное лето. Которого нет на самом деле. И жизни этой нет. И тебя вот такое — ленивого, беспечно-го, молодого». Преодоление биографии, выход-переход на просторы (?) собственной индивидуальной судьбы и возможны лишь на ничейной территории. Когда освобожденный от повседневных забот и тягот человек непосредственно лицом к лицу сталкивается с самим собой.

Книжка состоит как бы из двух равных частей. Тексты-биографии первой обязаны вместить всю судьбу персонажа, от звонка до звонка (относительным исключением здесь маловнятный «Старик»). Истории

жизни тяготеют к занимательной сюжетности (судьбоносное *bon mot* и выделяет описанный «случай» из множеств подобных). Но все это (судя по педантично поставленным датам) ретепитици и подходы. Иное дело — повесть «Пицунда», составившая вторую часть сборника. Это как бы «поздний» Костырко, уже набивший руку, он может себе позволить не цепляться за поручни сюжета, но выстраивать повествовательную ткань из более важных, нежели внешние проявления, моментов. «Обрывки фраз, мелькнувший силуэт...», наблюдения за спецификой курортной жизни. Поездка к морю в несезон как некий утопический проект некоей утопической творческой свободы, возможности выпасть из своей жизни и впасть, как в ересь, действительно в неслыханную простоту.

А ведь писание прозы методологически можно уподобить поездке к океану. Есть безбрежный, самодостаточный массив ранее написанной литературы. Можно внести свою лепту, можно, не справившись с подводными течениями, утонуть. Важнее здесь — возможность выхода-входа для самого пишущего, воспитание-перевоспитание житейского (жизненно-го) опыта: литература, как и любое путешествие вообще, важнее для самого путешествующего, нежели для обозреваемых-необозреваемых достопримечательностей, железной дороги или читателей-путчиков. Как индивидуальный проект проза С. Костырко состоялась. Пережито, оплачено. Скромный тираж скромно изданного сборника (отметим стильность обложки с фотоаппаратом «Зенит» и штильным морем) вряд ли дойдет до «широких читательских масс».

«Море стало горбатым...»

Дмитрий БАВИЛЬСКИЙ

Митьки никого не хотят победить

●

Владимир ШИНКАРЕВ. МАКСИМ И ФЕДОР. ПАПУАС ИЗ ГОНДУРАС. ДОМАШНИЙ ЕЖ. МИТЬКИ. (Серия «Петербургская проза»). СПб., «Новый Геликон», 1996.

●

Любая цельная мифология в наше время просто обречена на успех. В ходу Борхес и Толкиен, Стругацкие и Довлатов...

Если б какой-нибудь довлатовский забуддыга ожил и стал писать романы, один из них, безусловно, назывался бы «Максим и Федор». Это не наезд. Скорее комплимент. Так поэтические опусы малоприятного капитана Лебядкина аукнулись в литературе целым направлением — ОБЭРИУ.

Будущие звезды питерского рока — Майк, Цой, БГ — уже в восьмидесятом пользовались текстами Шинкарева как цитатником. Митьков еще не было и в помине. Идея *такого* образа жизни, *такой* ментальности, *таких* стереотипов поведения не просто витала в воздухе — она и есть основа любого мифа. Ведь мифы, как учат на филфаках, отличаются друг от друга лишь разновидностями сюжета да национальными особенностями. Шинкаревские герои похожи одновременно на Гаргантюа и Обломова, Веничку и Илью Муромца...

Теперь о самом тексте. «Максим и Федор» — эклектичная по жанру и абсурдная по сути история двух бодхисатв, заплутавших в четырех стенах российского алкоголизма. Алкоголь и безделье — основные занятия шинкаревских героев. Однако, если пьяные и безработные персонажи Довлатова в тех же ситуациях бешено рефлектируют, Максим и его странные друзья несут свою карму с достоинством новых святых.

Благородная беспомощность, с которой они относятся к жизни, разрушает защитные механизмы и раскрывает все существо их чудесному ли, отвратительному, но всегда *настоящему* будущему. Удивление не сходит с их лиц. Сосредоточенность на мимолетном заставляет их умирать каждый день и при этом жить вечно.

«Чтобы творение осталось в вечности, не нужно доводить его до конца», — говорит Федор, отстоявший длинную очередь к ларьку, отказываясь от пива. Станным образом этот афоризм напомнил мне концепции обэриутов. «Вещь должна быть бесконечной и прерываться лишь потому, что появляется ощущение: того, что сказано, довольно», — считали они.

Итак, мифологизируется все: от застолья до похмелья, от чужих стихов до подробностей родного города.

Можно загибать пальцы, перечисляя реминисценции: марксизм, дзэнские коаны, Достоевский, Серебряный век, бессмертные произведения соцреализма, Булгаков... Это только на первый взгляд. Только на первый взгляд книга очень литературна. Любой постмодернист охотно подписался бы под столь лаконичным и

отвязным цитированием мировой культуры.

И все же, думаю, «Максим и Федор» — *не-литература*. *Не-литература* в высоком смысле. В конце концов Лао-цзы, Книгу Мертвых, «Повесть временных лет», дневники Хармса или тексты «Битлз» тоже язык не поворачивается назвать *литературой*...

«Митьки одеваются во что попало, но ни в коем случае не попово» — эта старая истина легко применима к шинкаревской прозе. Внешний литературный лоск отсутствует почти начисто. Можно подумать, что у этой прозы нет ни автора, ни читателя. Лишь герои. Автор не просто отстранен от своих персонажей, а, похоже, вообще удален из текста. Как будто мы имеем дело с анонимным апокрифом древней секты, как будто эта история началась задолго до того, как мы взяли в руки книгу, и продолжится, когда мы ее закроем...

Сам Шинкарев назвал «Максима и Федора» «вещью в трех частях». Крутой жанровый замес (афоризмы, стихи, притчи, новеллы, дневниковые записи, экзистенциальные пьесы, киносценарий, публицистика, даже исповедь...), намеренный отказ от морали, показное пренебрежение к собственному тексту, самоирония и лубочность стиля — все это отвлекает нас от литературы в сторону... как бы лучше сказать... искусства. Акцент ставится на невысказанном, основной прием — фигура умолчания. Самое время процитировать.

«Если человек ест в темноте, хоть и называется темноед, это ничего».

«Надо верить жизни, она умнее. Вплоть до того, что — как выйдет, так и ладно».

А теперь заглянем в книгу прошлого века:

«Смерть для того поставлена в конце жизни, чтобы удобнее к ней приготовиться».

«Глядя на мир, нельзя не удивляться!»

«Скрывая истину от друзей, кому ты откроешься?»

Правда, похоже? Главное отличие Максима и Федора от Пруткова: они, пожалуй, терпимей Козьмы, тоньше, что ли. Или мне это кажется?..

Семнадцать лет, как закончена эта *вещь*. Принципиально изменились цены, названия улиц, городов да и вообще условия жизни. Много обернулось своей противоположностью. Митьки перестали пить. Некоторые из них упорно трудятся. И только Максим с Федором по-прежнему шагают мимо нас похмельные, смущенно улыбающиеся. Вне времени.

«Максим и Федор» — по-моему, главное в шинкаревской книге. Кроме того, присутствуют:

«Папуас из Гондураса». Фантазмагория, спровоцированная просмотром ТВ на пьяную голову. Лорд Хронь, гренадеры, гражданская война, Булат Окуджава, соревнования по перепояю... И под занавес — пять абзацев душераздирающей авторской исповеди. Телевизор можно было и не включать...

«Домашний еж» — сказка для самых маленьких. С легким эротическим уклоном и — классически — двумя вариантами концовки.

И наконец — «Митьки». «В рассказе нет никакой насмешки, а если есть усмешка, то — добрая», — успокаивает Шинкарев своих героев. Миф, породивший митьков, и митьки, породившие этот миф, встречаются и непринужденно беседуют. Между делом Шинкарев дает искусствоведческий анализ, объясняет, «почему митьки не сексуальны», предлагает «окончательную систему мироздания», рассказывает старые байки... Апокриф, примечания к явлению, которое уже состоялось. Читать все это дело очень приятно. Тем более что за текстом встают физиономии с той самой «доброй усмешкой».

«Победа — истина подлецов», — это из «Жены керосинщика» Кайдановского. «Митьки всегда в проигрыше... и этим они завоюют мир», — откликается Митя Шагин. Сказано не для красного словца. Завершить книгу публикацией злобной антимитьковской статьи (Е. Баринев. Митьки: часть тринадцатая.) — жест ослепительного благородства. Я не знаю, завоюют ли митьки мир тем, что *никого не хотят победить*, но читательские симпатии — наверху. Незловивым юмором, честным отношением к миру, в котором они живут. А если он нехорош, так что же: Пускай Художник, паразит, / другой пейзаж изобразит.

Ян ШЕНКМАН

Золото Маккены

Теренс МАККЕНА. ПОИСК ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ДРЕВА ПОЗНАНИИ. Ради-кальная история растений, психоактивных веществ и человеческой эволюции. Перевод с английского Р. К. Сергачева. Научная

редакция к. ф. н. Владимира Майкова. Издательство Трансперсонального Института. М., 1995.

Теренс МАККЕНА. ИСТЫЕ ГАЛЛУЦИНАЦИИ, ИЛИ БЫЛЬ О НЕОБЫКОВЕННЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЯХ АВТОРА В ДЬЯВОЛЬСКОМ РАЮ. Перевод с английского Татьяны Науменко. Научная редакция к.ф.н. Владимира Майкова. Издательство Трансперсонального Института. М., 1996.

Первая книга Маккены вышла давно, все, кому не лень, ее отрецензировали, а потому вполне может быть, что заголовок «Золото Маккены» кем-то уже использовался. Где-то, что ли, в середине семидесятых, шло в советском прокате такое кино, и там во время какой-то подводной сцены зрители могли видеть кусочек обнаженной задницы. Это событие обсуждалось в подвалах и на танцах. Шепотом добавляли, что у них в кино, бывает, и еще кое-что показывают. В еще кое-что не очень верилось, но ветерок по чреслам пробежал. Так что словосочетание знаковое и поповое.

Теренс Маккена придумал как раз очень поповую теорию, такую, что его книги стали бестселлерами психоделической словесности. Теория достаточно проста — в смысле ее просто можно пересказать. Вы лучше поймете ее, если читали в соответствующем возрасте книгу Ларичева «Недостающее звено» или книгу Эйдельмана «Ищу человека». В антропологии есть проблема: археологами найдены, грубо говоря, все типы обезьян и найдены все типы людей. Но между последней обезьяной и первым человеком слишком большой промежуток. Должно бы быть еще какое-то существо: уже почти не обезьяна, еще немного не человек. Почти не питек, чуть-чуть не антроп. Среди международных звезд археологии (там у них тоже свои заморочки, типа наших «Оскар» и «Пальмовых ветвей») многие прославились тем, что где-нибудь на Яве или Суматре откопали челюсть такого замысловатого вида, что она могла принадлежать неизвестному «недостающему звену». Но всякий раз звено делало лапой: опять не оно.

Есть попытки объяснить зияющий провал другими способами: промежуточного существа нет, зато произошло нечто такое, что позволило обезьяне сделать «большой скачок» и стать человеком. Согласно одной теории, обезьяна стала нами

после того, как получила где-то в Африке урановое облучение. То есть люди, согласно этой теории, есть мутанты. Особую прелесть придает то, что и СПИД, по одной из версий, пришел именно из той же точки Африки. Мораль Бульбы: чем породил, тем и убью.

Маккена придумал свою и очень красивую. Обезьяна стала человеком благодаря активному употреблению психоделических веществ (главным образом псилоцибиновых грибов). Благодаря грибам сознание ее расширилось, и мозг за короткий период увеличился в три раза. Кроме того, психоделическое сознание весьма рефлексивно: обезьяна стала мыслить саму свою мысль, что, собственно, одно из не самых дурных определений культуры. Ярко, просто, красиво. К тому же Маккена, судя по всему, человек очень заводной: обо всем этом он пишет с каким-то феерическим оптимизмом. Иногда это надоедает, но задор передается. Кстати, «Пища Богов» начинается аж вот эдак: «Призрак является планетарной культуре — призрак психоактивных веществ».

Другое дело, что Маккене достаточно сложно читать. В отличие, скажем, от Карлоса Кастанеды, неистовый Теренс — довольно посредственный сочинитель. Вставляет какие-то импрессионистические красоты, пускается в предельно банальные громкие рассуждения. А самое главное — это касается в основном второй книги — строит ужасающую эзотерическую теорию, пестрящую большебуквыми словами — Архаичное, Абсолютное и даже, прости Господи, Логос. «В некотором смысле можно сказать, что все состояния освобождения есть не что иное, как совершенное понимание смысла вечности». Но какому, скажите на милость, нормальному человеку нужен «смысл вечности»? «Если знать, что именно содержится во времени — с его начала и до конца, — то получается, что ты ему больше не принадлежишь». Ну и ладно. Отдельные фрагменты «Истых галлюцинаций» начинают слишком активно напоминать телепередачу «Третий глаз», ведущий которой недавно поведал России, что вот строки «я такое дерево, ты другое дерево» воспринимаются нами как поэтическая образность, а на деле в них есть «глубокий смысл», связанный с идеей древа мира.

Но, по счастью, в «Истых галлюцинациях» много и чистого приключения:

группа товарищей путешествует по джунглям Амазонки, жрет все, что растет, и передается утонченным телесным переживаниям. И вот в этих частях книги взору доброжелательного читателя является масса великолепных мест, которые я с великим удовольствием вам рекомендую.

Историю о «синтаксической паутине»: существует такая виртуалка, в которой язык оплотняется, отвердевает, становится видимым, в которой слова и сами синтаксические конструкции можно лицезреть или даже пощупать. Метафор этого довольно много: Маккена приводит пример из мультика Диснея про Алису, где гусеница не произносит свой вопрос, а выкуривает его из трубки, рисует дымом. Но, конечно, лучше «увидеть воочию», не метафорически: Маккена описывает кое-какие техники, дающие такой шанс.

Историю о застывшем пламени свечи. «Деннис обратил наше внимание на свечу, которую я поставил на полочку, выступающую из стены хижины. Все о ней забыли, и она, постепенно накренившись, теперь свисала под неестественным углом, бросая вызов закону всемирного тяготения. Как сказал Деннис, время настолько замедлило свой ход, что мы просто не можем видеть, что свеча падает... Я подошел к этому видению поближе и нагнулся над пламенем. Оно выглядело неподвижным, абсолютно застывшим...» Сам эффект хорошо известен, но больно уж пластичен конкретный сюжет.

Историю о том, как шаман выделяет на своем теле вязкую фиолетовую жидкость, чтобы использовать ее в своем шаманском производстве. Эта история мне показалась близка потому, что я как-то ощущал во сне, как мое тело равномерно, эдак на сантиметр, заключено в скафандр из довольно плотной жидкости, которую я воспринял как пот и стал этим потом дышать, то втягивая в себя на несколько миллиметров, то выпуская обратно. Он был очень податлив — будто открываешь-закрываешь бутылочку, заткнутую немножко ослабшей пробкой из густой резины.

Ну, и много разных замечательных мелочей. «Иногда Деннис прерывал мои раздумья, спрашивая, не мог ли бы я или Ив выкурить для него сигарету».

Очень мало у нас литературы, где последовательно описывались бы такого рода переживания.

Валерий ПОПОВ. РАЗБОЙНИЦА. [Б. М.], «Вагриус», «Лань», 1996. 25 000 экз.

Прежде он писал о счастливых неудачниках, теперь пишет о несчастливых, но удачливых шлюхах. Ничего не осталось от звенящей ироничной прозы. Появились современные реалии, с которыми автор не ведает, что делать: «разборки», «зеленые», «увеселительные круизы». Изысканное авторское слово потесняется ненормативной лексикой. Неразбериха жизни, где глупость торопливо сменяется мерзостью, хочет притвориться романной динамикой. Это печатается солидными тиражами. На знаке издательства «Вагриус» изображен меланхоличный ослик. И понятно: если трепетную лань и коня вместе не впрячь, то лань и ослик не только сопрягаемы, но и все свезут. Новые времена.

Булат ОКУДЖАВА. ЗАЛ ОЖИДАНИЯ. Нижний Новгород, «Деком», 1996. 50 000 экз.

Собранные вместе стихи 1990—1995 годов и некоторых других, прежде не издававшиеся, можно определить двумя словами. Это стихи прощания. Прощания с товарищами, которых нет: Р. Рождественским, А. Адамовичем, Л. Гинзбургом, — и прощания с теми, кому еще можно позвонить, чей голос услышишь в телефонной трубке. Прощания с местами, где побывал: Варшавой и Парижем. Прощания с Москвой. Поэт заново передумывает свою жизнь и приходит к очевидным, хотя и неожиданным, выводам:

Нынче я живу отшельником
меж осинником и ельником,
сын безделья и труда.
И мои телохранители —
не друзья и не родители —
солнце, воздух и вода.

Ф. СТОКТОН. ЧЕЛОВЕК-ПЧЕЛА. М., «Сельская новь», 1996. 20 000 экз.

Американец Фрэнк Стоктон у нас неизвестен, и это при том, что, как уверяют во вступлении издатели, он вместе с М. М. Додж основал «Сэнт-Николс» — лучший детский журнал за всю мировую историю, а заодно писал забавные, веселые книги. Если так, тем печальнее, ибо не столько читаешь эти старые сказки, сколько размышляешь над прременностью славы и над тем, как быстро старятся книги, в общности детские. Не здесь ли истолкование закона, по которому живет детская литература? Ведь редко (а, может быть, если судить строго, то и совсем никогда) произведения, написанные для детей, остаются в их пользовании. Большинство детских книг стареет и забывается напрочь. Другие и вовсе сочинены для взрослых, а лишь потом разными путями попали к маленьким читателям: тут и пересказы «Дон Кихота», и перделки «Робинзона Крузо», и адаптации «Гулливера». Такие книги, покинув взрослую аудиторию, не вернутся, они стали достоянием детской литературы. И есть еще одна разновидность детских книг — они, пусть и сочинены для детей, раз и навсегда присвоены взрослыми, а уж затем отданы во временное пользование детям (и то опять-таки чаще в пересказах и переложениях). Сказки об Алисе, книга о Гекльберри Финне, гайдаровская «Голубая чашка». И, следовательно, о том, что есть детская литература, надо еще подумать. Составитель серии «Дуремар», где вышла книга Ф. Стоктона, клянется именами Буратино и Винни Пуха: серия будет интересной (но мы-то стараниями литературоведов знаем: и эти герои — для взрослых). Впрочем, сияющая разноцветными рисунками книга, где симпатичные персонажи попадают порой в смешные ситуации, лучше множества наспех сляпанных книжек и вполне может существовать, хотя бы из-за картинок.

СЛОВАРЬ ИСКУССТВ. [Б. М.], ТОО «Внешсигма», 1996. 10 000 экз.

Несмотря на погрешности и несуразности (например, в список фильмов, представленных М. Бруксом, попал фильм, где он выступал лишь как продюсер и актер), словарь, называющийся в оригинале «The Hutchinson Dictionary of the Arts», вполне достойное справочное пособие при условии, если оно не единственное. Тут, в частности, собраны сведения по литературе, живописи, музыке, фотографии, театру, художественным ремеслам и моде, дополненные краткими хронологическими таблицами. А то, что мифологические персонажи, исторические личности, названия отдельных произведений и реалий выстроены в алфавитном порядке, подтверждает: люди, явления и вещи уравниваются в нашей культуре, и это данность.

ГРАФ ДРАКУЛА: Вампиры. Фантастический роман барона Олшеври. Б. Стокер. Дракула. М., «Терра», 1996. [Б. т.]

Неведомо, что заставило объединить под одной обложкой, где выставлено название серии «Готический роман», книгу Б. Стокера, находящуюся где-то на самой окраине жанра (вернее, занимающую совершенно особое место) и явную мистификацию (на это указывает имя автора «Вампиров»). И если переводчик «Графа Дракулы» не назван скорее всего потому, что издательство воспользовалось дореволюционным переводом, то «Вампиры» — роман мнимо переводной. Но самое любопытное: у читателей успехом пользуется подделка — роман «барона Олшеври».

Борис ПОПЛАВСКИЙ. НЕИЗДАННОЕ: Дневники, статьи, стихи, письма. М., Христианское издательство, 1996. [Б. т.]

Книгу было бы вернее назвать «Неизданное и несобранное». Впервые напечатанные отрывки из дневников и мелкие материалы дополняют прежде раскиданные по давней периодике статьи Б. Поплавского о живописи, исключенные фрагменты романа «Аполлон Безобразов», статьи о религии, философии и литературе, рецензии и ответы на анкеты. Значительное место занимают прижизненные статьи о поэте и отзывы на его раннюю смерть. Интересны биографические материалы. Книга снабжена обширными примечаниями, библиографией, биографическим индексом, дополнена фотографиями и репродукциями.

Мирча ЭЛИАДЕ. МИФЫ, СНОВИДЕНИЯ, МИСТЕРИИ. М., «Рефл-бук», «Ваклер», 1996. 5000 экз.

В предисловии к английскому изданию, предельно кратко определяя не только тематику данной книги, но также и пафос собственного творчества, автор говорит: «Фактически основной темой настоящей работы является встреча и конфронтация двух типов мышления, которые с целью упрощения можно назвать традиционным и современным. Первое характерно для представителей архаических и восточных общественных формаций, второе — для представителей современных общественных формаций западного типа». Знаменитый культуролог и философ-традиционалист иллюстрирует выдвинутые им гипотезы или отстаиваемые постулаты примерами из жизни «экзотических» и «примитивных» народов, доказывая: сохранившиеся в их мифологии и повседневной практике, часто не вполне осознаваемые знания более значимы, чем опыт западной цивилизации, ведь в них жива память о первоначальном исчерпывающем знании, полученном непосредственно от Творца. Западный человек, развиваясь, напротив, отдаляется от первоначального знания, рискуя в конце концов его безвозвратно утратить.

Ален и Одетт ВИРМО. МЭТРЫ МИРОВОГО СЮРРЕАЛИЗМА. СПб., «Академический проект», 1996. 5000 экз.

Сама по себе идея написать вдвоем энциклопедию изначально ущербна. Но, судя по всему, авторы такой задачи перед собой и не ставили. Да и структура книги, состоящей из разделов «Мэтры сюрреализма и его маяки», «Временные попутчики», «Ближайшие соседи», «Зачинатели и первопроходцы», «Соперники и монстры», внутри которых материал об отдельных фигурах, связанных с сюрреализмом, размещен в алфавитном порядке, а также несколько статей, не вошедших в разделы, явно не походит на энциклопедическую. Наличие словаря, библиографии и неких «Хронологических ориентиров» дела не меняет. Книга страдает даже не фрагментарностью, а дробностью, подбор материала случаен. Залихватский слог, каким написана книга, скорее подошел бы для рекламы, ибо характеристики, вынесенные в подзаголовок статей, более походят на рекламные слоганы: «Мастер мрачного юмора и фантастики», «Решительная мятежница» и т. д. По обрывкам цитат, маловразумительным статьям трудно составить даже общее впечатление о явлении, именовавшемся сюрреализмом. Что же до жанра, неизвестно, авторами либо издателями измышленного, «компактэнциклопедия», название рождает ассоциации не со справочным изданием, а с какими-нибудь гигиеническими средствами.

Инна КАБЫШ. ДЕТСКИЙ МИР. М., АО «Х. Г. С.», 1996. 1000 экз.

Изрядная часть наших неурядиц на совести доброхотов. Автор предисловия, окрестив поэтессу «дочкой Цветаевой» и следом же «дочкой Ахматовой», тем же закрепил их загадочную связь и странное происхождение поэтессы. Издательство же «для красоты» изукрасило страницы работами какой-то местной художницы. А книга ни в чем таком не нуждается. Стихи это, проза, поэма, рассказ — кто знает? Пусть каждый решает сам. Но прочитать эту книгу стоит.

Дорогие наши читатели!

**НАЧИНАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ «ОКТЯБРЬ»
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 1997 ГОДА**

Стоимость подписки

на месяц — 15 500 руб.

на три месяца — 46 500 руб.

на полгода — 93 000 руб.

плюс надбавка местных отделений связи.

Подписка по Каталогу газет и журналов Роспечати принимается всеми отделениями связи.

Индекс издания: 73293

Москвичи и жители Московской области могут подписаться на «Октябрь» непосредственно в редакции (ул. «Правды», 11/13) по льготной цене и получать журналы у нас.

Телефон для справок: 214-31-23.

Ф.СП-1

МС РФ ГПС (Госпочтамт)											
АБОНЕМЕНТ на <small>журнал</small>										73293	
ОКТЯБРЬ										<small>газету</small> (Индекс издания)	
<small>(наименование издания)</small>										<small>Количество комплектов*</small>	
на 1997 год по месяцам											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Куда:											
<small>(почтовый индекс)</small>						<small>(адрес)</small>					
Кому											
<small>(фамилия, инициалы)</small>											

			ДОСТАВочНАЯ КАРТОЧКА								
ПВ		место	ли-тер	на <small>журнал</small>					73293		
				<small>газету</small>					(Индекс издания)		
ОКТЯБРЬ											
<small>Стоимость</small>		<small>подписки пере-адресовки</small>		<small>руб. руб.</small>				<small>Количество комплектов*</small>			
на 1997 год по месяцам											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Куда:											
<small>(почтовый индекс)</small>						<small>(адрес)</small>					
Кому:											
<small>(фамилия, инициалы)</small>											

Оформить подписку на журнал можно:

— по Каталогу Респечати через киоски (кроме Москвы);

— по Каталогу газет, журналов, книг для Московской области (индекс 23293);

— через службу распространения «АиФ-Пресс» (индекс 61534).

*Читайте
в ближайших номерах*

роман ГРИГОРИЯ КАНОВИЧА

«ПАРК ЗАБЫТЫХ ЕВРЕЕВ».

«Ничего больше не хотелось вспоминать.

На сегодня хватит. Он, Ицхак, будет просто сидеть и наслаждаться природой, слушать, как цвенькают птицы, глядеть, как плывут облака. Он все из памяти выметет, как пани Зофья листья из аллеи. Нельзя превращать воспоминания в ремесло, нельзя каждый день вспарывать прошлое, как старый пиджак, иначе наложишь на себя руки. У него нет больше сил разрываться между временами, перебегать с одного берега на другой. Нет больше сил. Но что делать, если нет и другой одежды, кроме воспоминаний? Если нечем прикрыть свою наготу?»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

*До конца 1997 года «Октябрь»
предполагает опубликовать
новые произведения многих
известных авторов. Среди них:*

Анатолий АНАНЬЕВ. Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России. Книга вторая.

Ролан БЫКОВ. Дочь болотного царя. Современная сказка.

Игорь ВОЛГИН. «Родиться в России...». Достоевский и современники: жизнь в документах. Книга вторая.

Даниил ГРАНИН. Повесть.

Исаак ЗИНГЕР. Рассказы.

Вяч. Вс. ИВАНОВ. Воспоминания.

Григорий КАНОВИЧ. Парк забытых евреев. Роман.

Юрий КАРЯКИН. Дневник русского читателя.

Бахыт КЕНЖЕЕВ. Письма к Господу Богу. Роман.

Юнна МОРИЦ. Рассказы.

Анатолий НАЙМАН. Славный конец бесславных поколений? Рассказы.

Григорий ПЕТРОВ. Рассказы.

Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. Сказки. Рассказы.

Михаил ПРИШВИН. Дневники.

Михаил РОЩИН. Рассказы. Эссе.

Уильям САРОЯН. Рассказы.

Борис ХАЗАНОВ. После нас потоп. Роман.

Алексей ЦВЕТКОВ. Просто голос. Поэма. Продолжение.

Асар ЭППЕЛЬ. Рассказы.

Следите за нашей дальнейшей рекламой!
